18+

Джон
Бёрджер

Дж.

РОМАН

BOOKER PRIZE



Букеровская
премия
1972 года!

Дж.
Джон Бёрджер

Аннотация
Джон Бёрджер. Дж.
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV

Аннотация

Дж. – молодой авантюрист, в которого словно переселилась душа его соотечественника, великого соблазнителя Джакомо Казановы. Дж. участвует в бурных событиях начала XX века – от итальянских мятежей до первого перелета через Альпы, от Англо-бурской войны до Первой мировой. Но единственное, что его по-настоящему волнует, – это женщины. Он умеет очаровать женщин разных сословий и национальностей, разного возраста и положения, свободных и замужних, блестящих светских дам и простушек. Но как ему удается так легко покорять их? И кто он – холодный обольститель и погубитель или же своеобразное воплощение самого духа Любви?..

Джон Бёрджер
Дж.

John Berger
G.

© John Berger, 1972
Школа перевода В. Баканова, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

*** * ***

Для Ани и ее сестер по движению
за эмансипацию женщин

Часть I

1

Отца главного героя этой книги звали Умберто. Он торговал засахаренными фруктами в Ливорно и весьма преуспел в коммерции. Невысокий толстяк, Умберто выглядел еще ниже из-за чрезвычайно крупной головы. Эта необычная черта его внешности привлекала тех женщин, которых не пугали сплетни и общественное мнение. Огромная голова намекала на упрямство, солидность и страсть. Женщины из торгового сословия Ливорно или Пизы, отличаясь робким нравом, считали Умберто чудовищем и между собой называли его Скотом. Прозвище, данное за грубость, любострастие и наглость, таило в себе безотчетное, подспудное влечение, а потому никогда не употреблялось в присутствии мужей и звучало исключительно на женских посиделках.

Эсфирь, супруга Умберто, была еврейкой, дочерью либерального ливорнского газетчика и вышла замуж в двадцать лет. Отец полагал Умберто некультурным и невежественным,

однако, верный своим либеральным убеждениям, не стал противиться браку, а через год внезапно умер. Неожиданная кончина родителя положила начало таинственному недугу самой Эсфирь, обосновавшему ее незыблемое право на отстранение и уединение. Умберто казалось, что он женат на призраке (призраки он связывал с женщинами и их склонностью ко всему сверхъестественному). Эсфирь же утвердилась во мнении, что вышла замуж за чудовище, хотя в то время и не подозревала, каким прозвищем подруги нарекли ее мужа.

Душа общества в провинциальном городе, Эсфирь ежедневно принимала гостей и наносила визиты. От приглашения к ней на ужин не отказывался никто. Главным секретом успеха Эсфири — равно как и влияния, которым пользовался Умберто среди жителей Ливорно, — была ее внешность. Каштановые волосы она гладко зачесывала назад, подчеркивая узкое, невероятно бледное лицо, на котором темнели томные глаза, окруженные глубокими тенями. Эсфирь отличалась чрезвычайной худобой, хотя и не выглядела изможденной. Изможденность говорит о нездоровье и ненадежности плоти; Эсфирь, нежная и хрупкая, казалась созданной с необычайным

искусством не из плоти и крови, а из иных, неведомых материй, не подверженных бренному тлену.

Ливорнские друзья и знакомые Эсфири полагали ее внешность признаком возвышенной одухотворенности. Она единственная понимала их устремления, способна была оценить веру, красоту, душевные порывы, прощение, невинность, дочернее послушание и любовь. Собеседник, желая объяснить возвышенность своих чувств, безмолвно обращался к ней за подтверждением; кивок или медленно опущенные веки уверяли его в абсолютном понимании и, следовательно, в истинности его высказываний.

Наедине с ней женщины говорили исключительно о себе, стараясь выставить себя в самом неприглядном свете, ибо чем больше они себя хулили, тем весомее было последующее одобрение, которого они так жаждали и которое следовало немедленно за завершением рассказа, поскольку становилось ясно (к изумлению рассказчицы), что коль скоро их выслушали с интересом и без укоризны, то их деяния или намерения заслуживают признания. К Эсфири приходили как к исповеднику.

Подобное отношение возникло главным обра-

зом из-за ее супруга. Если бы не Умберто, Эсфирь сочли бы святой по сути, а не из-за внешнего облика, что неблагоприятно сказалось бы на ее положении в обществе. Возможно, она и в самом деле олицетворяла некие духовные ценности; сама она считала, что ей больше приличествует служить символом ливорнской буржуазии. К счастью, Эсфирь была женой преуспевающего торговца засахаренными фруктами; более того, женой человека, печально известного своими грубыми манерами, цепкой деловой хваткой и непомерными аппетитами, а значит, в определенной степени не избежала его тлетворного влияния. Подобная испорченность, существование которой было невозможно ни доказать, ни опровергнуть, не позволяла считать возвышенную одухотворенность Эсфирь ни чрезмерной, ни постыдной.

* * *

Мать главного героя этой книги была двадцатишестилетней женщиной по имени Лаура, дочерью американки и британского генерала, ныне покойного.

Лаура и Эсфирь никогда не встречались,

но представьте их бок о бок, так, как представлял их Умберто. Лаура, низенькая русоволосая толстушка с курносым носом, выглядит рядом с Эсфирь неуклюжей девчонкой. Впрочем, ведет она себя совсем не по-детски. Дорогие наряды она носит умело, хотя и без присущего Эсфирь достоинства. Лаура много и настойчиво говорит; Эсфирь слушает. Ладони Лауры пухлые и короткопалые; у Эсфирь изящные кисти рук с длинными чуткими пальцами. Лаура демонстрирует свое несогласие, широко распахивая золотисто-зеленые глаза; Эсфирь выражает недовольство, опуская веки. Потревоженная во время купания, Эсфирь цепенеет, будто испуганный зверек, и остается совершенно неподвижной. Лаура, напротив, прикрывает грудь руками, скрючивается и пронзительно визжит.

Друг к другу они питают ревность. Лаура уговорила Умберто показать ей фотографию жены и теперь считает, что Эсфирь наделена всеми теми восхитительными женскими качествами, которых ей, Лауре, не дано. Эсфирь подозревает, что Умберто тратит огромные деньги на свою американскую любовницу.

В Нью-Йорке семнадцатилетняя Лаура вышла замуж за миллионера, сколотившего состояние

на медных рудниках; через два года она его бросила и уехала в Париж, к матери. Три года назад они с Умберто встретились на пассажирском пароходе, на пути в Геную. Умберто добивался ее внимания с сосредоточенной настойчивостью, дотоле неведомой Лауре. Она писала матери, что чувствует себя Клеопатрой (корабль шел из Египта). Они с Умберто провели целый месяц в Венеции.

«Умберто нанял певцов, которые сопровождали нас по каналам в гондолах, — сообщала Лаура в следующем письме. — Ах, я никогда это не забуду! Он тебе очень понравится. Поэтому в Париж я с ним не поеду. У него везде друзья, и здесь нас уже пригласили на бал. Умберто хотел купить мне бальное платье, но я отказалась, и вместо бала мы поехали в Мурано».

Три года они встречались в Милане и Ницце, в Женеве и Лугано, на озере Комо и в разных курортных городах, но Умберто никогда не позволял ей приехать в Ливорно. В перерывах между встречами Лаура уезжала в Париж, к матери и ее богатым друзьям-американцам, которым ничего не рассказывала о своем итальянском любовнике — торговце засахаренными фруктами. Она брала уроки пения (до тех пор, пока

не решила, невзирая на протесты преподавателя, что способностей у нее нет) и изучала труды Ницше. Всякий раз, глядя на Умберто после долгой разлуки, Лаура изумлялась невероятности их отношений. В Умберто ее оскорбляло полное отсутствие утонченности и простодушная похвальба деньгами. Лаура убеждала себя, что в Нью-Йорке он был бы скромным официантом, до общения с которым они с друзьями не снизошли бы. Впрочем, проведя час в его обществе, Лаура забывала о своем критичном отношении и будто оказывалась запертой в башне, покинуть которую могла только с уходом Умберто. В этой башне Лаура была одновременно и любовницей, и ребенком. Там она играла — серьезно или легкомысленно — с тем, что он ей предоставлял. Не видя Умберто, Лаура думала о нем, о его страсти к ней и о своих собственных чувствах, словно они были местом, которое можно посещать и куда можно возвращаться; она даже приходила туда в своих снах, однако никогда там надолго не задерживалась.

* * *

Умберто провел молодость в Нью-Йорке, служа в компании, импортировавшей оливковое масло

и итальянский вермут, поэтому хорошо говорит по-английски, хотя и с сильным итальянским акцентом.

— Ах, Лаура, как величественны горные вершины! А озеро такое спокойное и умиротворяющее. Вечерний покой прекрасен, но ты еще прекраснее, *mia piccolo*, малышка моя. Только с тобой я способен насладиться спокойствием… Подумать только, ради тебя я проехал сквозь эти горы! Под землей! По пятнадцатикилометровому тоннелю[1], представляешь? Пятнадцать километров! Это чудо современной техники — пятнадцатикилометровый тоннель под горами. И ты, *passeretta mia,* мой воробушек, встречаешь меня на склонах!..

Умберто с любовницей садятся в экипаж и отъезжают с вокзала в гостиницу. Умберто только что приехал в Монтрё. Он обнимает Лауру и пытается лизнуть ей ухо.

— За кого ты меня принимаешь? — возмущенно говорит она и отталкивает Умберто.

— За Лауру, за мою Лауру, — шепчет он. — Ты — моя Лаура.

Из внутреннего кармана пальто он вытаски-

---

[1] Сноски: 1

Готардский железнодорожный тоннель открыли в 1882 году. При его строительстве погибли восемьсот человек.

вает сверток, перевязанный голубой ленточкой, и, почтительно склонив голову, обеими руками протягивает его Лауре, будто подношение. Она берет сверток, а Умберто тут же хватает ее за бедра. Она укоризненно смотрит на его руки. (Лаура давно старается отучить его прилюдно демонстрировать свои чувства. По мнению Умберто, экипаж — то же самое, что отдельный кабинет в ресторане, хотя Лаура утверждает, что общественные места не становятся частными владениями только потому, что за них заплачено.) С тыльной стороны руки Умберто покрыты черными волосками. Эти властные руки хорошо знакомы Лауре — они все делают так, как ему угодно. За ужином этими руками Умберто обрисовывает громады своих замыслов компаньонам, которые рады принять участие в предлагаемых предприятиях. На рынке одобрительное прикосновение этих рук возводит фрукты в разряд наилучших, а пренебрежительное — отправляет их на свалку. Умберто откидывается на спинку сиденья и смотрит, как Лаура разворачивает подарок.

Из-под слоев черной папиросной бумаги она извлекает зеленую бархатную шапочку-джульетку, расшитую жемчугом, и ахает. Умберто решает,

что это вздох восхищения.

— Жемчуг настоящий, *passeretta mia*.

«Ну почему ему втемяшилось в голову подарить мне эту дурацкую шапочку именно сегодня?! Мне же не шестнадцать лет! — Безрассудство любовника приводит Лауру в ярость, как и то, что при встрече он едва не укусил ее за ухо. — Почему он не задумывается, нравится мне это или нет? Мог бы и запомнить!»

— Я ее не надену, — заявляет она. — Эта нелепая вещица больше подойдет юной воспитаннице католической академии.

В полумраке экипажа шапочки почти не видно. Три полоски жемчуга ожерельем лежат у Лауры на коленях.

— И притворяться мне ни к чему, правда же? — продолжает она. — Ты расстроишься, если я не буду ее носить?

— Купим тебе ожерелье, — говорит он.

Умберто обожает ее независимость. Где бы он ни был, Лаура приезжает к нему, предварительно изучив историю местности. Она водит его по замкам и садам, показывает ему достопримечательности и всегда знает, чего хочет. Но стоит ему заключить ее в объятья, как она становится покорной, как воробушек. Поэтому он ее так и зо-

вет — *passeretta mia,* мой воробушек.

— Мы поужинаем в номере, — говорит он. — Устроим пир, закажем белое швейцарское вино. Помнишь, ты говорила, что заказывать его — все равно что есть рыбу ножом. А потом нас ждет постель, *passeretta mia.* Завтра мы пойдем искать тебе ожерелье, и если не найдем такого, которое тебе понравится, то поедем в Милан.

В постели Умберто всякий раз изумляется своей любовнице, хотя всякий раз не верит, что она снова его изумит. Этим объясняется его нетерпение. Лаура, с виду такая бойкая, волевая и независимая, в постели превращается в ласковое и покорное создание; Умберто поражают ее легчайшие, невесомые прикосновения.

Лобок ее покрыт тонкими редкими волосками, мягкими, как шелк; маленькие розовые соски наливаются багрянцем под поцелуями; когда она запрокидывает голову и улыбается, между верхними и нижними зубами виден тончайший просвет, не шире песчинки. Нежное, податливое тело изумляет Умберто и будит в нем пылкую страсть.

— Я сохраню шапочку, — говорит Лаура и касается его руки. — Кто знает, может, в один прекрасный день я подарю ее дочери.

— Ах, девочка моя, ты такая сумасшедшая! Право же, *matta*!

Умберто восторженно называет Лауру *matta*, помешанная. Для него безумие — отличительная черта Ливорно. Оно таится в огромных складах, слепых и безмолвных, будто заброшенные крепости; в фигурах четырех мавров, прикованных цепями к памятнику Фердинандо I Медичи; в скоплении товаров, переполняющих город; в небе, нарезанном на квадраты рядами зданий над темными каналами; в непоседливости жителей; в безликости стен; в пустырях; в запахе бедности и богатства; в укромной бухте.

Ливорно периодически охватывает безумие. Впервые Умберто заметил это десятилетним мальчишкой, в 1848 году. Мосты, пустыри, пристани, площадь Сан-Микеле, четыре мавра, палубы и мачты кораблей, выстроившихся вдоль берегов бухты, — все это заполнено людьми. Над толпой нависают четко очерченные прямоугольники массивных зданий, придавливают ее, но она растет и растекается все дальше и дальше, без конца и края, а люди все прибывают и прибывают: *i teppisti*! Мятежники!

Толпа проверяет человека на прочность. Тол-

па осознает свою судьбу независимо от жизни каждого из собравшихся. Судьба толпы заключается в постоянных лишениях и унижениях, но ее потребностей это не умеряет. В каждом взгляде горит желание, однако удовлетворить его невозможно. Разумеется, такое противоречие неизбежно приводит к насилию, столь же очевидному, как само присутствие толпы. Толпа стремится уничтожить противоречие. Ей необходимо разрушить установленный порядок, который из поколения в поколение определяет возможное и невозможное. Толпа ставит простой выбор перед тем, кто не является ее частью: либо видеть в ней надежду человечества, либо проникнуться всепоглощающим страхом. Тому, кто находится вне толпы, трудно увидеть в ней надежду человечества. Эту надежду может заметить только подготовленный.

Умберто боялся толпы, объясняя свой страх тем, что толпа безумна.

В толпе ораторы произносили страстные речи. Жаркими летними ночами 1848 года мальчик по имени Умберто обливался по́том в своей постели. Лица ораторов распухли от жары; по щекам, будто слезы, струился пот.

Умберто считает, что любому разумному человеку следует полагать себя отличным от остальных, ведь только это позволит ему понять, чего именно он сможет или не сможет добиться от жизни. По мнению Умберто, лишь безумец требует всего или ничего. *Roma o Morte*! Рим или смерть!

Умберто не может оставить жену. Он не ощущает преемственности и последовательности ни в детях (которых у него нет), ни в своем окружении; он одинок, брошен на произвол времени. Ради процветания дела и успеха своих предприятий ему приходится быть на дружеской ноге с теми, кого он презирает или ненавидит. Даже в доверительных беседах он не раскрывает и десятой доли того, что у него на уме.

— Ах, девочка моя, ты такая сумасшедшая!

Умберто зовет безумием то, что ему угрожает. Не тех, кто угрожает ему лично — конкурента, вора или того, кто наставит ему рога, — а то, что грозит разрушить саму структуру общества, которое обеспечивает Умберто привилегированный образ жизни.

Привилегии для Умберто важнее, чем сама жизнь, — не потому, что он не выжил бы без сво-

ей американской любовницы, четырех слуг, фонтана в саду, шелковых рубашек или званых ужинов жены, а потому, что в привилегиях заключена система ценностей и оценок, с помощью которых он судит о смысле прожитой жизни. Все его ценности проистекают из веры в то, что привилегии он заслужил.

Однако же осознанный Умберто смысл жизни его не удовлетворяет. Он спрашивает себя, отчего свобода всегда воспринимается как уже завоеванное, подчиненное качество? Отчего свободой нельзя наслаждаться без того, чтобы за нее бороться?

Умберто называет безумием то, что угрожает общественному порядку, гарантирующему его привилегии. *I teppisti* олицетворяют безумие. Но безумие также предполагает свободу от общества, в котором он существует. Таким образом, Умберто приходит к выводу, что ограниченное безумие даст ему больше свободы в обществе.

Он зовет Лауру сумасшедшей в надежде, что она привнесет в его жизнь частичку свободы.

— Умберто, у меня будет ребенок. Наверное, девочка. Если родится девочка… — Лаура вспоминает о шапочке и решает, что разговор о подарке

поможет смягчить резкое заявление. Она рада, что забеременела, постоянно думает о будущем ребенке, но считает унизительной необходимость упоминать о своей беременности. — Если родится девочка, то на ее пятнадцатилетие я подарю ей твою джульетку. Шапочка будет ей к лицу.

У гостиницы швейцар подбегает к экипажу и распахивает дверь.

— Закройте! — велит ему Умберто и просит извозчика поехать к озеру.

Извозчик пожимает плечами. Идет дождь, опускаются сумерки, на озере ничего не увидишь.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает Умберто.

— Превосходно.

— Ты была у врача?

— Да.

— А кто он?

— Мой врач в Париже.

— Что он сказал?

— Что так оно и есть.

— Что так оно и есть?

— Да.

— Врач так сказал?

— Да.

Слово «да» звучит весомо, подкрепленное авторитетным заявлением неведомого врача, и позволяет Умберто примириться с новостью, лишает ее загадочности, делает управляемой, доступной для обсуждения; окрашивает ее, придает форму и вес, так что новость утрачивает свою первоначальную неопределенность и абстрактную белизну.

— Я отец, — произносит Умберто.

Это не вопрос, а утверждение, но Лаура кивает, хотя и не видит никаких преимуществ в том, что Умберто — отец ребенка.

— Почему ты мне раньше об этом не сказала? Ты же мне писала.

— Я решила, что лучше объясниться при встрече.

Умберто лихорадочно раздумывает, что можно и чего нельзя сделать в Ливорно для незаконнорожденного сына.

— А сколько… — Он торопливо загибает пальцы, будто подсчитывая.

— Три месяца.

— Назовем его Джованни.

— Почему Джованни? — спрашивает Лаура.

— Так звали моего отца, его деда.

— А если родится девочка?

— Лаура! — отвечает он, однако по его тону не разобрать, что это — предлагаемое имя или реакция на невероятное предположение любовницы о том, что Умберто способен произвести на свет дитя женского пола. — Как ты себя чувствуешь, малышка?

— По утрам мне нездоровится, а днем я страшно голодна. Не понимаю, зачем мы катаемся вокруг озера, погода ужасная. Я бы съела пирожное. Здесь делают очень вкусные пирожные, мать о них рассказывала. Миндальные.

— Знаешь, у меня никогда не было детей, — говорит Умберто. — И я… как это сказать… *rassegnato*. Смирился.

Он пытается ее обнять. Она вырывается.

— Ты — мать моего ребенка! — Он удивлен. — Почти что жена. Если бы я мог, я бы на тебе женился.

Благородный ответ не удовлетворяет, а разъяряет Лауру. Ей кажется, что своими словами Умберто преобразует ее, превращает в свою жену — в ту, что живет в Ливорно, в ту, которую он всегда хотел назвать матерью своего ребенка. Она, Лаура, становится матерью ребенка главы семьи. Это превращение странным образом преображает и жену в Ливорно; теперь Эсфирь

олицетворяет соблазн, свободу и неумолимость. Два месяца мысль о ребенке радовала Лауру. Она не представляла себе, что ребенка придется родить для отца, независимо от ее воли… Лаура всхлипывает.

Она позволяет себя утешить. Умберто — причина ее расстройства, однако он же облегчает ее страдания. Нет, не тем, что устраняет причину — сам факт своего отцовства, — а своим присутствием, своим телом, так, что осознание Лаурой своей горькой участи постепенно растворяется, как растворяются в сумраке очертания ворот или слова, написанные на бумаге. В объятиях Умберто все ее тревоги и заботы отходят на задний план; ее имя, произносимое с младенческой интонацией, всплывает откуда-то изнутри, просачивается из-под кожи — из-под ее детской, чувствительной кожи.

С изумленным любопытством ребенка она нежно гладит огромную тяжелую голову с седой гривой волос.

Еще в детстве Лаура поняла — из собственного опыта и из некоторых замечаний матери, — что женское тело полно тайн, восхитительных и постыдных. С возрастом она убедила себя, что чрезвычайно чувствительна ко всему, что с этим

связано. К примеру, внезапный испуг вызывал у нее месячные, лифчики натирали ей соски, а матка конвульсивно сжималась от ласкового прикосновения к определенному месту на плече. Подобная чувствительность Лауру смущала, раздражала и, как ни странно, радовала, давая надежду на то, что в один прекрасный день появится мужчина, которому можно будет поверить эти тайны.

* * *

Ужин подают в номер. Лаура все еще всхлипывает, а Умберто старается развлечь ее рассказами о жизни в Ливорно. После ужина он снимает сюртук, развязывает галстук, отстегивает воротничок рубашки и говорит:

— Иди ко мне, моя зеленоглазая малышка.

Лаура корчит недовольную гримаску.

— Давай просто полежим рядышком, обнимемся, как дети, — уговаривает ее Умберто.

Она ни минуты не сомневалась, что хочет родить ребенка. Дитя будет принадлежать ей и только ей. Скандала Лаура не страшится — имея в своем расположении значительные средства, жить она может где угодно. Глупо соблюдать приличия. Она готова еще раз бросить

вызов обществу, как в семнадцать лет, когда вышла замуж, несмотря на возражения родных, а потом, два года спустя, во всеуслышание велела мужу навсегда оставить ее в покое.

Она нежится в объятиях Умберто, безразличная к его страсти. Ей нравится, когда он лежит тихо. Она позволяет ему лелеять себя, однако находит его пылкость нелепой. Прежде она не уклонялась от ласк Умберто, потому что это давало ей возможность продемонстрировать изощренную сексуальность своего тела, которое Лаура считает непредсказуемым, чувствительным и безупречным, как ядрышко миндаля в скорлупе. Сейчас она изумлена своим равнодушием. Младенец уже наделил ее даром самодостаточности.

Ради здоровья матери своего сына Умберто готов на любые уступки. Он лежит смирно. Его мысли в смятении обращаются к механике грядущего события. Он решает, что именно в этом заключено решение всех его проблем.

Он лежит, опустив руку между бедер Лауры. Палец его покоится меж губ ее влагалища. Теплая слизь обволакивает палец, будто кожа. Чуть раньше ладонь Умберто нащупала небольшую выпуклость на животе Лауры, под самым пупком.

Прежде он входил в Лауру, а теперь из нее на свет выйдет его сын. Внезапно Умберто понимает, что само устройство влагалища, которое он считал созданным для удовлетворения своих потребностей, на самом деле возникло для удобства другого человека, которому предстоит этим путем явиться в мир. Умберто не хочется убирать руку. Он осторожно шевелит пальцем, но не ощущает никаких изменений и впервые осознает всю необычность феномена рождения.

Проходит минута в жизни мира. Изобразите ее как есть[2].

Так положено начало персонажу, о котором я пишу.

Умберто насильно притягивает Лауру к себе, хватает ее за плечо, утыкается носом ей в волосы. Он вдруг понимает, что все без исключения брошено на произвол судьбы. Подробности процесса деторождения ему неизвестны, но, воображая нелегкий путь, который предстоит проделать младенцу, вырастающему из крохотного комочка, Умберто осознает, что они с Лаурой ничем

---

[2] Сноски: 2

Высказывание Поля Сезанна, источник не установлен. *(Здесь и далее — примеч. автора.) Слова Сезанна приводит Жоашим Гаске в своих мемуарах «Сезанн: Воспоминания и беседы». — Примеч. пер.*

не отличаются от других.

Лаура берет в ладони его голову — это последнее проявление ее нежности.

— Лежи спокойно, — говорит она. — Подумай о ребенке.

Он вспоминает, как однажды приехал к приятелю, цветоводу, владельцу огромных теплиц вдоль дороги к Пизе. Стекла теплиц покрыты тонким, прозрачным слоем краски (бирюзовой, цвета моря), чтобы солнечные лучи не обжигали нежные лепестки. Краску наносят снаружи, она высыхает тонкой пылью, которая осыпается при прикосновении. На стеклах прохожие пальцами рисуют всевозможные картинки. Умберто идет вдоль теплиц, рассматривает изображения: сначала сердечки, пронзенные стрелой и украшенные инициалами влюбленных; потом грубо намалеванные обнаженные силуэты; затем карикатурный рисунок женщины, лежащей с широко раскинутыми ногами и зияющей щелью; и наконец, крупнее и отчетливее предыдущих, попытка передачи анатомических подробностей — влагалище и член. Сам Умберто никогда бы такого не нарисовал, но сейчас осознает, что они с Лаурой стали именно такой картинкой.

Еще недавно тело Лауры — как и их связь —

было тайной, предназначенной только для них двоих. Увы, тайна раскрыта; о ней известно третьему — его сыну.

– *Donna mia, Donna mia!* — глухо шепчет он в волосы Лауры.

* * *

— Я плохо спал. То, что ты мне сообщила… новость? Так можно сказать, новость? Как в газете… Так вот, эта новость всю ночь стучала мне в сердце. Лаура, я хочу все изменить. Я хочу найти место в моей жизни для тебя и нашего сына.

— Откуда ты знаешь, что родится мальчик?

— Я чувствую.

— А я ничего не чувствую. Мне все равно, мальчик или девочка. Надеюсь, если родится девочка, она вырастет хорошенькой. Так будет проще — для нее, не для меня. Мальчикам легче, от них красоты не требуют.

— Я очень тобой горжусь. Я горжусь своим сыном. Я ничего не хочу скрывать.

— А у тебя и не получится!

— Я дам вам все необходимое. Все, что пожелаете.

— Нам от тебя ничего не нужно.

— Лаура, послушай, что я тебе скажу. Может

быть, ты не понимаешь. Всю свою жизнь я мог себе позволить делать все, что пожелаю. В молодости мои желания были скромны, но теперь у меня возникли грандиозные замыслы. Ради тебя и нашего сына.

— К чему ты ведешь разговор о деньгах? Деньги тут совершенно ни при чем. Я никогда о них не думаю.

— Я рассказываю тебе о своих сердечных порывах и замыслах, чтобы ты поняла, как я горжусь.

— Что еще за замыслы?

— Вы, ты с ребенком, переедете в Италию, чтобы я был с вами рядом.

— В Ливорно?

— Ливорно — несчастный, безумный город.

— В котором живет твоя жена! Поэтому ты называешь его безумным.

— Она не из Ливорно.

— Но она там живет. И ждет.

— Ждет?

— Ждет, когда ты к ней вернешься!

– *Passeretta mia,* ты ведь знаешь, что я женат. Ты с самого начала знала, вот уже три года.

— Значит, в Ливорно нам нельзя. Значит, я буду твоей незаконной женой и матерью твоего незаконнорожденного ребенка. Знаешь, как на-

зывают детей, рожденных вне брака? Ублюдок. Твой ублюдок. Но это мой ребенок, и потому в Ливорно нам нельзя.

— Не волнуйся ты так!

— Почему ты никогда не позволяешь мне приехать в Ливорно? Боишься, что нас узнают?

— Я хотел, чтобы тебе все нравилось. Я хотел, чтобы мы с тобой проводили ничем не омраченные дни. Я и сейчас этого хочу. Но теперь у нас с тобой есть большее. Даже не верится, что это произошло с нами. С нами, с Умберто и Лаурой. Все изменилось.

— А что скажет твоя жена, когда ты ей признаешься, что привез в город любовницу и своего ублюдка?

— Ничего она не скажет.

— А ты собираешься ей признаваться?

— Нет.

— Думаешь, она не узнает?

— Разумеется, узнает. Но ничего не скажет.

— И ты еще заявляешь, что гордишься нами? Никакой ты не отец! Просто ты не смог устоять перед американской потаскушкой.

— Умоляю тебя, не кричи. И не выражайся. *Passeretta mia,* что с тобой стряслось?

— Вот что со мной стряслось! — восклицает

Лаура и шлепает себя по животу.

— Да, из-за него все изменилось. Я хочу, чтобы ты жила в Пизе. Там есть превосходная вилла, с садом, а в комнатах — высокие расписные потолки. Графская вилла, между прочим. Я ее для тебя куплю.

— И мы там будем тебя целыми днями дожидаться? А ты к нам будешь приезжать? Сколько раз в неделю? Два? По вторникам и пятницам?

— А хочешь, живи во Флоренции. Или подыщем тебе дом во Фьезоле, над рекой Арно. Райский уголок!

— Да? И когда ты нас туда поселишь, что прикажешь нам делать?.. Глупости все это! Пойми, мы будем жить там, как арестанты в тюрьме.

— О чем ты? Какая тюрьма? Куда захотите, туда и пойдете.

— А с кем мы будем встречаться? И как мне с ними разговаривать?

— Я найму тебе учителя итальянского.

— Ах, так вот почему ты хочешь назвать его Джованни!

— Я хочу, чтобы он мог говорить на разных языках. Так ему легче будет путешествовать по миру. Сам я мало где побывал.

— Умберто, ты серьезно? Ты же лучше меня

понимаешь, что такое Италия. С нами никто знаться не будет. Мы станем изгоями — я, незамужняя женщина, и мой незаконнорожденный ребенок.

— Милая моя, ты ведь замужем.

— Да, но не за тобой!

— В один прекрасный день я смогу на тебе жениться.

— Ты разведешься?

— Ты же знаешь, в Италии развестись невозможно.

— Значит, ты на мне не женишься.

— Моя жена очень больна.

— А, понятно. Значит, мы должны сидеть в нашей тюрьме и ждать, пока твоя жена умрет, после чего ты благородно женишься на мне, и я стану респектабельной женщиной. Да как ты смеешь мне такое предлагать?

— Я тебя люблю.

— Любишь? Ты бросаешься этим словом направо и налево, как все мужчины.

— Лаура, ты тоже говорила, что любишь меня.

— Да, три года назад, в Венеции, я была в тебя влюблена. Ты был не такой, как другие. Ты бы мог сделать из меня кого угодно, но так никого и не сделал. Женщина — это не деньги, кото-

рые кладут в банк и ждут, пока они принесут проценты. Женщина — это человек. По-твоему, мне лучше сидеть сложа руки десять месяцев в году, дожидаясь, когда ты выберешь время меня навестить? Нет, такая жизнь мне ни к чему!

— Я все изменю, вот увидишь. Ты поселишься в Пизе или во Флоренции, и мы постоянно будем вместе. Нам никто не помешает. У мальчика будет заботливый, любящий отец. Я сделаю его своим наследником. Мы будем счастливы втроем.

— Вчетвером!

— Вчетвером?

— Не забывай, что ты женат.

— Я же тебе объяснил…

— Вот ты говоришь, что гордишься. А я — стыжусь. Из-за тебя, между прочим. Мне стыдно за всех нас. Как мне взглянуть в глаза ребенку и признаться, что день за днем, год за годом я жду ее смерти?

— Сядь, *passeretta mia*, давай поговорим спокойно. Я старше тебя. Я практичнее. Нам очень повезло по сравнению с остальными. Ты не представляешь, как они живут. Жизнь никогда не складывается так, как нам хочется. Бессмысленно желать всего сразу, потому что в итоге

не получишь ничего. Да, наша жизнь не будет идеальна, но идеал — это сказки для тех, кто верит в доброго Господа и загробную жизнь. Зато наша жизнь будет лучше, чем ты предполагаешь. Вот увидишь, я это устрою. Мы оба ошибались. Я тебя старше и ошибался чаще. Но и ты сама не сможешь начать жизнь сначала, как невинная семнадцатилетняя *fidanzata,* как невеста. А с тобой у меня появился последний шанс стать счастливым. И я не хочу его упускать. Ты явилась мне, будто ангел, чтобы меня спасти. Ангелы дважды не являются. Я ничего не пожалею для того, чтобы сделать тебя счастливой.

— Переезжай сюда, живи здесь с нами.

— Я попробую. Но это слишком далеко.

— Слишком далеко от дома?

— Нет, от моего дела.

— Ах, дела для тебя важнее нас?

— Мое дело унаследует мой сын. Он не будет бедствовать.

— Значит, ты лишишь свою жену наследства?

— Я тебе уже объяснил, что произойдет.

— У тебя нет ни стыда, ни совести.

— Неправда. Просто я называю вещи своими именами. Я хочу тебя и сына. Без вас моя жизнь напрасна. Вся моя жизнь зависит от этого шанса.

Я люблю тебя больше всех на свете. Тебя никто так никогда не полюбит. Молодые мужчины любить не умеют, они легкомысленны. Я знаю тебе цену. Приезжай в Пизу. Дай мне возможность показать…

— Там я буду в тюрьме.

— Из меня выйдет хороший отец. Если бы ты знала, как меня переполняют отцовские чувства! Я буду любящим, заботливым, понимающим отцом. Я буду гордиться сыном. В нем я буду видеть тебя. У него будет твоя импульсивность и богатое воображение.

— А какие черты он унаследует от тебя?

— Помнишь, как меня прозвали в Ливорно? Я же говорил тебе, что мне дали прозвище Скот, потому что я хитер и практичен. Надеюсь, сын унаследует мой реалистичный взгляд на вещи.

— Ты считаешь себя реалистом?

— Разумеется. Вот увидишь. У нас не будет другой возможности.

— Для чего?

— Для того, чтобы ты была сыну матерью, а я — отцом. Чтобы мы втроем были счастливы.

— Я намерена воспитать ребенка так, как хочу я, а не так, как хочешь ты. Если родится

мальчик, то он не будет знать лжи. Если родится девочка, то она будет любящей, честной и реалистичной. Мой ребенок обойдется без твоих полумер. Первые десять лет жизни я сама буду его воспитывать.

— Но я имею право…

— Нет у тебя никаких прав!

— Лаура!

— И не проси. Ты опоздал.

Смятые простыни на разобранной кровати, ковры, мебель, чугунная решетка балкона за окном, серо-сиреневые воды озера, Альпы — все, что доступно взору, — все это незыблемо и равнодушно. Только сердца колотятся часто-часто.

* * *

Зачатие главного героя произошло через четыре года после смерти Гарибальди.

Гарибальди был героем.

Гарибальди победил врагов Италии. Он вдохновил итальянский народ на самосознание и самоопределение.

В Гарибальди воплотились желания каждого итальянца. В этом смысле его можно назвать олицетворением национального духа. В Италии

не было человека — даже среди верных Бурбонам войск Неаполитанского королевства, — который не хотел бы стать Гарибальди. Превратиться в Гарибальди пытались многие, и разными способами: одни выступали против него; другие, как Ла Фарина в Сицилии, предавали его; Кавур в Турине его использовал. Впрочем, превращению человека в Гарибальди препятствовали не личные качества; препятствовало убогое состояние Италии. Это убожество каждый понимал и объяснял по-своему. Для крестьянина убожество заключалось в невозможности оставить свой надел; для приверженца конституционной формы правления — в несостоятельности заговора.

Встреча с Гарибальди ошеломляла людей; до той минуты они не осознавали, кто они. В его присутствии они открывали себя.

…в оборванном мундире, а из оружия при нем были только пистолет и сабля.

— Что заставило тебя отказаться от легкой и обеспеченной жизни и прозябать здесь, в поле, без жалованья и без пропитания?

— А я и сам не знаю, — ответил он. — Две недели назад я отчаялся, хотел было все бросить и сбежать. Вот сидел я на пригорке, а Гарибальди мимо проходил. Остановился рядом, не знаю

даже почему. Я с ним никогда ни словом не обмолвился, он и не знал, кто я такой. Но подошел, встал подле меня. Наверное, вид у меня был очень несчастный. А Гарибальди положил мне руку на плечо и сказал своим низким глухим голосом, будто дух какой заговорил: «Крепись! Мужайся! Мы идем в бой за Родину!» Как после этого сбежишь? На следующий день началась битва при Вольтурно…[3]

Седьмого сентября 1860 года Гарибальди вошел в Неаполь.

Venù è Galubardo!

Venù è lu piu bel!

Многотысячные войска Бурбонов все еще занимали четыре укрепленных форта в городе. Король бежал. Пушки крепости были наведены на город. Пронесся слух, что Гарибальди прибудет не с армией краснорубашечников, а в одиночку, поездом. Залитые слепящим солнцем улицы опустели. Никто не знал, верить слухам или нет. Люди попрятались по домам. В половине второго пополудни Гарибальди приехал на вокзал. Полмиллиона жителей Неаполя, не обращая

[3] Сноски: 3

Здесь и ниже цитируются отрывки из книг Х. Р. Хоуиса «Воспоминания о встречах с Гарибальди и гарибальдийцами» и Джи М. Тревельяна «Гарибальди и создание Италии».

внимания на пушки, высыпали на улицы и пристани и, выкрикивая приветственные возгласы, отмечали знаменательное событие.

Гарибальди не был ни прирожденным военачальником, ни политиком. Его легко было обмануть, однако же он вдохновил целую нацию — не властностью и не по дарованному ему Богом праву, а олицетворяя собой простые и невинные желания юности. Он личным примером убедил итальянцев, что эти желания можно реализовать в национальной борьбе за свободу и независимость. В нем народ чтил святость своей невинности.

К этой роли прекрасно подходили и внешность, и все черты характера Гарибальди. Сила и храбрость. Мужество. Длинные волосы, которые он аккуратно причесывал после сражений. Непритязательность вкусов. «Если у патриота есть миска супа, а дела в стране идут хорошо, то больше и желать нечего», — утверждал он. Пустынный остров, где Гарибальди пас стада овец, когда у страны не было в нем нужды. Патриотизм, который противоречил его теориям и принципам (Гарибальди был республиканцем и признавал власть Виктора Эммануила). Самолюбие. Чувство юмора. Не красноречие, но убедительность же-

стов. «Если бы он не был Гарибальди, то стал бы величайшим трагическим актером». (Он мало говорил, и люди разных — зачастую прямо противоположных — убеждений считали, что он их поддерживает.) Полное непонимание того, что движет миром. Порывистость.

В ком еще разобщенный народ Италии мог найти свое отражение и объединиться?

В каком другом абсолютно честном человеке смогла бы так обмануться нация?

То, как Гарибальди вдохновлял народ, представляло опасность для возникшего правящего класса. Если Гарибальди олицетворял устремления простых итальянцев, то его желания могли пойти дальше изгнания австрийцев и Бурбонов. Гарибальди угрожал порядку — не потому, что действовал заговорщицкими способами, а именно потому, что воодушевлял.

Толпы, собравшиеся в Неаполе под жерлами пушек, устроили трехдневное празднование.

Калабрийские крестьяне верили, что Гарибальди, как Христос, способен творить чудеса. Когда краснорубашечники умирали от жажды, Гарибальди выстрелил из пушки в скалу, и оттуда хлынула вода.

Гарибальди чтил память трагически погибшего

Карло Пизакане, социалиста-утописта, чьи труды будоражили умы целого поколения итальянских революционеров.

«Пропаганда идеи — химера. Идеи возникают из действий, а не действия из идей; не образование освободит народ, а освобожденный народ получит образование. Гражданин, желая действовать на благо своей страны, должен активно помогать революции, то есть деятельно продвигать Италию к цели, принимая участие в конспиративных сходках, в организации заговоров, убийств и пр.».

И все же союз с правящими кругами надежно обуздал Гарибальди. Его жесты отвергали тех, кто стоял у власти, а его победы укрепляли правительство. Национальный герой помог заложить основы буржуазного государства.

После смерти Гарибальди в его честь называли улицы и площади во всех городах Италии. Его имя непрерывно звучало повсюду, но совершенно не было связано с тем, что происходило на этих улицах и площадях.

* * *

В Париже Лаура кормит грудью новорожденного. Ее молоко — будто ртуть, покрывающая

чудесное стекло. В этом зеркале ребенок — часть тела Лауры; все части ее тела удвоены. Но в то же время в этом зеркале она сама — часть ребенка, она дополняет его так, как ему угодно. Она — либо предмет, либо отражение в зеркале. Она вольна обращаться с ним или с самой собой. Оба они, до тех пор, пока сосок остается во рту, превращаются в части неделимого целого, энергия которого разъединит их, как только ребенок перестанет сосать грудь.

«Мне больше ничего и не нужно, — думает Лаура. — Мальчик вырастет, но я увижу себя в нем».

Лауру занимает не она сама, а младенец. Все ее нервные окончания, все ее ощущения постоянно направлены на ребенка, на удовлетворение его нужд. Ее чувства, будто сеть кровеносных сосудов, проникают в плоть ребенка, обволакивают его. Когда она к нему притрагивается, то чувствует невинное прикосновение к самой себе.

Ей хочется ему поклоняться, потому что с ней он возносится над миром, выходит за его пределы. Она желает полностью посвятить себя ему, отвергая все прочее. Ей не терпится создать для младенца новый мир, где возможен иной образ жизни, отличный от существующего уклада.

Часть II

2

Лауре не удалось по-новому устроить свою жизнь с младенцем. Она забыла о незыблемом укладе, присущем зажиточным семьям в девятнадцатом веке. Если бы она решила жить одна с ребенком — вести богемный образ жизни, — то, возможно, добилась бы своего. Однако же в парижском особняке матери планам Лауры постоянно мешали бесчисленные няни, горничные, экономка и врач. С ребенком она проводила всего несколько часов в день. О повседневных нуждах — стирке пеленок, глажке, уборке детской, приготовлении еды — заботилась прислуга. Лауре доставалось лишь купание младенца, да и то под присмотром няни и служанки, которая приносила воду для ванны.

Впрочем, сама Лаура не могла объяснить, чего ей хочется. Если бы она сказала, что желает всегда быть рядом с сыном и на несколько лет посвятить ему все свое время, что она хочет жить с ним на равных, ползать, гулить, делать первые шаги, повторять детский лепет, во всем следуя

развитию ребенка… Если бы она все это сказала, ее сочли бы истеричной особой и отдали бы под наблюдение врачей. В девятнадцатом веке младенцам — как и всему остальному — отводилось строго определенное место.

Умберто умолял ее о свидании с сыном. Лаура не отвечала на письма и заявила матери, что отец ребенка — сумасшедший. Прошло два года. Мать Лауры вышла замуж и вернулась в Америку. Лаура переехала в Лондон, где новые знакомые, быстро ставшие близкими друзьями, соблазнили ее прелестями фабианского социализма. Пока она искала себе жилье, мальчика решили на несколько месяцев отправить в деревню, к родственникам. Родственники пребывали в стесненных финансовых обстоятельствах, и Лаура попросила мать им помочь. В Лондоне Лаура заинтересовалась политикой, решив, что тайна жизни заключена не в теле, а в эволюционном процессе. К сыну она приезжала все реже и реже. В деревне мальчику было хорошо. Няню-француженку отослали в Париж, а вместо нее наняли английскую гувернантку. Родственники (Джослин и Беатриса, брат с сестрой) согласились оставить мальчика у себя, и его детство прошло на ферме.

Животные не восхищаются друг другом. Конь не восхищается своим сотоварищем. Не то чтоб они не состязались в беге, но это не имеет последствий, и, оказавшись в стойле, тот, что тяжелей и нескладней, не уступит своего овса другому, как того желают люди в обращении друг с другом. Их достоинства находят удовлетворение в самих себе[4].

Кость черепа здесь туго обтянута кожей, но даже на этом тонком слое растет шерсть. Слегка вогнутая кость образует впадинку. С каждой стороны от нее — большой выпуклый глаз. Это лобная часть головы. У человека такого места нет: органы чувств сосредоточены густо, глаза посажены слишком близко друг к другу, лицо очерчено резко. Человеческое лицо — как клинок, лезвие которого обращено к миру.

Если ладонью погладить едва заметную впадинку с островком шерсти на тонкой коже, животное кивает. Но ладонь слишком мягкая, ее касание почти не чувствуется. Надо сжать руку в кулак, потереть голову животного костяшками. Корова не закрывает глаз, глядит безмятежно и спокойно — не чувствует вблизи опасности.

---

[4] Сноски: 4

Блез Паскаль, «Мысли о религии и других предметах», № 685.

Так поступают в детстве. А взрослые мужчины, в горе или от раскаяния, прикладывают лоб к коровьему лбу, кость к кости.

В сознании Беатрисы глубоко укоренилось выражение «бессловесная тварь». В нем нет ни снисходительности, ни жалости, но для Беатрисы впадинка между глаз отчего-то связана с неспособностью животных говорить.

В детстве ее озадачивали рога; точнее, не сами рога, а то, как они растут — твердые, выпуклые вздутия под шерстью. В подростковом возрасте она воспринимала рога как образец того, что происходит с ней самой. Она осознала, что рост рогов не означает подчинения бегу времени, не имеет ничего общего с покорностью, а просто отмечает отмеренный срок. Коровьи рога сродни жизненному опыту человека.

На ферме всегда держали скотину, и жизни без нее Беатриса не представляет. Нет, она не сюсюкает с хилым ягненком, которого приносят выхаживать из хлева в дом. Она не жалеет, когда приходится продавать корову, переставшую давать молоко. Без скотины ферма станет бездейственной, необитаемой, сгинет под напором времени, как дуплистое дерево. Животные мирно жуют жвачку, вздыхают (по ночам), пасутся,

плодятся и размножаются — и отгораживают Беатрису от безжизненных звезд.

В детстве скотину держал ее отец. Животные его слушались, как и сама Беатриса. Он разговаривал с ними — и с ней — тихо и ласково. Со всеми остальными он был груб и раздражителен.

Ей двадцать четыре года. Лицо у нее широкое, будто уши постоянно растягивают ей рот в улыбку. Полные губы слегка приоткрыты, за ними блестят белые зубы.

На вечеринке в саду лондонские гости часто принимают ее за незамужнюю дочь местного сквайра (отец Беатрисы умер, она ведет хозяйство для брата), но ее движения неожиданно быстры, а жесты чрезвычайно выразительны.

Между собой соседи считают, что выйти замуж ей мешает неприличествующая девушке бойкость.

Что бы Беатриса ни делала — шла по лужайке, срезала розу с куста, заглядывала в духовку, складывала белье или надевала юбку, — во всем видны напористость, необычная уверенность в своих силах и решимость. Она строго придерживается избранного плана действий и отметает всякие попытки его изменить, считая их несуще-

ственными подробностями. В ее жизни нет места подробностям, они ее не касаются.

О честолюбии и благонравии она не задумывается, потому что не в состоянии себя удивить. Ей известно все, что она может предложить. Глубоким знанием себя она обязана не созерцательности, а наблюдательности — словно животное, она интуитивно ощущает, как удовлетворять свои незамысловатые желания.

Если из моего описания следует, что она круглая дура, то я к ней несправедлив.

Ферма расположена на дне долины, с трех сторон окруженной крутыми холмами. Усадьба построена лет сто назад, внушительная, с большим количеством печных труб. С одной стороны дома — обнесенный стеной сад, за домом простирается газон. По долине разбросаны конюшня, коровник и всякие хозяйственные постройки. Некогда процветающая ферма считалась удачно расположенной, а сейчас кажется, что холмы ее придавили.

После смерти отца Беатрисы и особняк, и угодья пришли в запустение. Брата интересуют только лошади. Землю приходится продавать. При жизни отца здесь получили наделы пять

арендаторов; теперь осталось всего пятьсот акров.

Дом по-прежнему содержится в порядке. Прислуга два дня в неделю начищает столовое серебро. Зимой в главной спальне топят камин. Когда хозяин выезжает на охоту, его сопровождает конюх. Раз в год, в июне, на лужайке за домом, в тени раскидистых буков устраивают прием, на который собирается много гостей. И все же особняк слишком велик для брата с сестрой. Обрабатывать землю некому. В общем, начинается медленное обезличивание угодий, и через двадцать пять лет в усадьбе устроят санаторий для раненых офицеров.

Джослин, брат Беатрисы, на пять лет ее старше.

Крупный, красивый мужчина с бледно-голубыми глазами на первый взгляд выглядит волевым, уверенным в себе человеком, но это впечатление быстро рассеивается. Ничто не смущает его неколебимого спокойствия, точнее, апатичности, заставляя собеседника пересмотреть свою первоначальную оценку. Однако едва лишь — с пугающей внезапностью — Джослину приходит в голову какая-то мысль, как в глазах загораются искры, и он с невероятной убедительностью

восклицает: «Великолепно сработано!» Властность его суждений (даже для мальчика, который не знаком с историей) основывается на неких ценностях прошлого. А затем Джослин и сам будто погружается в прошлое и вновь становится глубоко апатичным, вялым созданием. Что же делает его таким непредсказуемым?

Для понимания особенностей характера Джослина следует рассмотреть его в перспективе. В конце девятнадцатого века английская аристократия переживала необычный кризис. Их власти ничего не угрожало; в опасности оказался тот образ, который английская знать являла миру. Высшие слои общества приспособились к промышленно развитому капитализму и торговле, но продолжали вести жизнь наследственных поместных дворян, что становилось несовместимо с современным миром. Широкомасштабная финансовая деятельность, развитая промышленность и империалистические вложения капитала требовали от власти определенного стиля управления, а народные массы желали демократии. И английские дворяне, верные своей натуре, приняли решение смелое, но легкомысленное. Раз уж их образу жизни суждено исчезнуть, его надо сначала возвеличить, от-

крыто и бесстыдно превратив в захватывающее зрелище, в своего рода театральную постановку. Они больше не настаивали на своих привилегиях по праву родства, а если и оправдывали их существование, то только на словах; вместо этого они играли спектакль, строго соблюдая все законы и условности сценической драматургии. С начала 1880-х годов в этом заключался основополагающий смысл светской жизни — охота, скачки, придворные балы, регата, пышные приемы.

Публика с восторгом отнеслась к подобному апофеозу аристократии. Любые зрители считают, что актеры являются их собственностью. Прежние повелители народа стали шутами, развлекающими массы. Пока внимание народа было отвлечено, высшие слои общества — лучшие представители своего класса — приспособились к новому, тщательно замаскированному способу правления. Как феникс, аристократия возрождалась из пепла своего пышного убранства, используя его в качестве театрального реквизита.

Джослин — мелкопоместный, неродовитый дворянин. Он регулярно выезжает на охоту и участвует в провинциальных скачках, тем са-

мым укрепляя свою веру в то, что это и есть жизнь, а ничем не заполненный промежуток между ними — своеобразный затянувшийся антракт. Поэтому Джослина трудно понять. Когда он уходит со сцены, ему нечего делать — он не подает реплик, не играет роль и становится необычайно апатичен. Однако же не потому, что ему хочется под гром аплодисментов блистать на подмостках — нет, он счел бы это вульгарным; он искренне принимает представление за реальность.

Его наряд полностью соответствует отведенной Джослину роли: высокие сапоги с коричневыми отворотами, шпоры, вельветовые бриджи, линялый алый сюртук, белый галстук, невысокий цилиндр, стек с длинным хлыстом.

С ноября по апрель Джослин выезжает на охоту четыре раза в неделю.

Следует заметить, что слово «представление» использовано здесь как метафора, чтобы лучше объяснить искусственность, символизм и восхитительно заманчивый образ происходящего. Тем не менее и сцена, и декорации, и реквизит — настоящие. Зимний день, гончие, норы, изгороди, поля, лисы, изнеможение скачки — все это совершенно реально. Ощущения, вызываемые

действиями, становятся еще острее из-за скрытого символизма, понятного каждому охотнику.

Садясь в седло, становишься властелином, рыцарем. Олицетворяешь благородство — и этическое, и сословное. Покоряешь. Участие в сражении, пусть и скромное, становится достоянием истории. Честь начинается с человека, сидящего верхом на лошади.

Псовая охота — забава отважных, тех, кто уважает скорость и выдерживает темп.

Охота противоположна владению. Охота не соблюдает границ, несется по полю. На охоте человек свободен так же, как свободен вспугнутый лис.

Верховая охота — скачка с группой единомышленников, которые, независимо от своего нрава, разделяют с тобой эти ценности и помогают их сохранить. Изобретение колючей проволоки противостоит этим ценностям. (На колючей проволоке впоследствии погибнут миллионы пехотинцев, бросаясь в атаку по приказу своих генералов, сидящих верхом на конях.)

Однажды в декабре Джослин возвращается домой раньше времени. Его лошадь забрызгана грязью. Он спешивается и ведет лошадь в поводу. Поначалу он не в состоянии распрямиться, бре-

дет согнувшись, будто старик с клюкой.

— Еще две мили, старина, — говорит он лошади.

Лошадь и человек идут бок о бок. Человек вспоминает основные происшествия дня: свои собственные впечатления, рассказы приятелей. Он устал до мозга костей, но за усталостью кроется удовлетворение, скромная гордость. Он совершенно уверен, что так же, как преступление — к примеру, предательство или кража — влияет на ни в чем не повинных людей и их поступки, честная верховая охота распространяет по миру пусть крошечную, но бесконечную волну благородства. Он глядит вверх, где в безбрежной пустоте мерцают редкие звезды, и ощущает отсутствие громадных резвых скакунов, что некогда проносились по небосводу.

* * *

Мальчик сидит на ступеньках и слушает разговор в спальне. Позже он поймет, что голоса звучат, как беседа супругов перед сном: не влюбленно, а спокойно, задумчиво, с легкостью и долгими паузами. (Иногда дядя рано уходит к себе в спальню, и в такие вечера тетушка относит ему горячее питье — горячительное, со смешком

замечает она.) Слов мальчик не разбирает, но тон разговора, манера, в которой мужской и женский голоса сплетаются, встречаются и отталкиваются друг от друга, в том, как звуки дополняют и завершают друг друга, и в то же время четко отличаются, как металл и камень или как дерево и кожа, и сливаются в гармоничном скольжении, в обрывистом шорохе и резких паузах, из которых складывается гул разговора, — все это красноречивее любых отчетливо произнесенных слов говорит о силе принимаемых решений, неподвластных возражениям постороннего слушателя.

* * *

Летом 1893 года целых три месяца стояла засуха. Наконец разразился ливень.

Мальчик выбегает из дома. От земли пахнет мясом.

На ладонях — запах лошадей и упряжи. Запах складывается из ароматов кожи, седельного мыла, пота, копыт, лошадиной шерсти и дыхания, травы, овса, грязи, попон, слюны, навоза и запотевшего металла.

Мальчик подносит ладони к лицу и с насла-

ждением вдыхает аромат. Иногда запах остается на пальцах весь день, до самого вечера, хотя поездка верхом случилась утром.

Лошадь и упряжь пахнут совсем не так, как коровник. Эти запахи можно назвать полной противоположностью друг другу. Коровник означает молоко, ткань, женщин, сидящих на корточках подле коров, жидкий навоз, перегной, тепло, розовые ладони и такое же розовое вымя, полное отсутствие тайн и имена коров: Красотка, Капризуля, Пышка, Куколка, Лакомка, Крошка.

Запах лошади и упряжи для мальчика связан с природой его собственного тела (внезапно он понимает, что оно теплое), с гордостью (он хорошо ездит верхом, и дядя его хвалит), с лошадиной гривой и нетерпеливым желанием поскорее узнать все о мире мужчин.

Какие-то подробности этого мира мальчику известны, но он считает, что все они относятся к тому, чего никто не упоминает. Ему кажется, что мужчинам необходимо все держать в секрете, как поступает и он сам. Когда он попадет в этот мир — и поскачет за гончими капитана Элуэйса, — то узнает все его тайны.

Мисс Хелен

За три года — с двух до пяти лет — у мальчика сменилось три гувернантки. Последнюю зовут мисс Хелен.

В классной комнате, расположенной в том крыле особняка, которое дальше всего от кухни и двора, мужчин нет; там один только мальчик. Он сидит за столом, болтая ногами, и читает вслух. Гувернантка устроилась в кресле, повернув его так, чтобы смотреть в окно.

Когда мальчику кажется, что она о нем забывает, наблюдая за происходящим за окном, он нарочно делает ошибки, чтобы привлечь ее внимание. Иногда ошибки непреднамеренные… все лето шли дрозды.

— Дрозды?

— Ну да, пестренькие такие.

— Все лето шли дрозды?

Мисс Хелен встает, разглаживает платье на тонкой талии и подходит к мальчику, становится у него за спиной, заглядывает в книгу.

— Все лето шли дожди! Дожди, а не дрозды, — смеется она.

Мальчик смеется вместе с ней, запрокидывает голову, касается затылком ее платья.

— Да, дрозды — это птицы. Певчие. А здесь подлежащее — дожди.

В пять или шесть лет любовь — явление редкое, однако по сути своей такое же, как и в пятьдесят.

Для того чтобы пятилетний мальчик влюбился, необходима предпосылка. Он должен потерять родителей или утратить всякую возможность близкого общения с ними; приемных родителей у него тоже не должно быть. Вдобавок у него не должно быть ни друзей, ни братьев или сестер. Тогда он — подходящий кандидат.

Влюбленность — изощренное чувство предвосхищения постоянного обмена определенными дарами, от мимолетного взгляда до предложения себя самого, целиком и полностью. Впрочем, дар должен оставаться даром, его не предъявляют по требованию. У влюбленного нет прав, за исключением права с нетерпением ожидать даров, которыми его пожелает наградить возлюбленная. Дети, как правило, обладают многочисленными правами (на снисхождение, на утешение и тому подобное), поэтому они не влюбляются. Но если ребенок, в силу указанных обстоятельств, осознает, что имеющиеся у него права — не данность, если он догадывается, пусть и не в полной мере, что счастье — не непреложное обещание, а то,

что каждый должен найти сам для себя, если он понимает, что одинок, то начинает ожидать от другого постоянных, безвозмездных и невинных даров. Это состояние и называют любовью. Однако что он может предложить в обмен? Мальчик, как и мужчина, предлагает самого себя — это вполне возможно. Тем не менее невозможно — точнее, невероятно, — что объект его любви когда-нибудь распознает этот дар или поймет это чувство.

— А что такое подлежащее? — спрашивает он.

— Это главный член предложения, который называет то, о чем в предложении говорится.

Вы наверняка возразите (как возразила бы и она, только более расплывчато), что пятилетний мальчик физически не развит, он не в состоянии испытывать физического влечения, которое лежит в основе любви.

Каждое утро он слышит, как она умывается у себя в спальне. Каждое утро ему хочется неожиданно войти к ней — выдумать какой-нибудь предлог, сказать, что ему страшно. Но такой поступок выражает детскую требовательность, а мальчик влюблен, и гордость влюбленного его от этого удерживает.

По ночам в постели он придирчиво рассматривает свое тело и обнаруживает, где именно расположен таинственный источник его возбуждения. (Ее присутствие, вот как сейчас, когда она стоит позади, а он затылком касается ее платья, заставляет его сердце биться сильнее, а все тело обволакивает истома, как в горячей ванне.) Он изучает свой нос, уши, подмышки, соски, пупок, дырочку в попе и пальцы ног. Добравшись до своего торчащего пениса, он понимает, что там скрывается некий ответ, и ласкает себя, ощущая знакомое сладостное возбуждение, которое накатывает, волна за волной, и внезапно превращается в боль. Приятное чувство он полагает хорошей болью, потому что единственное знакомое ему ощущение такой глубины и силы — это боль.

— Давай споем, — предлагает он.

В отличие от предыдущих гувернанток мисс Хелен чрезвычайно ленива, к урокам относится небрежно и занимается со своим подопечным лишь тем, что им интересно. Вместо трех уроков до обеда они просто проводят утро вдвоем. Мальчик считает, что это уравнивает их в правах. Мисс Хелен проводит это время в праздных мечтаниях.

Она подходит к фортепиано и усаживается на круглый вертящийся табурет.

— Можно, я тебя покручу? — просит мальчик, становится ей за спину, прижимает ладошки ей к бедрам и толкает.

Она поджимает ноги, спрятав туфли под юбками, и медленно поворачивается.

«Ах, у него личико, как у обезьянки, а глаза темные и глубокие. Он такой смешной! Все смотрит и смотрит, пока не отвернешься. Не представляю, о чем он думает».

Через два дня она собирается на неделю в Лондон.

Мальчик заметил — и считает это уникальной чертой, — что ее платья всегда теплые на ощупь.

Она опускает ноги на пол.

— Что скажет твой дядя, если нас увидит?

— Он никогда сюда не приходит. А если бы и явился, то верхом на коне, заглянул бы в окошко.

Мисс Хелен невольно глядит в окно.

— Давай я тебя еще покручу.

— Нет, — почти капризно отвечает она.

— Тогда спой песню, — просит мальчик. — Мою любимую.

— Какую?

— Ту самую, про Хелен. Твою песню.

Она смеется и треплет ему вихры.

— Можно подумать, я других песен не знаю.

Голосок у нее тоненький, как у ребенка. Когда она поет, ему представляется, что они одного роста и рядом выглядят замечательно. Он давно не слушает слов песни (Ах, если бы я был подле Хелен…), потому что хорошо их знает и совсем им не верит. Отвергая слова, он слушает пение мисс Хелен, как птичье. Пока она поет, он будто бы спрашивает: «Хелен, ты выйдешь за меня замуж?», а она своей песней отвечает ему: «Да». Но сам он в это бы не поверил: это невозможно, так уж устроен мир.

Она опускает глаза, словно смотрит в ноты. Полуопущенные тяжелые веки — гладкие, выпуклые, без морщин и складок. Однажды она спала в гамаке на лугу, а на лицо ей села муха.

Мисс Хелен воображает, как беззаботно поет «свою» песню подопечному, а ее слышит мистер Джон Леннокс, кандидат в члены парламента от партии либералов округа Росс-он-Уай. Мистер Леннокс подходит к ней и говорит: «Я и не предполагал, что среди ваших многочисленных талантов еще и превосходный голос».

Мальчик, взбудораженный тайной, от которой

по ночам отвердевает его член, начинает задавать вопросы, но делает это невнятным языком незавершенных фраз, смутных образов и схематичных жестов тела.

Приблизительно его вопросы можно перевести так:

Почему я заключен в кожу?

Как поближе подобраться к ощущаемому мной наслаждению?

Что во мне я так хорошо знаю, но никто об этом больше не догадывается?

Как объяснить это посторонним, чтобы они тоже знали?

В чем я? Что это за вещь, посреди которой я себя обнаружил и из которой мне не выбраться?

Он уверен, что мисс Хелен сможет ему ответить с помощью того же невнятного языка, на котором он ее расспрашивает. В классной комнате он задает ей свои обычные вопросы — откуда берется дождь? что ест волк? и тому подобное, — и мисс Хелен на них отвечает. Таким образом он готовит ее к своим тайным вопросам.

Ее руки лежат на клавишах фортепиано — бледные тонкие пальцы, коротко подстриженные ногти. По воскресеньям она надевает белые перчатки. Возвращаясь из церкви, мальчик берет

мисс Хелен за руку. Он пленен и очарован тем, как она касается клавиатуры — то легким, почти мимолетным касанием, когда палец небрежно ласкает клавишу и тут же перелетает к другой, то тяжелым ударом, вдавливая клавишу и удерживая ее, так что видны неполированные бока соседних клавиш. Ее пальцы будто вонзаются в фортепиано. Последняя нота затихает вдали.

— Теперь играй, а я тебе спою.

— Что ты мне споешь?

— Твою песню.

Мальчик старше шести или семи лет больше не влюбляется — до тех пор, пока не станет подростком. Теперь у него много знакомых. Мир за пределами его тела расширяется, разделяется на множество людей, любой из которых может заявить ему, что они непохожи. В пять лет этого не происходит.

В отсутствие родителей мальчик все еще ищет единственного человека, который представляет собой все, что отлично от него, чтобы предстать перед ним как его недостающая половина, его противоположность. Если он найдет такого человека, отличного от него опытом, ролью, происхождением, интересами, возрастом, полом, и если человек этот, в самом широком смысле

слова, скажется для него совершенно чужим и все же постоянно и непосредственно будет находиться рядом с ним, и если в довершение всего она будет цветущей красавицей, то он наверняка влюбится.

И все же, возразите вы, физическое влечение и страсть отсутствуют — и в качестве доказательства приведете тело пятилетнего мальчика. (Два раза в неделю, когда его купают, он сам приводит эти доказательства своей возлюбленной.) Однако свою физическую неразвитость он восполняет метафизически. Он ощущает и чувствует, что она, будучи полной противоположностью, дополняет его и довершает для него мир. У взрослых это ощущение воссоздается физической страстью. Пятилетнему мальчику воссоздавать его нет необходимости — оно им унаследовано.

Он начинает петь, не задумываясь о словах, пристально наблюдая за ее пальцами на клавишах. Потом подходит ближе, касается щекой ее плеча.

Вскоре вместо мисс Хелен нанимают учителя.

Мальчик не просит объяснений, да их ему и не предлагают. Он привык принимать реше-

ния как неоспоримые факты. Для него верховная власть не сосредоточена в руках одного человека, а потому возможность обжаловать решение не приходит в голову.

Он прикладывает ухо к коре, вслушивается в дерево. Он никогда прежде не слушал мертвое дерево. Деревья он мысленно делит на четкие категории: любимые и нелюбимые (без особых на то причин). Те, на которые слишком легко взбираться, и те, на которые взбираться страшновато. Те, с вершины которых открывается красивый вид, и те, с которых ничего интересного не видно. Дальше категории усложняются. Деревья живые, но не так, как звери. В чем разница? Во-первых, дерево доступнее. Во-вторых, оно загадочнее. В-третьих, оно неподвижно. В-четвертых, на дереве можно спрятаться. Если вырезать что-нибудь на коре, то дереву не больно. Если с дерева отрубают ветку, то нет ни звука, ни запаха боли. И все же, когда он прижимается к древесной коре, то она кажется живой, как его собственная кожа, и ощущение это сильнее и глубже любых рассуждений. Если дотронуться до животного, оно ведет себя по-своему. На одно дерево мальчик забирается высоко-высоко и целует ствол — всегда в одно и то же место.

* * *

Течение дня обычно не замечают; нас отвлекают повседневные дела. Нежданная гроза, буря или затмение солнца заставляют на мгновение забыть об обыденной суете бытия. Но в самом начале или в самом конце дня, на восходе или на закате, когда наше отношение ко всему окружающему стремительно изменяется, мы уделяем бегущим минутам такое же пристальное — а пожалуй, и большее — внимание, как и тем действиям, которыми обычно заполняем время. Даже самый законченный эгоист, глядя на зарю, забывает о себе. Скорее всего, это происходит потому, что начало дня и наступление ночи неизменны и не зависят от того, что происходит в течение дня.

Иногда мальчику позволяют завтракать на кухне, вместе с работниками. Он неделями потихоньку расширяет границы дозволенного, и теперь завтрак на кухне означает, что мальчик может встать раньше всех, выскользнуть из дома, заниматься чем душе угодно и к половине восьмого явиться на кухню вместе с пастухом.

Холодным зимним утром, спустя несколько ме-

сяцев после того, как ушла мисс Хелен, он встает затемно и украдкой убегает на лужайку, к букам.

То, что он ощущает, глядя на освещенные окна коровника и особняка, представляет собой леденящее дополнение к пылающей тайне его тела в постели. Каждое освещенное окно намекает на скрытую за ним комнату. Из каждого окна он выдвигает ящик комнаты наружу. В ящике спрятаны тепло, безопасность и привычное течение жизни. Но самого мальчика там нет — он под покровом тьмы у буков. В темноте и на холоде его чувства так ограничены, что ему чудится, будто он смотрит на мир из крошечной хижины, куда едва вмещается тело. Вопрос, который мальчик не в состоянии сформулировать даже на невнятном языке, гнездится где-то между особняком и воображаемой хижиной. В поле, на холме, пасутся овцы — они чуть светлее темноты, как отпечаток дыхания на темном оконном стекле, растворяющийся во мраке. Мальчик осознает, что овцы остаются вне вопроса, не поддающегося определению. Темнота сменяется предрассветными сумерками, мальчик начинает различать очертания своего тела, и воображаемая хижина исчезает, а вместе с ней — и ощущение вопроса, оставшегося несформулированным.

Мальчик спускается во двор и входит в коровник, где две доярки и пастух заняты дойкой. Он похлопывает каждую корову по крупу и называет их по именам.

Чай за завтраком на кухне отличается от чая в классной комнате. Здесь другие чашки — толстые и громадные, почти как плошки.

Он пьет обжигающе горячий чай — крепкий, но жидкий. Нёбо обволакивает тонкая пленка, непроницаемая, гладкая и блестящая, будто слюдяные пластинки, которые вставляют в стенки фонаря. Вкус чая во рту перебивает всепоглощающая сладость сахара, нитью Эвридики стекает в горло и загадочным образом через желудок проникает в крошечную сексуальную область (которая у мужчины отлична от собственно половых органов), где постепенно накапливается и откуда горячей волной выплескивается сексуальное наслаждение. Так сахар знакомит нас с прелестями интимной жизни.

«Мед бывает чистым или токсичным, как и женщина, которую в нормальном состоянии можно сравнить с «медом», но она же выделяет яд в период женского недомогания. Для мысли туземцев поиски меда представляли

своего рода возвращение к природе, процедуру, наделяемую чертами эротичности, перенесенными из разряда сексуальных характеристик в разряд чувственно вкусовых. Эта черта могла бы стать подкопом под фундаментом всей культуры, если бы ее культивации уделялось слишком много внимания»[5].

На кухне пахнет беконом и сапогами работников.

Повариха стоит у плиты и с невероятным удивлением наблюдает за завтраком семи работников и трех горничных. Изумленное выражение возникает у нее на лице всякий раз, когда люди поглощают приготовленную ею пищу. Аппетит едоков повариху давно уже не удивляет; изумление, скорее всего, имеет более приземленную, первозданную природу — нечто поглощают, и оно перестает существовать.

В кухню входит тетушка мальчика, треплет его по голове и решительно направляется к буфету у окна. Горничные робко поглядывают на нее. Она высматривает в окно брата. В те редкие минуты, когда она не хлопочет по хозяйству,

---

[5] Сноски: 5

Клод Леви-Стросс, «Мифологики. Происхождение застольных обычаев».

Беатриса, будто молодая жена, с тревожным нетерпением ждет его появления. Повзрослев, брат утратил собранность и деловитость, растерял навыки. В юности он служил предметом ее восхищения, но и теперь, двадцать лет спустя, она все так же хранит ему верность.

Мальчик пьет чай и следит за тетушкой. Она вглядывается в окно, почти касаясь лицом стекла. Он знает, что тетушка, как обычно, ждет брата. Мальчик украдкой встает из-за стола, выскальзывает в кладовую, выбирается во двор, прижимаясь к стене, чтобы его не заметили из кухни, и, обогнув дом, оказывается под окном, у которого стоит его тетушка. На миг он замирает, с трудом сдерживая смех, предвкушая забавную шалость.

«Тетушка ждет своего брата — а тут я!»

Он взбирается на деревянную поилку, медленно выпрямляется и прижимает нос к стеклу, глазами упираясь в грудь тетушки. Вначале она его не замечает — ее взгляд устремлен вдаль, она ждет, что брат войдет в калитку. Мальчик смотрит на ее лицо снизу вверх. Она опускает глаза, в них вспыхивает смешливая искорка. Тетушка улыбается, и он радостно хохочет. «Вот он, я!»

Числа

В комнате установили доску. Комната превратилась в класс. Исчезли все напоминания о том, что когда-то здесь была детская, а еще раньше — малая гостиная. На полках в шкафу стоят учебники. На стене висит карта мира, бóльшая ее часть выкрашена в алый цвет охотничьего сюртука — территория Британской империи. Рядом с картой повесили часы. Время мисс Хелен миновало, и мальчик осознает, что это непреложно. Как и то, что у него нет отца. Впрочем, о последнем ему сказали, а о первом он догадался сам.

— Еще раз посмотришь на часы — и занятия арифметикой продолжим после обеда.

— После обеда мы с дядюшкой поедем кататься верхом.

— Я поговорю с твоим дядюшкой.

— Ничего из этого не выйдет.

— То есть как?

— Мы с дядюшкой едем кататься верхом.

— Встань!

Учитель встает и нарочито медленно направляется к фортепиано. Привычный ритуал служит напоминанием о том, что ожидает мальчи-

ка. Со стены над фортепиано учитель снимает трость.

— Что полагается за дерзость?

— Один удар по рукам, сэр.

Мальчик протягивает руки перед собой, раскрывает ладони.

Он научился терпеть наказание. После удара учитель всегда пристально вглядывается в лицо ученика, будто в поисках доказательств. Выражение лица должно точно соответствовать боли в руках. Если мальчик чересчур напрягается, то остро ощущает, что написано у него на лице, проникается жалостью к себе и может заплакать. Если он расслаблен, то боль отражается в глазах и сжимает горло прежде, чем он успевает к ней приспособиться. Поэтому при каждом наказании он должен четко определить силу ожидаемого удара, оценивая дыхание учителя и то, как сильно он втягивает живот под жилетом. Если догадка верна, то по выражению лица учителю ничего определить не удается, и мальчику почти не больно.

Удар трости по левой ладони полагается за ошибку, которую учитель исправил на предыдущем занятии (к примеру, в слове «количество» не две буквы Л, а одна); ошибка, повторенная

трижды за день, наказывается ударом по правой ладони; за ослушание (вот как сейчас) ученик получает удар по обеим ладоням; за дерзкое неповиновение — три удара. Поначалу такая система наказаний удивляла мальчика, но сейчас он воспринимает ее привычно, как стрелки часов, указывающие время. Час занятий кажется бесконечным; два часа на свежем воздухе пролетают незаметно.

— Что больше, две трети или три седьмых?

Мальчик, ощущая в вопросе подвох, глядит в окно на Бассетский лес.

Учитель решает, что ученик ему нравится, однако его своеволие необходимо обуздать, иначе мальчику трудно придется в жизни.

В комнате поварихи стоят высокие напольные часы. Их тиканье завораживает мальчика, обещая бесконечное время, но тихие щелчки, отмеряя секунды, заполняют бесконечность, и это удручает. Он терпеливо считает медленные движения тяжелого бронзового маятника — двести, триста, — а потом ему надоедает, хочется разбить круглое стеклянное окошко в часах, за которым из стороны в сторону раскачивается круглый диск грузика.

Кошка поварихи взбирается на колени мальчика. Он чешет ей за ухом, она мурлычет. Мальчик все больше и больше погружается в завораживающий транс, будто раскачивается в гамаке, подвешенном к двум ветвям сознания: к бесконечной протяженности времени в нерушимом доме (ему семь с половиной лет, он живет здесь уже пять лет и не представляет себе, что дом можно сломать или уничтожить) и к равнодушной, живущей своей жизнью кошке на коленях. Жар кошачьего тела проникает сквозь ткань штанишек, согревает бедра и живот.

Двое мужчин

В сумерках мальчик выходит из леса на холме за буками и спускается к дому. Осенний вечер. Лужи. Алый закат. Из печных труб стройными столбиками поднимается дым. С одного дерева на другое с шелестом перелетает горлица. С земли веет холодом, зябко от пяток до пояса. Рядом трусит пес, и это меняет перспективу. Предметы и события реже накладываются друг на друга, ме́ста вокруг становится больше. Пес кружит у ног, убегает вперед, отодвигая границу непознанного, — процесс, обратный тому, как овчарка собирает стадо. Неизвестное настойчиво. «Чего

не может случиться? — спрашивает ребенок и сам себе отвечает: — Ничего». «Что может случиться? — спрашивает взрослый и отвечает: — Ничего». А ребенок идет по лесу, как ребенок.

Шагах в пятидесяти от него пес заходится лаем. Браконьеры? Мальчик на той стадии развития, когда сама мысль о браконьерах окутана тайной. Дядюшка называет их преступными убийцами, созданиями, которым неведома жалость, которые ни перед чем не остановятся. Дядюшка считает браконьеров угрозой общественному порядку (точно так же, как Умберто оценивает толпу горожан). Из разговоров, жестов и подмигиваний работников мальчику становится ясно, что среди их друзей и знакомых есть браконьеры.

— Вот если б мировой судья поголодал… — замечает один из батраков.

«Значит, браконьерам голодно?» — спрашивает себя мальчик. Невозможно вообразить, как проголодаться до такой степени, чтобы пойти браконьерствовать. Голодные псы набрасываются на еду, трясут и мотают головами. В сумерках мальчик представляет, как оголодавшие люди жадно поглощают пищу, трясут и мотают головами. Он идет быстро, не бежит, но и не замедляет шага. В нем живет страх.

Мальчик несет его, как наполненный кувшин. Пролить нельзя ни капли, потому что тогда страх захлестнет все вокруг.

Пес замирает, навострив уши и приподняв переднюю лапу. Из леса доносится характерный звук людских шагов: под сапогами потрескивает хворост, шуршит палая листва, пружинят корни. На опушку выходят двое. Вместо рубах через голову надеты мешки, подвязанные на поясе. Холстина местами промокла, потемнела. Мальчик никогда не видел этих людей. У одного в руках бутылка.

— Не бойся, сынок, — обращается к мальчику второй.

Мальчик стоит неподвижно, опасаясь расплескать кувшин. Лица у мужчин тяжелые, квадратные, похожие на маски, вырезанные по верхним углам массивного шкафа в спальне доярок. Незнакомцы приглашают его пойти с ними.

— Мы тебя не тронем, — обещает тот, что с бутылкой.

Они разговаривают с ним, как с ребенком. Это придает ему некоторую уверенность.

— Как тебя зовут? — спрашивают они.

Мальчик называет свое имя.

Они идут дальше. Предыдущий жизненный опыт не подготовил мальчика к этой прогулке по лесу с мужчинами в грубой холстине; он не может определить, обычно это или нет. А вдруг случилось нечто из ряда вон выходящее, и позже дядюшка или учитель объяснят, что именно произошло? Но смогут ли они объяснить?

— Куда мы идем? — спрашивает он.

— Посмотришь, — отвечает мужчина с бутылкой.

В темноте лиц не видно.

— Погоди, — говорит другой мужчина, отходит в сторону и приносит откуда-то незажженный светильник, похожий на каретный фонарь.

Его приятель вливает в светильник какую-то жидкость из бутылки. Пахнет керосином. Светильник зажигают, подкручивают фитиль, и все идут дальше. Пес скулит и отбегает в темноту. Все молчат. Свет зажженного фонаря отбрасывает тени ввысь, на небо.

Мужчина впереди останавливается, поднимает фонарь над головой.

— Видишь?

Мальчик вглядывается в темноту, различает три обрубка толстых ветвей, уложенных по-

перек тропинки. Очертания обрубков чем-то знакомы. Его охватывает испуг. Мальчик понимает, что это — лошадиные ноги. Рука мужчины с лампой чуть вздрагивает, свет выхватывает из мрака край блестящей подковы, будто гвоздь, забитый в древесный ствол. Лошадиные ноги неподвижны.

— Ну что?

— Лошадь упала.

— Одна лошадь? — спрашивает человек с бутылкой. Голос у него ласковее, чем у приятеля.

— Не знаю.

— Чего стоишь? — говорит второй, взбирается на пригорок и поднимает фонарь повыше.

На земле лежат две лошади, обе на боку. Здоровенные тяжеловозы. Странно скрюченные, будто они упали на колени, сломали ноги и перекатились через голову. Пес сопит, шумно обнюхивает одну из лошадей.

— Они умерли? — спрашивает мальчик.

— Погоди, — неторопливо отвечает человек с бутылкой, тот, у которого ласковый голос.

— Ты чего? — возмущается тот, что с фонарем.

— Дурак ты, — говорит первый и поворачивается к мальчику. — Слушай, сынок, я их сейчас забью. Видишь, они упали, а встать не могут.

Надо их прикончить.

Мужчина на пригорке опускает фонарь пониже.

— Смотри, раз тебе говорят, — замечает он.

Человек с бутылкой подходит к голове первой лошади, наклоняется и ударяет. Мальчику не видно, чем он ее бьет. Может, бутылкой. То же происходит у головы второй лошади. Громадные конские туши даже не вздрагивают от ударов. Мужчина разгибается. В руках у него ничего нет.

— Ну вот, я их забил. Видел?

Мальчик понимает, что надо соврать.

— Да, — отвечает он.

Мужчина подходит к нему, поощрительно хлопает по плечу. На ладони, пахнущей керосином, темнеют пятна крови.

— Значит, видел, — уточняет он.

— Да, видел, — кивает мальчик. — Ты забил двух лошадей.

Он осознает, что разговаривает с незнакомцем, как взрослый с ребенком.

— Молодец, одним ударом забил, — добавляет мальчик.

— Давай мы тебя назад отведем, — предлагает мужчина. — А если кто спросит, ты расскажи, что видел, как я их забил. Мы тебе посветим.

— Так я пойду? — спрашивает мальчик.

— Мы тебя проводим, сынок.

— Я дорогу найду, — говорит мальчик. — Даже в темноте.

Ужасы обратного пути меркнут перед мерзким отвращением, которое он испытывает к незнакомцу. Еще чуть-чуть, и от запаха керосина его стошнит.

— Так я пойду, — повторяет мальчик.

— Гляди, не забудь, что я сделал.

Они расходятся. Свет фонаря исчезает. Запах керосина витает навязчивым воспоминанием. Мальчик ощупью пробирается между деревьев.

Он переборол свои страхи: и страх за себя, и страх неизвестности (это совсем другой страх). Однако совладал он с ними не силой воли и не храбростью — эти отвлеченные нравственные принципы редко срабатывают в действительности. Нет, со страхами ему помогло справиться совсем другое. Трудно подобрать определение чувству омерзения — слова его упрощают. Оно никак не связано ни с забоем лошадей, ни с видом крови. Подобное отвращение часто возникает и у детей, и у взрослых, но если не обращать на него внимания, оно быстро забывается. Мальчик хорошо его запомнил, и оно

пересилило страхи.

Он выходит из леса на вершину холма над особняком. Земля на крутом склоне не вспахана, холм покрыт густыми зарослями папоротника. Мальчик спускается к дому, спотыкается о длинный побег, падает ничком и кубарем катится по склону. Остановить падение легко, нужно лишь ухватиться за стебли или корни, но мальчик не желает останавливаться. Так, кувыркаясь через голову, он хочет скатиться к изножью холма. Когда упираешься головой в землю, то на миг кажется, что склон — это равнина; освещенные окна дома таинственно мерцают, словно огни на дальнем горизонте. Когда голова отрывается от земли, то будто летишь по небу. Пес бежит следом, восторженно лая, обнюхивая заросли. Каждый кувырок — точно дверь, которая то распахивается, то захлопывается. Равнина — распахивается — небо — захлопывается — равнина — распахивается — небо — захлопывается, и влажно пахнет папоротником. Хлоп, стук, хлоп, стук. Равнина. Из коровника доносится звук льющейся воды.

После этого случая в лесу мальчик часто взбирается на холм, к лесной опушке, и нарочно

скатывается по склону.

Однажды повариха застает его за этим занятием.

— Шею сломаешь, — говорит она.

— Моя шея не сломается.

Падение

Мальчик увидел ветку, словно созданную для того, чтобы сбить его с лошади. Все последующие рассуждения, все предположения, возникающие в отношении возможности сделать выбор, были сметены в тот самый миг, когда он осознал, что ветка обязательно сбросит его с лошади.

Время отмеряют не цифрами на циферблате, а частотой наших предчувствий. Без них — перед веткой, возникающей над ушами скачущей лошади, — время претерпевает необычайные изменения. Его медлительность невозможно вообразить.

Мальчик лежит на кровати в хижине батрака и ждет, когда ход времени придет в норму. Как только это произойдет, он сможет застонать.

В хижине, похожей на сарай, куда поставили кровать, хлопочет старик. За окном видна яркая зелень листвы. На подоконнике стоит свеча. По-

стель покрыта старой попоной, которая пахнет влажной грязной тряпкой.

Старик разжигает огонь под почерневшим чайником. Потолок хижины пестрит бурыми разводами, местами штукатурка осыпалась, открывая дранки крыши. Бурые разводы похожи на застарелые пятна чая. Старик двигается медленно, с трудом. Очевидно, это тот самый старик, который, по словам дядюшки, умрет в работном доме.

Рот мальчика опух. Он осторожно ощупывает языком десны, откуда вылетели зубы (так возникла его знаменитая ухмылка). Грудь натужно, болезненно вздымается и опускается, как старик, дующий на угли очага.

— Ты кто? — спрашивает мальчик у старика.

Тот подходит к постели, садится на край. В застывшем времени, которое вот-вот сдвинется с места, мальчик и старик одного возраста.

Я не знаю, что говорит старик.

Я не знаю, что отвечает ему мальчик.

Притвориться, что знаешь, будет слишком схематично.

Между тем развитие настолько сдерживается, а приближение конца так замедлено, что же-

лание сдержать слезы остается неколебимым и длится часами.

Ветка ударила его в лицо и грудь. Наверное, то же самое испытывают при попадании пули. Сила столкновения так велика, что внутреннее «я» уклоняется от любых внешних связей, хотя подобное явление не имеет ничего общего с забытьем. Мальчик не потерял сознания, но внезапно его тело вкупе со всеми его ощущениями и воспоминаниями превратилось в бескрайнюю ферму, по которой он непонятным способом передвигался. В отдалении виднелась какая-то бесформенная темная масса, состоящая из каменных поверхностей и воды. Он стремительно к ней приблизился и проник внутрь в тот самый миг, когда спина коснулась бедра лошади; едва ноги взлетели в воздух над холкой, мальчик вытянулся вертикально в облачной расщелине; потом ударился о землю, и внезапно поля раздвинулись, будто занавес, и открыли безбрежное синее небо, под которым не было земли, а был только он. И тут он потерял сознание.

Он выныривает из забытья. В постели его стойкость проистекает из первоначального решения не закричать при виде ветки, принятого час

назад, прежде чем его нашел старик. В постели мальчик все еще решает. Для него время замерло, и стойкость требуется не для того, чтобы придерживаться решения, а для того, чтобы принимать его бесконечно.

(Именно поэтому палачи чередуют пытки с утешением, разрушая подобное восприятие времени, необходимое телу для защиты.)

Все написанное — схема. Ты — схематичный писатель. Изложение напоминает теорему.

До определенного момента.

Какого именно?

До того, как поднимается занавес.

— Возвращайся к мальчику.

— Кто это говорит?

— Старик.

— Что мальчик чувствует?

— Спроси старика.

— Глянь-ка, — говорит старик. — Даже не стонет, бедняжка.

Дом — последний рубеж перед концом. Поэтому умирающие хотят умереть дома.

Мальчик не умирает.

Он дома, в кровати, накрытый одеялом, от которого пахнет отсыревшим грязным тряпьем.

В тот миг, когда его падение и боль застыли во времени, он нашел дом.

Мальчик вышел из своих владений к старику.

Они встретились на равных. Их встреча не подчинялась никаким правилам. Кость столкнулась с костью.

Но как только ощущение времени возвращается к мальчику, он снова становится ребенком.

— Эк вы сверзились, ваша милость. Не волнуйтесь, лежите себе тихонько. Сейчас дядюшка ваш приедет, в телеге домой повезет.

— Не хочу я никуда ехать.

— Ну не здесь же вам оставаться.

— А что такого? Чья это?

— Что «чья»?

— Чья это кровать?

— Моя, ваша милость. Я вас на тропке у Соколиной рощи нашел, вот принес сюда, уложил вас.

— А чей это дом?

Он заглядывает в окна батрацких хижин, карабкается на подоконник спальни доярки, примеряет ее фартуки. Натягивает кожаные гетры Тома — мальчику они доходят до самых бедер. Ах, как интересно быть кем-то другим!

— Не волнуйтесь, я сейчас огонь пожарче раз-

веду. Вам в тепле надо.

— А что еще ты сделал?

— Кровь вам с лица утер, да и уложил вас поудобнее.

— Я сильно разбился?

— Ничего страшного, заживет.

— Мне говорить больно.

— Ш-ш, не волнуйтесь.

— Не уходи.

Снаружи доносится скрип тележных колес. В дверях появляется дядюшка. Рядом с ним старик выглядит карликом. Джослин глядит на мальчика, улыбается, ласково что-то приговаривает. Для дядюшки случившееся — своего рода обряд посвящения подопечного. Занавес раздвинулся, жизнь началась.

Джослин тихонько беседует со стариком, вручает ему монетку. Два шиллинга. Старик сжимает деньги в кулаке, почтительно склоняет голову, отдает честь.

Дядюшка скидывает попону на пол, берет мальчика на руки. Грудь мальчика пронзает острая боль, он вскрикивает и теряет сознание.

— Отличный из тебя выйдет охотник, — успокаивающе шепчет Джослин и выносит мальчика из хижины, продолжая говорить настойчиво

и убедительно: — Отличный охотник, вот увидишь.

«Всякая история — современная история, но не в обычном смысле слова, когда современная история означает историю сравнительно недавнего прошлого, а в строгом смысле слова «современность», т. е. она — осознание собственной деятельности в тот момент, когда та осуществляется. История, таким образом, — самопознание действующего сознания. Ибо даже тогда, когда события, изучаемые историком, относятся к отдаленному прошлому, условием их исторического познания оказывается их “вибрация в сознании историка”»[6].

3

В Ливорно, на пьяцца Сан-Микеле, стоит памятник Фердинандо Медичи. По углам пьедестала, на котором высится великий герцог Тосканский, скорчились бронзовые статуи обнаженных африканских рабов в цепях. Надпись на монументе заканчивается следующими словами:

«…Создан в 1617 году, после смерти Фердинан-

---

[6] Сноски: 6
Р. Джи Коллингвуд, «Идея истории».

до. Позже — в период с 1623 по 1626 год — Пьетро Такка добавил восхитительные скульптурные изображения рабов, натурщиками для которых служили узники местной тюрьмы».

Три разговора об отце

— Почему у меня нет папы?
— Твой папа умер.
— Совсем-совсем?
— Да.
— Он на кладбище?
— Если будешь послушным, то после смерти отправишься прямиком в рай.
— А папа был послушным?
— Конечно.
— Всегда?
— Мы не были с ним знакомы. И твои дядя с тетей его тоже не знали.
— Но мама…
— Мама встретила его в Италии.
— А что он там делал, в Италии?
— Что-то связанное с кораблями.
— А он англичанин?
— Нет, итальянец.
— А как мама его называла?
— Доедай суп, не отвлекайся.

— Его поезд переехал?
— Кого?
— Папу. И он умер.
— Не знаю.
— А мама его не остановила?
— Суп доешь!
— А я тоже умер! Ха-ха-ха! Умер!
— Доедай!

* * *

— Почему мне об отце ничего не рассказывают? Я спрашиваю, а ты не отвечаешь.
— Я его никогда не видела. И твой дядя тоже его не знает. Спроси у матери.
— Ты притворяешься. Ну, скажи, кто он был?
— Торговец из города Ливорно, в Италии.
— Итальянец?
— Да, итальянский коммерсант.
— А они долго были женаты?
— Нет, не долго.
— А правда, что он попал под поезд?
— Кто тебе такое сказал?
— Повариха.
— Не знаю.
— А он был очень старый, когда умер?
— Он был намного старше твоей матери.

— А я на него похож?

— Я же тебе сказала, что никогда его не видела.

— А как ты думаешь, похож?

— Наверное… Глаза у тебя темные, не как у матери.

* * *

— Хочешь поехать в Италию?

— Когда?

— На следующей неделе. В Милан.

— А Милан рядом с Ливорно?

— Нет, Милан далеко.

— Я хочу сходить на кладбище в Ливорно, на могилу отца.

— Кто тебе сказал про могилу?

— Никто. Мертвых хоронят на кладбище.

— Нет, с чего ты решил, что она в Ливорно?

— Ну, он ведь там жил.

— А если он не умер?

— Не может быть.

— Он жив, представь себе.

— Но ты мне сказала, что он умер.

— Произошла ужасная ошибка. Мы решили, что он умер.

— И даже не надеялись, что он жив?

— Говорю же, ошибка.

— Значит, он жив?

— Да.

— Его не задавило поездом?

— Хочешь его навестить? Мы с тобой к нему поедем.

— С тобой? Если он жив, то, наверное, все дело в том, хочешь ли ты его видеть.

— Не дерзи.

* * *

Путешествие на поезде в Париж, два дня, проведенные с друзьями, а затем — поездка в Милан. Мальчик никогда прежде не проводил столько времени в обществе матери. Она не похожа ни на кого из известных ему людей, хотя он слышал о ней всю свою жизнь. Мать одновременно родная — и чужая. Рядом с ней мальчику кажется, что он играет роль в пьесе о своей возможной жизни. Все в ней предполагает альтернативу.

Она все время разговаривает с ним, но не так, как с ребенком. (С тех самых пор, как Лаура оставила его с родственниками, она думала о нем как о взрослом, сформировавшемся человеке — таким образом, гордость за сына превозмогала чувство вины. Теперь мальчику одиннадцать лет, и она думает о нем как о мужчине, к которому

можно обратиться за поддержкой и оправданием; как о человеке, который во многом заменяет ей отца.) Она беседует с ним о социализме, о важности образования, о будущем женщин, об искусстве — в Милане они увидят «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, — о своей подруге Берте Ньюкомб, которая обожает Бернарда Шоу, о европейских нациях и их характерных чертах.

Мальчик не понимает многое из того, о чем рассказывает мать. Слова проносятся мимо, как пейзаж за вагонным окном, — непрерывный поток далеких, бесформенных образов. Материнский голос не похож на известные ему голоса (она по-прежнему говорит без остановки), но словно ей не принадлежит. Мальчик выходит погулять в коридор, возвращается в купе и с непонятным удивлением замечает, что мать никуда не исчезла, хотя он это почти ожидал. Она засыпает, и мальчик сжимает ей ладонь — крепко сдавливает, ощущает ее материальность и изумляется этому так же, как если бы заметил, что отражение в зеркале движется само по себе.

Многие черты матери хорошо ему знакомы по снам и мыслям: легкие прикосновения маленьких пухлых ладоней; широко распахнутые золотисто-зеленые глаза (как глаза фарфоровой

куклы); пышная грудь и приземистая, коренастая фигура (будто мешок, набитый шелком); интонации, с которыми она произносит отдельные слова — ПРАВА, ИДЕАЛЫ, ПОЗОР; гиацинтовый аромат, под легкой вуалью которого скрывается другой, неизвестный (для мальчика) запах. Впрочем, все эти черты не складываются в личность матери, а просто напоминают ему, что она ими обладает.

Иногда за окном вагона или кареты какая-то женщина привлекает его внимание — впрочем, такое случается очень редко. Мальчик рассматривает ее и воображает, что это — его мать. Если незнакомка сидит с ними в вагоне или в дилижансе, то подобное притворство невозможно. Женщина должна оставаться совершенно неизвестной. Вот и сейчас он замечает прохожую в синем атласном платье с тонкой талией. Она заливисто смеется — именно этот смех выделяет ее в толпе и вызывает интерес мальчика. Он представляет себе, что она — его мать. Или вот толстуха, обвешанная покупками так, что кажется, она не пройдет в дверь вагона? Или дама в шляпе со страусовыми перьями, сидящая в ландо? Под юбкой со шлицами видны узкие брючки. Мальчик не сравнивает этих женщин

с матерью. Цель игры — не выбор, кто из них больше подошел бы на ее роль; это бы ему быстро наскучило. Вдобавок, если бы он выбрал кого-то вместо Лауры, то стал бы глубоко несчастлив. Воображаемые матери за стеклом заполняют пустоту, которую олицетворяет Лаура. Он никогда прежде не играл в такую игру. В присутствии матери он ощущает некое отсутствие, с которого следует начать.

Лаура с Умберто не виделись больше одиннадцати лет, и теперь их сын, в костюмчике и кепи, напоминает им о том, как это долго.

На платформе миланского вокзала сын в первый раз видит отца; отец впервые видит сына; любовник видит свою бывшую возлюбленную матерью своего сына, а мать видит своего бывшего возлюбленного отцом своего ребенка. На платформе под огромным стеклянным куполом вокзала все трое впервые встречаются как семья — преуспевающая, достойная завистливого восхищения. Мать с отцом не обмениваются поцелуем, но мать подталкивает сына (который сравнялся с ней ростом) к отцу в объятия. В течение следующего часа им всем кажется, что каждый из них — необъятное, невозможное видение, будто лицо, нарисованное на гигант-

ском воздушном змее.

Лаура пытается объяснить себе перемены, произошедшие с Умберто. Он превратился в карикатуру на капиталиста. Ее лондонские приятели-фабианцы не поверили бы, что это — отец ее ребенка. Они решили бы, что он воспользовался ее наивностью и добросердечием. Умберто растолстел, стал медлительным. В его лице четче проявляются упрямая настойчивость и тяжеловесность мышления, хорошо знакомые Лауре по письмам. Кожа огрубела и потемнела, под глазами мешки. Лаура сравнивает его с сыном, решает, что с мальчиком гораздо легче вести естественную, интеллектуальную беседу. Умберто превратился в ребенка — в старого, богатого, толстого ребенка. Он произносит бессмысленные, бессвязные фразы; в глазах стоят слезы.

— Всю жизнь! Всю мою жизнь… — беспрерывно бормочет он.

Умберто почти не замечает, что Лаура оплыла и обрюзгла. Она напряженно сжимает руки при ходьбе, от нетерпения скалит зубы в натянутой иронической улыбке, но все это меркнет в сравнении с переменой, которую так долго ждал Умберто: Лаура стала матерью его сына, который больше не ребенок. Умберто не сводит

глаз с мальчика.

В гостинице только и говорят о том, что Италия на пороге революции. Ходят слухи, что в промышленных районах города уже началась стрельба.

Умберто внезапно понимает, как смешна обстановка гостиницы: роскошные диваны, обитые красной кожей, диковинные цветы в оранжерее, лифты с золочеными решетками, покорные горничные в белоснежной форме. Его любовь к гостиничному великолепию сменяется глубоким отвращением. Он хочет привести сына домой. В гостинице любая близость — за исключением близости сексуальной — невозможна. Великолепие гостиницы безлико и лживо.

Бывшая любовница и сын Умберто прячутся от него в номере за бесконечными дверями; ему чудится, что все в гостинице скрывают лица под масками. Несмотря на ненависть к революции, Умберто несколько часов напряженно прислушивается к разговорам. Теперь, наконец-то встретив сына, он понимает, что все изменилось, и страх перед резкими переменами отступает на второй план. Он замечает нервные взгляды постояльцев и осознает, что именно отличает его от остальных: им необходим маскарад, а ему

не нужна маска. В следующие часы Умберто ощущает неясное соответствие между бушующими в нем чувствами, которых он не в состоянии выразить в гостиничной обстановке, и волнением толпы, собравшейся в северном пригороде Милана.

С несвойственной ему горячностью Умберто объясняет своей бывшей возлюбленной возникшую политическую ситуацию. Он говорит о старческой немощи Франческо Криспи, о беспомощности Антонио Старабба ди Рудини, о гениальных замыслах Джованни Джолитти.

— У нас нет другого выбора! Джолитти или анархисты! Прогресс или революция! Может быть, восстание вернет Джолитти к власти… — Умберто поднимает руку, трясет мясистой ладонью перед лицом Лауры.

Лаура смутно (в ней это не вызывает никаких эмоций) припоминает, что когда-то считала Умберто разбойником. Ей кажется, что и поведение Умберто, и все происходящее подтверждает правоту ее намерений. Она приехала, чтобы потребовать — не ради себя, но ради сына — то, что принадлежит мальчику по праву. Она мысленно произносит слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ тем самым особым тоном, который уже отметил

про себя ее сын.

— Почему ваше правительство не готово решить проблему бедности? Во всем мире уже…

— Проблему бедности?! — восклицает Умберто и смеется. — В Италии бедность — не проблема. Это образ жизни. Все богачи одинаковы, а у бедности — тысячи лиц.

— Вот поэтому все так и происходит! — огрызается Лаура.

Время от времени родители поглядывают на сына, будто обращаясь к нему за поддержкой. Отец глядит на мальчика покровительственно, а мать — ища защиты. Мальчику чудится, что они втроем встретились слишком поздно; он больше не ребенок, готовый взять от них то, что предлагает каждый, независимо друг от друга, хотя раньше был бы этому рад. В масштабе своей жизни он старше и взрослее их обоих; о его жизни им ничего не известно, и это делает их детьми.

Мальчик наблюдает за родителями и непрестанно задается вопросом: какими они были до того, как мать обрюзгла, а отец растолстел? Что заставило ее когда-то принять отца, хотя сейчас она противится каждому его слову, каждому жесту? Какая сила ее обезоружила? Или она

сама покорилась? Найти ответ мальчик не в состоянии.

Тем временем его родители обсуждают альтернативы революции.

К вечеру тучи затянули небо над городом. Собор, залитый свинцовым светом сумерек, похож на огромный осколок шрапнели. Вода в пригородных каналах кажется черной. На площадях нечем дышать, будто город целиком упаковали в ящик.

Миланские грозы отличаются особой силой. Перед грозой в Милане возникает странное ощущение искореженного, непостоянного пространства. Здания становятся непомерно большими в сравнении с человеком, нависают грозной громадой, давят — и в то же время кажется, что город вместе со всеми жителями уменьшился до размеров экспоната в музейной витрине. Возможно, в подобном искривлении восприятия виноваты резкие перепады атмосферного давления. В тот вечер это ощущение многократно усиливается.

В гостинице зажигают электрические светильники. Раскаленные нити в лампочках сияют серно-желтыми дугами. Из холла на втором этаже гостиницы видны подсвеченные колонны Ла Скала — судя по всему, вечерний спектакль

не отменили.

Постояльцы гостиницы собираются у высоких окон. Издалека доносится шум толпы. Площадь необычайно безлюдна. Мужчина в шейном платке рассеянно поглаживает бархатную портьеру; прикосновение к ткани его успокаивает.

Консьерж поспешно взбегает по лестнице, подходит к старику в кресле, шепотом докладывает новости, которые только что сообщили швейцару. Старик поднимает голову и громко произносит:

— Прошу внимания, господа!

Консьерж, будто церемониймейстер, объявляет, что рабочие завода Пирелли захватили полицейский участок. На город идет колонна повстанцев из Павии. Вожаки анархистов подбивают рабочих выйти в центр города. Пожары вспыхнули в…

— Надо объявить военное положение и ввести войска! — восклицает еще один старик, обращаясь к своим сыновьям (один из них — военный).

Сыновья равнодушно пожимают плечами.

Через миг за окнами грохочет гром, стекла дрожат, шум ливня похож на рев пожара. Постояльцы гостиницы напряженно смотрят в залитые водой стекла. Огни Ла Скалы гаснут. Лаура шеп-

чет Умберто, что хочет уйти к себе.

Мальчик разглядывает темные портреты великих сынов Пьемонта, висящие на противоположной стене. Умберто, впервые оставшийся наедине с сыном, чувствует необходимость совершить некий обряд. Он подходит к сыну сзади, жестом священника возлагает ладони на макушку мальчика. Сын не двигается. Сейчас он, как никогда прежде, ощущает в себе вопрос, возникающий у него всякий раз при виде фермы в предрассветных сумерках, однако не в состоянии облечь его в слова.

Кажется, дождь стучит по стеклу витрины, в которой выставлен город. На лестничной клетке в глубине гостиницы слышен сдавленный женский вопль.

Официант спешит к тяжелой двери, обитой медью. За ней начинается коридор, ведущий в подсобные помещения гостиницы. Вопль — кричала посудомойка, недавно приехавшая из деревни (все деревенские боятся грома и молнии, считая их проявлениями гнева Божьего), — сделал свое дело, напомнил постояльцам, что именно такого вопля они с необъяснимым ужасом долгие годы ожидали в подобных обстоятельствах. Вопль становится сигналом.

Ливень разгоняет толпы протестующих рабочих. Гроза сделала то, чего не смог добиться вожак социалистов Филиппо Турати, призывавший демонстрантов к порядку и спокойствию.

Гроза пугает не только деревенскую посудомойку. Гроза напоминает миланским стражам закона и порядка о неотвратимой природе бури. В ночном небе сверкают молнии, заливая жутким сиянием площади, оглушительные раскаты грома эхом отражаются от дальних гор и городских зданий. Безудержная ярость ливня и воздух, дрожащий от электрического напряжения, призрачно отражают настроения взбунтовавшихся масс. Днем убили двух рабочих и полицейского. После грозы призрак бунта приобретает четкие очертания. Власти приходят к выводу, что только грубая сила предотвратит бурю революции, символом которой стала ночная гроза. Подобные рассуждения оправдывают последующую массовую расправу с демонстрантами.

На ужин в ресторане гостиницы постояльцы приходят в вечерних нарядах. Черные фраки и белые манишки мужчин делают их неотличимыми от официантов; создается впечатление, что все мужчины в зале прислуживают женщинам, разодетым в цветные платья. Журчит вода

в фонтане. Повсюду расставлены кадки с лимонными деревцами и олеандрами. На столах красуются вазы с розами.

Умберто берет белую розу из вазы, аккуратно обламывает черешок, вытирает его сложенным платком, встает и, держа полураскрытый бутон перед своим широким лицом цвета желтой глины, отвешивает поклон Лауре, вульгарно выпятив губы в типично итальянской манере, обозначающей благодарность. Впрочем, вульгарность жеста несколько смягчается сдержанностью Умберто и тем, как он держит розу у рта, словно цветок — это слово, слетающее с губ.

— Прошу тебя, дражайшая Лаура, принять эту…

— Не надо, — гневно шипит она, смущенная его напыщенностью и намеком на ухаживание. Для нее подобный намек отдает беспардонным смешением прошлого и настоящего.

Умберто церемонно вручает розу сыну, сидящему между родителями.

— Передай ей, пожалуйста, — говорит он.

Мальчик кладет цветок рядом с суповой ложкой у материнской тарелки.

Внезапно Лаура преисполняется уверенности. Возможно, Умберто осознал ее намерения:

она желает, чтобы все дальнейшее общение с ней проходило через сына. Она берет розу, медленно поворачивает ее, подносит к глазам и вновь опускает на стол перед мальчиком.

Умберто замечает внезапную перемену в настроении Лауры и, не в силах сдержать удовольствие от неожиданной победы, предлагает:

— Давайте закажем *pollo alla cacciatore*. Помнится, дражайшая Лаура, ты всегда любила это блюдо.

Он впервые упоминает о прошлом, и мальчик заинтересованно смотрит на отца. Лауре льстит, что Умберто вспомнил ее любимое блюдо. Замечание подтверждает то, что ей хотелось подтвердить: когда-то в далеком прошлом Умберто стал отцом ее ребенка. Она дарит Умберто мимолетную улыбку, выразительно глядя на него. Мальчик перехватывает взгляд матери и вспоминает, что с таким же выражением Беатриса смотрела на Джослина. Взгляд говорит о тайном общем интересе, основанном на событиях, совместно пережитых в прошлом, которых сын с ними разделить не может — не из-за того, что они случились много раньше, а из-за их природы. Мальчик остро ощущает себя третьим лишним.

— Что значит «полло что-то там»? — спрашивает он.

— Это курица в винном соусе с грибами, горошком и овощами. Полло алла каччиаторе.

— Нет, что это значит?

— Курица по-охотничьи. Так ее охотники готовят.

В уме мальчика возникает стойкая ассоциация между взглядом и блюдом. Подобный взгляд становится взглядом *pollo alla cacciatore*.

Вдоль берегов Италии плещут волны Средиземного моря. Кое-где вода светится по ночам. Миллионы жителей страны голодают. На юге вспыхивают бунты.

Разъяренная толпа врывается в муниципалитет, уничтожает налоговые ведомости и реестры, забрасывает камнями прибывших полицейских; в город входят войска, солдаты открывают огонь по бунтовщикам. Народ с проклятиями отступает, на улицах остаются убитые и раненые. Несколько месяцев спустя история повторяется в другом городке[7].

Акциз на муку свыше пятидесяти процентов, на сахар — триста процентов, на мясо и моло-

---

[7] Сноски: 7

Запись рассказа очевидца, точный источник не установлен.

ко — двадцать процентов. Соль облагается таким высоким акцизом, что крестьяне ею не пользуются. Жителям прибрежных районов запрещено черпать соленую воду из моря — это объявлено преступлением. Днем охранники стреляют в женщин, приходящих на берег с ведрами. Ночью безопаснее. С краев ведра срываются светящиеся капли. В этой нелегально добытой воде завтра утром сварят макароны.

Майские события 1898 года

Мальчик просыпается рано, прежде чем проснулись родители, и незаметно выскальзывает из гостиницы.

Люди на улицах говорят на непонятном языке, и все вокруг становится двусмысленным. Обычное и необычное загадочным образом смешиваются. Вот мужчина бросается к карете и кричит на кучера — напуган или опаздывает? Вот шесть девушек (их головы повязаны косынками) шагают по тротуару, взявшись за руки и расталкивая прохожих, — это происходит каждое утро или только сегодня? У обочины человек читает газету вслух… остановка конки? Вокруг собираются люди, что-то выкрикивают — в одобрение или от гнева? Ювелир закрывает лавку,

пришпиливает записку на ставни.

На улицах так много народу, что экипажи и конка с трудом проезжают в толпе. Колеса конки повизгивают на рельсах. Интересно, они всегда так визжат?

Невысокий юноша с бородкой удивленно глядит на мальчика. По одежде ясно, что ребенок из респектабельной буржуазной семьи. Собравшаяся толпа — бастующие рабочие. Они пришли послушать выступления ораторов в городском парке.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает юноша по-итальянски. — Тебе здесь не место.

Мальчик, почти одного роста с юношей, пожимает плечами и качает головой.

— Ты за нами шпионишь, — подозрительно заявляет юноша.

— Я не понимаю, — отвечает мальчик по-английски.

— Ах, ты не итальянец!

Все попытки объясниться безуспешны — мальчик не понимает, что ему говорят. Подозрительность юноши исчезает, он дружелюбно обнимает мальчика за плечи. Незнание языка защищает ребенка от лицемерия и обмана слов, делает его беспристрастным свидетелем собы-

тий. Странным, парадоксальным образом юноша сравнивает бессловесность мальчугана со всемирным характером революции.

— Эй, познакомьтесь с нашим птенчиком! — подзывает он сестру, стоящую рядом, в окружении своих фабричных подруг. — *Ecco il nostro pulcino.*

Юноша с бородкой не вышел ростом, но отличается крепким сложением и широкой грудью. Лицо у него вытянутое, как у хорька. Он работает в ремонтной бригаде на ткацкой фабрике. Его уже дважды арестовывали и депортировали с тех пор, как правительство Криспи приняло в 1894 году закон о чрезвычайных мерах по охране общественной безопасности.

— Пусть он с вами побудет. Он не знает итальянского.

Среди шести девушек-ткачих мальчик выделяет цыганку, на два-три года старше его самого. Лицо девушки покрыто оспинами, над верхней губой темнеет пушок. Из-под белой блузки с короткими рукавами палками торчат загорелые, неимоверно тощие руки. Мальчик со смущенным восхищением косится на ее усики.

Девушки без стеснения обсуждают внешность мальчика и высказывают всевозможные предпо-

ложения о его происхождении.

— У него очень красивые глаза.

— А ботиночки-то шевровые!

— Откуда он?

Они с восторгом разглядывают его, берут за руку, увлекают за собой. Подросток — уже не ребенок, но еще не мужчина — служит связующим звеном между романтическими девичьими мечтами и теми ухажерами, из которых девушкам придется выбирать себе мужей. (Самая старшая из работниц зарабатывает меньше десяти пенсов в день.)

— Я буду звать его моим женишком, *affianzato*, — заявляет цыганка, которой придает смелости общее возбуждение, осознание своей непривлекательности и то, что мальчик ничего не понимает.

На виа Корсо Венеция собирается пятидесятитысячная толпа; заводские и фабричные рабочие выстраиваются в колонны, кое-где собираются группки поменьше. Неизвестно, сколько народу пришло на демонстрацию, но чувствуется, что представляют они большинство. Массы требуют того, что не могут выразить поодиночке: вот, взгляните, все мы — необразованные, изможденные, в обносках — заслуживаем всех

земных благ.

Юноша с бородкой забрался на дерево у входа в городской парк и громогласно объясняет, кому куда следует идти.

Теперь люди другими глазами смотрят на город. Фабрики и заводы не работают, магазины закрыты, движение остановлено. Народ вышел на улицы. Горожан обуяла жажда созидания. В обычной жизни они приспосабливаются к обстоятельствам, а сейчас, на улицах и площадях, они сметают обстоятельства с пути, отрицают привычные условности, с которыми еще недавно покорно смирялись. И снова массы требуют того, чего не могут выразить поодиночке: почему нас вынуждают по кусочку распродавать жизнь, чтобы не умереть от голода?

Рабочим в толпе неведомы тонкости политики. Политика — это способ обмана и разубеждения, инструмент принуждения и порабощения. Политика держит людей в подчиненном положении. Политика — это государство, угнетающее бесправный народ. В сердце каждого живет желание пригрозить всему политическому арсеналу угнетателей единственным доступным оружием: справедливой расправой. К справедливости взывают люди в Милане и к будущему. Однако

справедливая расправа подразумевает судью. А здесь ни судьи, ни правосудия быть не может.

Кавалерия идет в наступление. Звучат первые выстрелы — пока стреляют над толпой.

Кавалеристы выезжают шеренгами, по пять-шесть всадников. Толпа расступается и тут же смыкается за ними — не из сопротивления, а чтобы не попасть под копыта лошадей. Люди теснятся, сбиваются в тесные группки и, едва всадники проезжают мимо, снова возвращаются на освободившиеся места. Шеренги всадников дружно разворачиваются широкой дугой; то один, то другой участок толпы сжимается и вновь расширяется, словно бьется гигантское сердце. Кое-где слышны испуганные вскрики и пронзительный визг, но преобладают гневные возгласы.

Шеренга кавалеристов приближается. Лошадь встает на дыбы над девушками, сбившимися в кучку. Мальчик ездил верхом с раннего детства, но раньше не подозревал, что коня можно использовать как оружие. Человеку на мостовой брюхо вставшей на дыбы лошади представляется ужасающим зрелищем. Огромная тяжелая туша нависает над тобой, сверкая подкованными копытами, силу удара которых легко вообра-

зить, глядя на мощные мышцы конских ног. Впрочем, к физической угрозе примешивается кое-что еще. Лошадь, как и человек, — создание из плоти и крови, костей и сухожилий. Животное тяжело дышит, напуганное жестокостью седока. Лошадь, поднятая на дыбы, так же беззащитна, как и человек, над которым она нависла. Страх, пронизывающий человека, бессознательно передается и коню.

Кавалерист напряженно смотрит вдаль, мельком поглядывает вниз, крепко сжимает зубы — так, что не сглотнуть. Голова его возвышается на пять футов над толпой, глаза следуют за невидимой нитью приказа. Всадник равнодушно отпихивает тянущиеся к нему руки ногами, обутыми в сапоги со шпорами, и время от времени вонзает шпору в бок коня, заставляя его двигаться вперед.

Мальчик завороженно глядит на кавалериста и не сходит с места. Цыганка резко дергает его за руку, тянет за собой. Они пускаются наутек. Свободной рукой она подхватывает юбки. Плечи и предплечья у нее невероятно худые, а кисти рук крупные. Она уверенно бежит к городскому парку.

Мимо проносят раненого. Вокруг в панике бе-

гут люди, звучат крики и стоны, льется кровь. Вот бредет толстяк, поддерживая за талию женщину с закрытыми глазами и залитым кровью лицом. Толпа редеет. Кавалеристы настойчиво теснят оставшихся. Посреди улицы пожилой человек, потрясая кулаками, осыпает солдат проклятиями.

— Трусы! *Rinnegati*! — кричит он, подступая к шеренге всадников, замерших в ожидании приказа.

Офицер велит ему остановиться. Звучит выстрел, и мужчина ничком падает на мостовую.

Бабочки цвета серого песчаника, бабочки цвета жимолости. Высокая, до колен, трава. Лепестки полевых цветов выгорели на солнце, почти побелели; впрочем, их белизна непохожа на глиняную белизну крохотных улиток. Изящные соцветия шпажника сияют, как прозрачные аметисты размером в полмизинца. Ярко полыхают алые маки — так изображают огонь дети. Вянущие цветы свешивают тяжелые влажные лепестки, похожие на винные пятна. Там и сям на поле виднеются низкие серые бугры, гладкие, будто дельфиньи бока. Густые заросли падуба темнеют на окраине поля. Кровь убитых на поле впитывается в сухую землю. Кровь застреленных

на трамвайных путях скользкой пленкой покрывает камни мостовой. Первая смерть возлагает венок следующей.

Через парк цыганка выводит мальчика на привокзальные улочки у площади Республики, к железнодорожным складам. Девушка крепко держит его за руку — не как подруга, не как защитница, а с жадным нетерпением, словно пытаясь заставить его понять, что происходит вокруг, и идти быстрее. Иногда они останавливаются, и она обращается к мальчику на итальянском, хотя знает, что он не понимает ни слова. От потрясения и отчаяния в воображении цыганки слова, сказанные ею в шутку, превращаются в действительность, и она всерьез начинает верить, что мальчик на ней женится. Подобная игра воображения столь же невероятна, как и события, разворачивающиеся в городе. Буйство фантазии странным образом примиряет девушку с ожесточенностью происходящего, и она постепенно успокаивается.

Вот перевернутый трамвайчик превращают в баррикаду. Вагон с грохотом падает на брусчатку, звенят выбитые стекла. Из остановленного экипажа выпрягают лошадь, а экипаж подтаскивают к трамваю. На железнодорожных складах

путейцы вооружаются кирками и ломами. Проносится слух, что войскам отдан приказ расчистить улицы города и уничтожить всех инсургентов до единого. Путейцы торопливо разбирают железнодорожное полотно.

Грядут перемены.

Представьте себе нож гигантской гильотины, рассекающий город в длину, от одной окраины до другой. Лезвие опускается и беспощадно перерубает все на своем пути — стены, рельсы, телеги, мастерские, церкви, корзины фруктов, деревья, небо, брусчатку. Этот нож падает в нескольких шагах от любого, кто намерен продолжать борьбу. Каждый оказывается недалеко от края невидимого, но четко ощутимого бездонного разлома, зияющей раны на теле города. Отрицать происшедшее невозможно, хотя боли пока не чувствуется.

Боль приходит с мыслью о близости смерти. Мужчины и женщины возводят баррикады на улицах, осознавая, что это их последние поступки и мысли. Заграждения растут, боль усиливается.

С крыш кричат, что на углу виа Манин появились войска.

Умберто пообещал четырем служащим гостиницы сто лир и вместе с ними отправляется на поиски сына. Они прочесывают улицы за гостиницей, где нет ни солдат, ни баррикад.

— Мы с тобой переедем в Рим, — произносит девушка по-итальянски. — Нам там будет хорошо.

Мальчик слушает ее внимательно, словно понимает, что ему говорят. Смысл слов неважен; для него гораздо важнее то, что он видит.

— Купишь мне белые чулки и шляпку с шифоновой вуалью, — продолжает цыганка.

На баррикадах боль исчезла. Перемены свершились. Возгласы с крыш предупреждают о приближении солдат. Жалеть больше не о чем. Баррикады возведены между защитниками и насилием над их жизнью. Жалеть не о чем, потому что надвигается воплощение прошлого. За баррикадами — будущее.

Правящему меньшинству необходимо внушить эксплуатируемым ощущение непрерывности настоящего, притупив и по возможности уничтожив восприятие времени. В этом заключается секрет любых методов лишения свободы. Баррикады разрывают настоящее.

Цыганка ведет мальчика к крыльцу дома близ

баррикады.

— Давай здесь подождем, — говорит она, словно заботливая жена, предлагающая престарелому супругу укрыться от проливного ливня.

Войска приближаются. Исчезает всякая надежда на то, что они не пойдут в атаку. У баррикады стоит на коленях седой старик, упираясь в подвальную решетку. В руке у него старинный пистолет: одна пуля в стволе, вторая — в кармане. Мужчины и женщины помоложе выворачивают булыжники из мостовой, складывают их горками, вооружаются дубинками и палками.

Все разговоры смолкают. Издалека доносятся звуки молота, но их заглушает топот сапог — мерный, как тиканье часов. Мальчика успокаивает звучащее в нем обещание бесконечности и угнетает невозмутимый отсчет проходящего времени.

– *La Rivoluzione o la morte!* Революция или смерть! — восклицает седовласый старик, нарушая тишину. — И пойте, пойте! Пусть слышат.

Будто по команде, цыганка выходит на крыльцо, как на сцену, и запевает *Canto dei Malfattori*, песню злоумышленников.

Ai gridi ed ai lamenti di noi plebe tradita, La

Folli non siam ne tristi ne bruti ne birbanti Ma

lega dei potenti si scosse impaurita E

siam degli anarchisti pel bene militanti; Al

prenci e magistrati gridaron coi Signori Che

giusto, al ver mirando strugger cerchiam gli errori, Per

siam degli arrabiati, e rudi malfattori

cio ci han messo la bando col dirci malfattori!

Deh fa presto a sorgere o sol dell'avvenire

vivere vogliam liberi non vogliam piu servire[8].

Голос девушки трудно не идеализировать. Поначалу он кажется таким же худосочным, как ее руки, но потом наливается грубой силой. Защит-

[8] Сноски: 8

От криков и проклятий Трясутся богатеи, А мы зовем собратьев Вперед, на бой, смелее! Нас власти кличут сбродом, Зовут бутовщиками, А мы хотим свободы, Пусть даже с кулаками. И в деле доброй воли Мы своего добьмся, Врагом роклятых свергнем, От гнета их спасаемся. Скоро над нами солнце свободы взойдет! Мы вольные люди, бунтовщики, вперед!

ники баррикады не сразу подхватывают песню, наслаждаются голосом цыганки, который мягко обволакивает улицу.

Сухо звучит первый залп.

Залп упрощает все. Оцепенение исчезает. Задача защитников становится ясна. Люди швыряют булыжники в солдат. Где-то хлопает ставень, офицер стреляет по окну из револьвера. Между солдатами и баррикадой лежат семь камней — недолет.

За баррикадой женщины на четвереньках ползают по мостовой, собирают булыжники, подносят их мужчинам.

— Погодите! Подпустите их ближе, проломим им черепушки! — говорит путеец в фуражке с красно-золотым кантом. — Швыряйте дружно, по моей команде! — Лицо у него худое, подвижное. Он широко улыбается.

Солдаты неумолимо приближаются к баррикаде, дают второй залп. Пули никого не задевают. Люди смутно надеются на то, что правое дело послужит им защитой.

— Бросай! — орет путеец.

Двадцать булыжников летят навстречу солдатам. Шеренга бойцов отступает.

– *Faccie di merda*! Говнюки! — кричит женщина

из-за баррикады.

— А ты заправский артиллерист, — говорит путейцу какой-то юнец.

— Пли! — командует офицер.

Одинокий выстрел звучит не из шеренги солдат, а из окна где-то на верхних этажах. Пуля попадает в лицо путейца. Для него пуля прилетела из прошлого, из глубокой старины. Над ним склоняются три женщины, как повитухи, принимающие роды. Пуля порождает смерть.

Кубический метр пространства. Отриньте свое восприятие этого пространства. То, что останется, похоже на смерть.

Солдаты снова наступают — и под градом камней отходят на сотню ярдов. Воцаряется тишина, но она никого не обманывает. Защитники баррикады напуганы. Враг оценил их решимость и готовится к новому нападению. Повстанцы оттаскивают в сторону тело погибшего товарища и выжидают. Солдат гораздо больше, и вооружены они лучше.

— Если какой солдат до меня дотронется, я ему нож в спину всажу, — шепчет цыганка мальчику и легонько тычет ему пальцем между лопаток.

Он, словно понимая сказанное, бессильно при-

никает к ней, притворяясь мертвым.

— Вот увидишь, — говорит она.

Мальчик роняет голову ей на плечо. Ноги у него дрожат, он вот-вот потеряет сознание. Цыганка обнимает его за плечи и ведет во дворик у дома, брызжет в лицо водой из колонки, дает напиться. Он послушно глотает ледяную воду, а с улицы доносится еще один залп. Ощущение холодной воды в горле и резкий звук выстрелов сливаются воедино. Мальчик глядит на густые брови цыганки, сходящиеся над переносицей, на темные усики над четко очерченной верхней губой, на грубое, изрытое оспинами лицо, на медлительные глаза. Ее лицо выражает именно то, что чувствует сам мальчик.

– *Che Dio li maledica*, черт бы их побрал, — произносит она.

Стрелки пробираются на верхние этажи домов вдоль улицы, стреляют оттуда в защитников баррикады. Солдаты наступают. Трое повстанцев ранены.

Вот один из раненых. Пуля попала ему под правую ключицу. Если не шевелить рукой, то боль терпима — не вгрызается в сознание, не поглощает собой все. Он ненавидит боль, ненавидит солдат. Боль, будто солдаты, захватывает тело.

Левой рукой он хватает булыжник, неуклюже швыряет, но при этом двигает правым плечом. Камень отлетает в сторону, ударяется о стену.

Пиши что угодно. Неважно, правду или вымысел. Говори, но тихонько, потому что ничем другим ты не поможешь. Выстрой баррикаду из бессмысленных слов. Говори так, чтобы он ощутил твое присутствие. Он поймет, что ты не чувствуешь его боли. Говори что угодно, ведь его боль сильнее различий между правдой и вымыслом. Обмотай его словами, как бинтами. Вот так. Сейчас. Сейчас все пройдет.

Судить некому.

Солдаты уже в двадцати ярдах от баррикады. Две девушки взбираются на бок трамвайного вагона, на решетку, предохраняющую пассажиров от падения на рельсы. Женщины — живые мишени, по ним можно стрелять в упор.

— Стреляйте! Ну стреляйте же, — подначивают они.

Солдаты прицеливаются, но никто не стреляет. Девушки гордо выпрямляются, приплясывают на оконных рамах вагончика.

– *Figli di putana! Castrati! Castrati!* Суки! Трусливые суки! — орут они на солдат.

Мальчик смотрит им в спины. У одной девушки дыра в чулке, у самой пятки. Ее подруга — без чулок, на лодыжке алеет пятно крови.

– *Castrati*! — На решетку торопливо взбираются другие.

На балкон на шестом этаже дома за баррикадой выходит какой-то человек, размахивает руками. Офицер командует взводу стрелять.

Человек на балконе замечает нацеленные на него ружья, соображает: «Если прыгнуть, меня застрелят в воздухе» — и сигает с балкона.

«Вот шлюхи!» — думает офицер, глядя на женщин, выкрикивающих проклятия. В их голосах сквозит мрачный, всеобъемлющий гнев. Солдаты, из рабочих и крестьянских семей, на миг возвращаются в детство. Женщины и девушки на трамвае олицетворяют для них родительскую власть. Родительский гнев равносилен осуждению. Он требует признания вины, мольбы о прощении.

Звучит приказ наступать, возвращает солдатам утраченную смелость, и они послушно вскидывают оружие и шагают вперед — кто стаскивает женщин с трамвая, кто окружает мужчин.

– *Castrati!* Трусы! — разносится над улицей пронзительный вопль.

В крике нет страха, только отрицание. Так причитают женщины над мертворожденным младенцем.

Я не способен продолжать рассказ об одиннадцатилетнем мальчике на миланских улицах 6 мая 1898 года. Все, что я напишу дальше, либо сольется с финалом, либо будет так расплывчато, что станет бессвязным. Однако не было ни слияния, ни бессвязности. Прерванное повествование, оставляя многое несказанным, помогает сохранить правду. Желание автора довести рассказ до конца убивает истину. Финал объединяет, но единство следует установить иным способом.

Шестого мая тысяча восемьсот девяносто восьмого года в Милане объявили военное положение. К девятому мая в городе насчитывалось сто убитых и четыреста пятьдесят раненых. Эти четыре дня ознаменовали конец эпохи в истории Италии. Социалисты, отказавшись от мысли о прямом революционном перевороте, ударились в парламентарную социал-демократию, а правительство вместо насильственных репрессий стало применять к рабочим и крестьянам методы политического воздействия.

* * *

В саду ливорнского особняка бьет фонтан. Вот уже три года, после смерти жены Умберто в 1895, за фонтаном, пальмами, кустами китайских роз и клумбами по-прежнему прилежно ухаживают два садовника. Умберто заказывает экзотические цветы и растения в Сеттиньяно. С каждым годом его воспоминания о почившей супруге все больше совпадают с воспоминаниями о ней друзей и знакомых. Теперь Умберто считает, что его жена была высокодуховной женщиной возвышенных устремлений.

Время от времени в прудике что-то негромко булькает, словно в воду падает камешек, — это окунь бьет хвостом по воде, уходя в глубину. Умберто не нравится сидеть в саду в одиночестве. Он чувствует себя одряхлевшим, нервничает. Он готов исполнить любое желание Лауры, лишь бы она разрешила сыну остаться в Ливорно.

Умберто кажется, что сын — не современный подросток, а юноша с картины итальянских мастеров Возрождения; его лицо — зеркало души. Умберто несколько смущает щербатая улыбка мальчика, но это легко поправить. Сыну надо

вставить золотые зубы. Умберто втолковывает Лауре, как хорошо мальчику будет в Ливорно. Лаура ничего определенного не отвечает, жалуется, намекает на что-то, сама себе противоречит. Чем настойчивее уговоры Умберто, тем упрямее она становится. Он умоляет ее, бросается на колени.

— Нет, что ты! — восклицает Лаура и заставляет его подняться.

Он без устали напоминает ей о том, как хорошо им было вместе.

— Ах, малышка моя, ты была так безумна, так безумна…

— Ребенку в Италии не место, — упорствует она.

— И ты приезжай, — взволнованно говорит Умберто. — Я куплю вам дом, куплю…

Отцовские чувства предупреждают все желания матери.

Пока мать и новообретенный отец спорят о том, где и с кем будет жить сын, мальчик вспоминает водонапорную колонку в миланском дворе. Цыганка снова брызжет ему в лицо воду; его опять изумляет выражение лица девушки. Он снова осознает нечто — безымянно-прозрачное, как брызги воды.

Неважно, где он сейчас (в саду ливорнского особняка) или где был (на виа Манин); что он видит (круглое лицо матери, ее волосы, аккуратно уложенные в шиньон) или что видел (изрытое оспинами лицо цыганки, ее раскрытый рот); что он слышит (журчание фонтана) или что слышал (вопли и крики женщин), — все это переменчиво. Важно лишь то, что подтвердило выражение лица девушки, которое он до сих пор не мог облечь в слова. Важно то, что он не умер.

4

Итак, начинается смертельная схватка против сущего.

Плат святой Вероники — льняной лоскут с нерукотворным обликом Христа в терновом венце.

Я вижу на ткани другой нерукотворный образ — тело женщины с запрокинутой головой и закрытыми глазами. Изображение вполне естественное, не стилизованное, с островками темных волос. Бледная кожа почти сливается с льняным полотном, на котором лежит женщина.

Два голубя летят к лесу. Голубь преследует

голубку. На опушке голубка замирает в воздухе, опускает хвост к земле, принимает вертикальное положение. Распахнутые крылья тормозят полет. Голова запрокинута, клюв устремлен в небо. Она висит неподвижно, но не падает. Голубь подлетает к подруге, голубка снижается, опускает голову, приподнимает хвост, и они влетают в чащу вдвоем. Через минуту они снова вылетают на дальний конец опушки, делают круг и опять направляются к лесу.

Это точное описание полета голубей, но зафиксированное на бумаге перечисление (действий и слов для их описания) вводит в повествование оттенок выбора, что создает у читателя ложное мнение о видах и возможностях выбора, предоставленного голубям. Описание искажает.

Однажды в конце мая 1902 года (за несколько недель до окончания Бурской войны) Беатриса его соблазняет. Это происходит естественно, как любое неописанное событие.

* * *

В конце мая 1898 года Лаура с сыном вернулись из Милана в Англию, где выяснилось, что Беатриса помолвлена с Патриком Бирсом, капитаном

17-го уланского полка. Мальчика отправили в пансион. На каникулы он приезжает на ферму к Джослину — Беатриса уехала в Южную Африку, куда отправили полк мужа.

Пансион, где учится мальчик, как две капли воды похож на другие, многократно описанные школы. Расписание отличается спартанской простотой, идеология пронизана имперскими идеями и религиозными догмами, школьная жизнь протекает по строгим и суровым законам — воспитанников готовят к строительству империи.

Мальчик, как и остальные ученики, приспосабливается к школьной жизни. Его замкнутость списывают на иностранное происхождение. Впрочем, этим его не попрекают. Равнодушие служит ему защитой. Он рассказывает, что его отец — итальянец, и ему дают прозвище Гарибальди. Все свободное время он проводит за фортепиано в музыкальной студии, хотя исполнительскими способностями не блещет.

К четырнадцати годам лицо мальчика утрачивает детские черты. Иногда говорят, что с возрастом лицо грубеет, но дело не в этом. Изменения, происходящие в период с четырнадцати до двадцати четырех лет, включают одновременно

и утрату, и приобретение выразительности. Кожа и плоть на костях черепа меняют структуру и форму, немеют, становятся оболочкой, хотя в детстве заявляли о сущности. Сравните наше отношение к детям и ко взрослым — сам факт существования детей оценивается так же, как намерения взрослых. Тем не менее прорехи в оболочке — особенно глаза и рот — становятся выразительнее, намекают на то, что скрыто за ними.

Процесс взросления, а позднее — старения состоит в постепенном, все увеличивающемся удалении сущности с внешней поверхности тела. Кожа стариков кажется одеждой. Рот Джослина уже утратил выразительность; его губы — всего-навсего кайма на внешней оболочке, которая кое о чем говорит: деревенский джентльмен, любитель свежего воздуха, немногословный, разочарованный. Однако же в глазах иногда мелькает частичка истинной личности.

Они поднимались по крутой тропке, обрамленной высоким кустарником. Холодный ноябрьский день 1900 года — когда-то в такой же день двое бродяг показали мальчику дохлых тяжеловозов. Мальчик никому об этом не рассказывал. Он до сих пор помнит тот случай, но объяснить

его не пытается. В его сознании происшествие приобрело обособленную безусловность видения, которое никаких объяснений не требует.

Целый день шел дождь. Вдоль тропы проложена поросшая травой канава, по которой струится вода. Журчание слышно, но самой воды не видно. Они несут двустволки под мышкой.

Чуть раньше мальчик рассказывал Джослину свой сон.

— …Я спустился к реке. Было жарко, как прошлым летом, и я решил искупаться, а над водой носились птицы — большие такие, но не хищные. Они летали низко, лапками задевали мне волосы. Их так много собралось, что мне пришлось выбраться на берег.

— Теддер говорит, что на лимане в этом году много уток, — кивает Джослин.

— Ну, я до берега доплыл, стал искать одежду, а ее подменили. На месте моих вещей оказался армейский мундир. Я его надел… Он пришелся впору, будто на меня сшит.

— Мундир офицерский? Какого полка?

— Не знаю.

— Кавалерийский?

— Не знаю я…

— Может, Восьмого гусарского?

Они подошли к калитке в живой изгороди. Прежде чем пройти в калитку, Джослин коснулся ружья, напоминая, что нужно переломить ствол, и едва не вздрогнул от неожиданности: внешне мальчик превратился в сущего иностранца, сына своего отца — итальянского торговца.

— Нет, это вряд ли, даже во сне, — ласково пробормотал Джослин, едва шевеля губами.

— … а потом я засунул руку в китель, а там внутри краб! Здоровенный! Он меня за палец цапнул. Я руку вытащил, а вместо ладони — краб. Запястье на месте, предплечье на месте, только кисти нет. Краб.

— Ерунда какая-то! Зачем ты мне это рассказываешь?

— По-моему, сон значит, что если я пойду в армию, то меня ранят.

— Пустяки, легкое ранение, царапина!

— Нет. Серьезное увечье.

— Я утром барсучиху видел, — сказал Джослин. — Зря ты со мной не пошел.

— Я слышал, как ты уходил. Ты Теддера отругал за то, что удила на кобыле опять болтаются.

— Ох, одно мучение с этой лошадью! Никак не могу к ней приноровиться.

В молчании они спустились по узкой крутой

тропке.

— От тетушки Беатрисы нет вестей?

Джослин будто не услышал, и мальчик недоуменно покосился на него.

Дядюшка прищурился, подставил лицо промозглому ветру, словно всматриваясь куда-то в даль, в гаснущий предвечерний свет. С таким выражением уходят из дома навсегда, в равнодушную неизвестность.

— Пишет, в Дурбане поговаривают, что война почти закончена. Лорд Робертс возвращается в Англию, — произнес он чуть погодя.

— Значит, она скоро приедет.

— Не забывай, что она замужем, — напомнил Джослин.

— Где они жить будут?

— Понятия не имею.

— А почему ее вещи по-прежнему в спальне?

— Потому что это ее спальня.

— Они оба сюда приедут?

Джослин снова не расслышал вопроса. Тропа свернула к рощице. На опушке их дожидался дядюшкин пес, спрингер-спаниель по кличке Сильвер.

— Дурные сны снятся, потому что ты слишком много времени проводишь взаперти, — заметил

Джослин. — Мало гуляешь, все больше в четырех стенах торчишь, на охоту со мной не ходишь. Мужчине не пристало дома сидеть, это женская доля.

— Я не нарочно, — дерзко заявил мальчик, будто не понимая, в чем его вина. — Вот придешь на мой концерт, послушаешь, как у меня получается. Тебе понравится.

— Минут через двадцать смеркаться начнет, — сказал Джослин. — Давай лесок прочешем и выйдем на поле у каменоломни. Ты слева заходи, а я справа. Эй, Сильвер, к ноге! — ласково окликнул он пса. С мальчиком Джослин разговаривал громче и нерешительнее.

Они разделились и углубились в рощу, не видя друг друга за деревьями на склоне.

— Ать, ать! — крикнул Джослин, давая знать, как далеко зашел.

— Ать, ать! — ответил мальчик, показывая, что они идут вровень.

Предполагается, что такой крик не тревожит птиц. Он похож не на голос, а на удар палкой о полый деревянный сосуд (из древесины, разбухшей от воды).

В лесу не раздавалось ни шороха. Стволы деревьев посерели. Спаниель неохотно приню-

хивался, словно ему был неприятен влажный растительный запах палой листвы.

— Ать, ать!

Этот крик для Джослина служил частью символического, безмерно богатого языка. Повторяющиеся деревянные слоги наполняли рощу великолепием обычаев, с которыми не сравнится ни речь, ни музыка. В перекличке сквозила гордость достойных мужчин, действующих сообща, бескорыстно, с тем чтобы насладиться чистотой и величием строго определенной манеры поведения.

— Ать, ать! — ласково окликнул Джослин мальчика, будто заговорил с ним, делая его частью обычая.

Мальчик уловил изменение интонации, но ответил по-прежнему:

— Ать, ать!

Обычай предполагает особое единение мужчины с природой. Мужчина не избалован удобствами, но ему не обязательно отвоевывать у природы средства к существованию. Природу он воспринимает, как пловец, который входит в реку для развлечения, а не по необходимости. Он плещется в потоке, а не борется с ним. Его не уносит течением потому, что он во всем

строго следует традиционным установлениям, которые описывают, как надо относиться к различным ситуациям и вещам — ружьям, сапогам, ягдташам, собакам, деревьям, оленям и прочему. Правила, как шлюзы на реке, сдерживают силы природы, не дают им накапливаться и переливаться через край. Они позволяют мужчинам ощутить себя богами, потому что создают впечатление, будто природа подчиняется упорядоченным эстетическим законам — плодам четко выверенной, формальной манеры поведения.

— Ать, ать!

«Если Сильвер бекаса поднимет, в сумерках и не увидем», — подумал Джослин.

По традиции в конце дня усталые мужчины прекращают свои занятия и возвращаются домой — на негнущихся ногах, голодные, замерзшие или вымокшие, покрытые грязью. Дома они подносят друзьям и женщинам эфемерные творения, созданные совместно с природой: перепачканную, изорванную одежду, напряженное тело, рассеянные, восхищенные взгляды, имена своих спутников и названия посещенных ими мест.

— Ать, ать!

Мальчик откликнулся так же, как и раньше, — четко и равнодушно, без заговорщицкой энергичности дядюшки.

Он держался на одной линии с Джослином, проделывал все положенные маневры, давал о себе знать только предписанным возгласом и внезапно осознал, что на его месте мог быть любой другой. Так незаметно он влился в общество мужчин.

Они вышли из рощи и двинулись по полю. Теперь они видели друг друга, и в криках больше не было необходимости. Джослин негромко подозвал пса, чтобы тот не забегал далеко вперед. Разговор с собакой велся на том же символическом языке.

Ярдах в двадцати пяти из норы выскочил заяц. Джослин выстрелил из одного ствола. Грохот выстрела эхом отразился от каменоломни, на миг пронзив сизые сумерки, будто два звука были двумя полюсами магнита, притянувшими и собравшими вокруг себя крупицы мрака.

Заяц мерными скачками мчался наискось через поле, открыв бок выстрелу мальчика.

Зверек казался размытым коричневатым мазком, выписывающим зигзаги по полю. Мальчик видел, как сокращаются заячьи мускулы на пе-

редних и задних лапах. Он не заметил, как нажал на спусковой крючок, не ощутил даже, как секунду спустя приклад ударил в плечо. На середине прыжка заяц сжался и упал.

Представьте себе невидимую сеть, летящую по воздуху, но остающуюся открытой, как сачок: сеть несется к зайцу, зверек заскакивает в сеть, однако в отверстие помещаются только голова и передние лапы, так что ему приходится подобраться, как кролику, втискивающемуся в узкую нору. Едва заяц подбирается, как сеть мгновенно наполняется свинцом и падает на землю.

Пес заскулил.

— Надо же, в сумерках подстрелил, — сказал Джослин, сжимая мальчику локоть и поднимая зайца за задние ноги. — Я бы так не смог.

* * *

— Что значит *castrati*? — спросил он Умберто.

– *Castrati? Castrati!* — удивленно повторил Умберто, обрадованный вопросом, прямо противоположным тому, что отец собирался сказать сыну. — *Un castrato* не может быть отцом, — начал он, налил сыну вина и пустился в подробные объяснения, демонстрируя основные пункты

на пальцах — то отсекая, то сжимая их крючком, то раскачивая.

Мальчик видел, как холостят ягнят — Том стремительным взмахом ножа делает надрез, потом высасывает и сплевывает на землю яички, — но не связал итальянское слово с английским.

Умберто гордо объявил себя отцом и хлопнул широкой ладонью по низу живота. Он склонился над столом, приблизив огромное лицо к лицу сына.

— В наши дни *il castrato* — оскорбление. Таким словом называют не кастрата-евнуха, а слабого, трусливого, беспомощного человека. *Quest'uomo è castrato.* Вот как его можно назвать: *un castrato.* — Не удержавшись, он касается щеки сына. — *Ecco,* вот как, мальчик мой.

* * *

На стене оружейной — небольшой квадратной комнаты с высоким потолком — висела пара оленьих рогов, посеревших от пыли и времени. Керосиновая лампа отражалась в черном окне без занавесей. Джослин стоял у рабочего стола, на котором была разложена двустволка, разобранная на три части. Мальчик растянулся в продавленном кресле у нерастопленного

камина.

— Почему тебе не нравится, что тетушка Беатриса вышла замуж? — спросил он, уставившись в черное окно.

— Эту тему я обсуждать не намерен.

Мальчик окинул взглядом тесно заставленную комнату: сапоги, дождевики, удочки, корзины, стопки старых газет «Спортсмен», два чучела лис, подставка для курительной трубки, складная лесенка — и на все, торчащее вертикально, нацеплены старые шляпы и кепи. Мальчик с детства помнил эту комнату. Раньше его сюда не пускали, но в приоткрытую дверь он часто замечал мужчин без сюртуков, горящий камин, странные запахи.

Он умолк и чуть погодя снова начал:

— С тех пор как она уехала, все изменилось.

Джослин старательно прикрутил ершик к медному шомполу. От стола пахло ружейной смазкой. Запах напомнил Джослину об отце: ружейная смазка, запах металла и пороха — запах спорта, неуловимо похожий на аромат еды. Наверное, такое сравнение связано с возвращением охотников домой, но, скорее всего, графитный запах ружейной смазки чем-то близок запаху сливочного масла в только что испеченном пече-

нье. Полная противоположность аромату сирени. Джослин поежился от холода — в нетопленой комнате было прохладно — и произнес:

— Она не хотела оставаться.

— Он ее обаял? — спросил мальчик.

— Он увивался за ней, как щенок.

— Она с ним счастлива?

— Вряд ли, — ответил Джослин, плавным движением виолончелиста вставил шомпол в ствол (ему всегда нравилось это действие), прикоснулся к голубоватому шлифованному металлу ружья и продолжил: — У нее слишком высокие требования. Такой уж характер.

— А он красивый? — лукаво спросил мальчик.

— Гад он, — вздохнул Джослин. Рука у него дрогнула.

— Ты с ним разобрался?

— Случая не представилось.

— Думаешь, гад?

Джослин отложил стволы, оперся ладонями о столешницу.

— Давай сменим тему, — предложил он — не потому, что его беспокоил возраст мальчика, а потому, что ни с кем не желал это обсуждать.

Мальчик решил разговорить дядюшку: не из личной неприязни, а пытаясь утвердиться

в своем праве — и умении — владеть любой информацией и беседовать на любые темы.

— По-моему, нет таких браков, где семьи обоих супругов всегда всем довольны.

— А когда-то были.

— Нет, кому-то всегда приходится чем-то жертвовать. Как правило, тому, у кого денег меньше.

Джослин, удивленный странными словами, поглядел на подростка, сидевшего в кресле. Лицо мальчика было скрыто в тени, но в его выражении Джослин не заметил дерзости. Их взгляды встретились.

— Ты осуждаешь мою мать? — спросил мальчик.

— Там другое.

— Потому что они с отцом не были женаты?

— Кто тебе это сказал?

— Чарльз Хэй, мой одноклассник.

Джослин отвернулся к окну и подумал: «Похоже, полумеры и Лаурины капризы дурно сказались на его воспитании».

— Да и без того понятно, что они никогда не были женаты, — продолжил мальчик. — Супруги так друг с другом не общаются. Их ничего не связывает, кроме меня.

— Не смей так говорить о родителях.

— По-твоему, лгать лучше?

— Что за безобразие! Откуда твоим школьным приятелям все это известно?

— Подумаешь! Меня там Гарибальди прозвали, потому что маму считают его любовницей.

— Какой ужас!

— Да ладно, смешно ведь.

— Смешно?

— По-твоему, я должен броситься на защиту чести матери?

Джослин хотел признаться мальчику, что много раз просил Лауру рассказать сыну правду об отце, но смутно ощущал, что любые объяснения напрасны, поскольку являются частью прошлого, существовавшего только в его памяти. Он повернулся к столу и обтер приклад ветошью.

— А почему капитан Бирс — гад? — мягко, почти ласково спросил мальчик.

— Потому что он — гнусный ирландский бахвал, склочный горлопан и скандалист. Ему только вьючным обозом командовать!

— Не смей так говорить о своем зяте! — сказал мальчик и рассмеялся.

Джослин тоже засмеялся. Натянутая формальность между ними на мгновение исчезла, и они

почувствовали себя на равных. Мальчик встал и подошел к столу. Джослин сел в кресло и откинулся на спинку. Он дрожал.

Мальчик поднял со стола приклад, заметил, что курки не сняты со взвода. Он опер приклад передним концом о стол и нажал на каждый спусковой крючок. Бойки дважды глухо стукнули о дерево. Поверхность столешницы покрывали тысячи крохотных оспин — следы процедуры, необходимой для того, чтобы не ослабли пружины бойка.

Джослин, глядя на каминную решетку, произнес негромко, словно разговаривая сам с собой:

— Он ее отсюда выдернул. Без малейшей жалости. Я же знаю, какая она хрупкая. Вот на эту статуэтку похожа, с цветами. Ее надо оберегать и предоставлять полную свободу.

Спинка кресла скрывала Джослина. На каминной полке за креслом виднелась пыльная стопка конвертов, моток бечевки, кожаный ремень и фарфоровая статуэтка пастушки дюймов восемь высотой.

— Выдернул. Из родного дома. Дом без нее — не дом. Она здесь все знала, все тайны и секреты. Она — дух этого дома, этого места. Ради нее я здесь жил.

Мальчик разглядывал фарфоровую статуэтку, розоватую, почти белую глазурь, сиявшую в свете лампы.

— Хорошо, что я уже полжизни прожил. По большей части мне неплохо жилось, а сейчас становится все хуже и хуже. Вокруг одни глупцы и скандалисты, только и знают, что всех осуждать. Проповедники и торгаши. Ненавижу проклятую ферму! Даже ждать все разучились, потому что теперь нечего ждать. Я и сам ждать не умею. А раньше я ее ждал… — Джослин помолчал, а потом добавил: — Пойду переоденусь. Озяб я тут.

Мальчик подошел к каминной полке, не отрывая глаз от пастушки.

* * *

Как случилось, что днем 2 мая 1902 года Беатриса, завернувшись в капот поверх ночной сорочки, сидела у себя в спальне?

За день до того, проходя по саду, Беатриса заметила, что в северо-восточном углу зацвел куст сирени, и решила украсить дом цветами. Чтобы добраться до куста, надо было пересечь размокшие грядки с догнивающей ботвой брюссельской капусты. Беатриса сняла туфли и чулки, оставив

их на тропинке, дошла до куста, но дотянуться до распустившихся кистей сирени не смогла — слишком высоко. Чуть поодаль, у стены, стояла почерневшая ветхая лесенка (за время пребывания Беатрисы в Южной Африке усадьба и ферма пришли в запустение). Три нижние ступеньки оказались прочными. Беатриса придвинула лесенку к кусту и взобралась наверх, сметя юбками осу, сидевшую на стене. Оса ужалила Беатрису в ступню. Женщина вскрикнула (коротко и пронзительно, как ребенок или чайка), но особо не обеспокоилась и босиком отправилась в дом мыть ноги. К вечеру место укуса распухло и воспалилось, и от боли Беатриса всю ночь не спала.

На следующий день она решила не вставать с постели, хотя до замужества подобное решение не пришло бы ей в голову. Пока Беатриса жила на ферме, в ее обязанности входило ведение хозяйства и заботы о коровнике. В тот день Джослин уехал на скачки в Лестершире, а Беатриса должна была к обеду подготовить бумаги для землемера. Вчерашний осиный укус никому не внушал опасений; опухоль уже спала. Прежде Беатриса не обратила бы внимания на недомогание, потому что всегда исполняла то, что от нее ожидалось. Но не теперь.

Она распорядилась согреть воды, приняла ванну и, не вытираясь, встала перед большим зеркалом в ванной комнате.

Беатриса не притворялась, что смотрит на свое тело так, как смотрел бы на него мужчина. Она разглядывала себя беспристрастно, без сексуальной подоплеки. Тело было для нее сердцевиной, очищенной от покровов и окруженной пространством ванной комнаты. Однако в отношениях между сердцевиной и комнатой что-то изменилось, и поэтому после возвращения домой Беатрисе казалось, что и усадьба, и вся ферма стали другими. Она приподняла ладонями груди, потом руки скользнули к талии и ниже, к бедрам. Неуловимо изменилось либо тело, либо прикосновения ее пальцев.

Раньше она обитала в своем теле, словно в пещере, созданной точно по ее размеру. Камень и земля снаружи были внешним миром. Представьте себе, что на руку надевают перчатку, поверхность которой составляет единое целое со всем, что находится извне.

Теперь же ее тело сделалось плотным и целостным и больше не было пещерой. А мир снаружи, тот, что не являлся ею, стал подвижен, и все данное ей останавливалось на поверхности ее тела.

Она надела ночную сорочку, завернулась в капот и улеглась в постель. Откинувшись на подушки, Беатриса довольно заклекотала, как индюк, потом заметила портрет отца и умолкла. На ее месте многие женщины решили бы, что сходят с ума. Беатриса замотала головой, вдавливаясь в пуховую перину. Комната перед глазами закачалась, голова закружилась. Беатриса поднялась с постели и встала на четвереньки посреди ровного и неподвижного пола, устланного ковром. В свободном пространстве она ощутила, что счастлива.

Она присела к туалетному столику, взяла щетку в серебряной оправе с изображением русалки и задалась вопросом, ставшим привычным за последние полгода: «Почему я не ощущаю утраты?» Поразмыслив и установив, что вопрос сформулирован корректно, Беатриса с удовлетворением ответила сама себе: «Потому что не ощущаю».

Капитан Патрик Бирс погиб 17 сентября 1901 года в горах к северу от пустыни Кару, в Капской колонии, когда бурские повстанцы под командованием генерала Смэтса напали на расположение отряда британской армии. Бурам не хватало вооружения и продовольствия. В бою на взгорье капитану Бирсу снесло половину черепа

выстрелом с близкого расстояния. Бурский стрелок использовал охотничьи патроны «Маузер» для крупной дичи, потому что других у него не имелось. После того как британцы были разбиты, бур увидел обезображенный труп офицера и пожалел о своем решении, однако утешил себя тем, что нет особой разницы, чем убить противника — охотничьим патроном или фугасным снарядом, начиненным пиритовой кислотой.

Полковник, известивший Беатрису о смерти мужа, сказал ей:

— Для нас, военных, наши потери — ценное приобретение, свидетельство чести и славы. Мы чествуем тех, кто погиб за великое дело империи.

Беатрису больше всего приводил в отчаяние тот ужас, который наверняка ощутил ее муж в момент своей гибели. Она воображала, что он умер в глубоком разочаровании. Тем не менее окончание их совместной жизни также представлялось ей не потерей, а приобретением. Беатриса получила возможность уехать из Африки. Оставить покойного супруга. Оставить его собратьев-офицеров.

Мне неизвестно, когда отношения Джослин и Беатрисы стали кровосмесительными.

И все же я знаю, что Беатриса наверняка вышла замуж за капитана Бирса с тем, чтобы облегчить себе жизнь.

Власть Джослина над сестрой в сущности была детской властью старшего брата, перенесенной на зрелые годы. Его отношение было покровительственным и ревностным; он один судил о морали и нравственности в мире, который знал лучше сестры. Ее добродетель состояла в повиновении брату и безразличии к мнению остальных. Однако с наступлением зрелости его власть над сестрой полностью зависела от добровольного согласия Беатрисы; вдобавок это добровольное согласие поддерживало их отношения больше, чем способность Джослина на зрелые суждения и поступки. Его господство возникло оттого, что Беатриса этого желала, что и объясняет странную цикличную замкнутость их настроений и тесную привязанность.

В этот замкнутый круг вступил капитан Бирс — самоуверенный, прямолинейный, улыбчивый и тяжеловесный, иначе говоря, человек бесхитростный и незамысловатый, какими часто оказываются военные. Он ухаживал за Беатрисой. Он опускался перед ней на колени и объявлял, что он ее слуга, ее вечный раб. Он утверждал,

что обожает землю, по которой она ступает.

Капитан Бирс не требовал от нее ни непосредственного участия, ни молчаливого согласия, а просто в весьма официальных выражениях попросил ее руки. Непритязательность его затертых сравнений убеждала своей простотой: он возьмет Беатрису за руку и покажет ей весь мир.

Предложение она приняла.

Их обвенчали в приходской церкви святой Екатерины.

Они уехали в Африку.

«Поверхность земной суши составляет свыше 52 500 000 кв. миль. Владения Британской империи простираются почти на четверть этой территории, то есть примерно на 12 000 000 кв. миль. Большая часть земель лежит в зоне умеренного климата и пригодна для заселения белой расой… Территория империи поровну разделена между Южным и Северным полушарием; в Южном полушарии Австралия, Океания и Южная Африка занимают 5 308 506 кв. миль, а в Северном полушарии Соединенное Королевство, Канада и Индия простираются на 5 271 375 кв. миль. Таким образом, когда в одной половине

империи — лето, в другой — зима…»[9]

Спустя несколько дней после прибытия в Дурбан Беатриса вообразила, что все вокруг располагается на наклонной плоскости, крен которой постепенно увеличивается, и с увеличением угла наклона все медленно съезжает к нижнему краю. Наклонная плоскость занимала весь континент, а нижний край упирался в Индийский океан.

Однажды в Питермарицбурге, февральским днем 1899 года Беатриса взяла рикшу, хотя капитан Бирс в последнее время загадочно предупреждал ее не делать этого. Тем не менее она не питала никаких иллюзий относительно загадочности своего супруга.

Рикша-зулус нацепил головной убор из обтрепанных крашеных страусовых перьев, воняющий жженым волосом. Длинные ноги юноши были грубо вымазаны известкой. Ночью прогремела гроза, и небо, дочиста вымытое дождем, сияло резкой голубизной. Обтрепанные перья покачивались в такт бегу зулуса и мели небосвод, как раскрашенную твердь.

Рикша провез Беатрису мимо британского отряда. Под пронзительно голубым небом, перед

---

[9] Сноски: 9
Британская энциклопедия, изд. 1911 г., статья «Британская империя».

низкими казармами, сооруженными на скорую руку, взводы, марширующие по лишенным загадочности прямым улицам, казались коробками, в которых беспомощно подрагивали двадцать-тридцать солдат.

Здесь, как и в Дурбане, британцы постоянно чем-то занимались, ежеминутно выполняя свой долг. Рикша пробежал мимо кавалерийских офицеров, которые мельком взглянули на Беатрису и равнодушно поклонились — она была женой собрата по оружию. Среди приятелей капитана Бирса были и такие, которым Беатриса искренне желала смерти в битве при Ледисмите, если уж потерь не избежать.

Она уставилась на бегущие ноги, вымазанные известкой: постоянная смена разгибающейся ноги ногой сгибающейся. Движение нисколько не походило на движение задних ног лошади, наблюдаемое с брички, и Беатрису это смущало. Впрочем, никаких выводов она из этого не делала. От жен британских офицеров, в обществе которых она проводила почти все свободное время, ее отличало именно отсутствие мнений. Теперь она возненавидела разговоры и доверяла только своим ощущениям, потому что они не требовали заключений.

Рикша свернул в узкий, но абсолютно ровный проулок, выходящий на задние дворы бунгало и к незастроенным участкам земли. Деревья отбрасывали редкую тень. По островку жухлой травы к центру города вереницей шли африканки из крааля на окраине (иногда им разрешалось навещать родственников, служивших у горожан). На головах женщины несли огромные тыквы. Рикша замедлил бег. Одна из африканок крикнула что-то зулусу (Беатриса не поняла ни слова), другая сделала непонятный жест и рассмеялась. На Беатрису никто не взглянул — ни две старухи с высохшими, сморщенными грудями, ни африканка с ребенком на руках.

Проулок выходил на шумную дорогу. Наконец показались ворота ботанического сада — цель путешествия Беатрисы. Она вышла из коляски и спросила рикшу, что было в тыквах на головах женщин. Он взглянул на нее сверху вниз — Беатриса была невысока ростом — и объяснил, что это сорговое пиво. Вот тут-то все и накренилось. Беатриса ухватилась за решетку ботанического сада, приникла к прутьям, пытаясь втиснуть между ними голову. Рикша очумело глядел на Беатрису до тех пор, пока его не прогнал подоспевший на помощь полицейский.

Второй раз это произошло в Дурбане. На званом ужине у капитана порта Беатриса увидела, как наклонилась столешница, выставила руку, чтобы предотвратить падение серебряного подсвечника с зажженными свечами, и резким движением (неожиданным и непонятным для присутствующих) опрокинула бокал соседа.

Ночью капитан Бирс, разомлевший от выпитого, ласково прошептал Беатрисе:

— Моя голубка-рабыня прилюдно допустила неловкость и заслуживает примерного наказания. Придется мне связать тебя покрепче. Ну-ка, попробуй выпутаться. Пожалуй, надо потуже узлы затянуть. А теперь поклянись мне…

Галлюцинации стали возникать чаще; физическое ощущение наклонной плоскости сменилось убеждением, что все вокруг действительно накренилось, будто Беатриса не чувствовала это, а знала.

Беатриса прекрасно понимает, что существует иной способ видеть себя и окружающих, но она так видеть не умеет, а ее сейчас видят именно таким образом. Во рту у нее пересыхает. Корсет стискивает грудь. Все кренится. Беатриса видит все четко и ясно. Никакого крена нет, но она абсолютно уверена, что все вокруг наклонено.

Даже когда галлюцинация развеивалась, Беатриса по-прежнему считала, что континент накренился, поскольку это совпадало с ее ощущениями и делало их более убедительными.

Постепенно тревога, сопровождающая галлюцинации, исчезла. Беатриса никому не рассказывала о своих видениях. Безумие ее больше не волновало — она приняла его как неизбежность, считая последствием жизни в Питермарицбурге, Дурбане и Кейптауне. Ее больше не интересовало, сошла она с ума или нет. Беатриса ждала удобного случая сбежать отсюда.

Недуг Беатрисы возник как реакция на поведение мужа в постели. Впрочем, особыми извращениями он не отличался, требовал только, чтобы супруга позволяла себя связать и осыпать оскорблениями. При виде связанной Беатрисы он быстро достигал оргазма; страдала она не от жестокого обращения, а от стыда и разочарования. Нервное напряжение усиливал и непривычный климат Наталя и Капской колонии. Вдобавок существовала и еще одна причина.

Великое заблуждение амакоси

Двадцать третьего декабря тысяча восемьсот

сорок восьмого года сэр Гарри Смит, британский губернатор Капской колонии, созвал амакоси (племенных вождей коса, народности, обитавшей на восточной границе провинции) и объявил им, что их земли — самые плодородные в Южной Африке — будут аннексированы и превращены в зависимую территорию под названием Британская Кафрария. Вскоре стало ясно, что Мголомбане Сандиле, вождь племени гаика (нгг'ика), не намерен повиноваться приказу губернатора. Сэр Гарри Смит снова созвал вождей, но Сандиле на встречу не явился. Губернатор назначил некоего Чарльза Браунли особым уполномоченным по делам племени и, сочтя проблему устраненной, приказал взять Сандиле под стражу. Двадцать четвертого декабря тысяча восемьсот пятидесятого года отряд, отправившийся арестовывать вождя, попал в засаду и был уничтожен. Восставшие гаика напали на пограничные поселения, где белые жители праздновали Рождество. Так началась Четвертая кафрская война, предпоследний этап в борьбе коса за независимость, продолжавшейся шестьдесят лет.

Министерство по делам колоний выделило миллион фунтов стерлингов на кампанию в Южной Африке, и к 1853 году британские войска

подавили восставшие племена. В 1856 году случилось так называемое «великое заблуждение амакоси», ставшее последним этапом борьбы местного населения за независимость.

Девушка по имени Нонгг'авусе рассказала отцу, что у ручья столкнулась с величественными незнакомцами. Отец отправился к ним на встречу. Пришельцы объявили себя духами предков, которые восстанут из мертвых и помогут племени сбросить в море англичан-завоевателей. Отец поведал о случившемся вождю Сандили, и тот заявил, что велениям духов следует повиноваться. Духи приказали забить весь скот и уничтожить все запасы зерна — и стада, и посевы якобы поразила порча, наведенная белыми поселенцами, — после чего немедленно воцарится великое изобилие, появятся бесчисленные стада, закрома наполнятся зерном, все беды и болезни исчезнут, ко всем вернутся красота и молодость, а захватчики сгинут бесследно.

Коса повиновались. Скотоводство было их основным занятием. Племя измеряло богатство поголовьем скота. В зажиточных семьях каждой дочери в приданое полагалась корова-убулунгу, «творящая добро», убивать которую запрещалось, а волоски из коровьего хвоста вплетали в оже-

релья для оберега детей. И все же коса забили весь скот, включая священных коров, сожгли все запасы зерна, а затем, построив просторные краали для тучных стад и приготовив огромные бурдюки для обещанных молочных рек, стали терпеливо дожидаться свершения пророчества.

Настал рассвет напророченного дня, и с закатом солнца погибли надежды сотен тысяч человек. Эры всеобщего благоденствия не наступило.

Пятьдесят тысяч коса умерли от голода. Тысячи людей снялись с обжитых мест и в поисках работы ушли в Капскую колонию. Оставшиеся жители превратились в безземельных бедняков, а позднее стали работать за гроши на золотых и алмазных приисках у северных границ страны. Плодородные земли коса заселили европейские фермеры.

* * *

— Кто это? — спрашивает мальчик.

— Фердинандо Первый, великий герцог Тосканский, основатель Ливорно. Он родом из Флоренции, — объясняет Умберто.

— Из чего он?

— Что? Я не понимаю…

— Он из камня сделан?

— Нет, из бронзы, — говорит Умберто. — Это такой ценный металл.

— А почему эти в кандалах?

— Это африканские рабы.

— Они очень сильные.

— Конечно. Они… как это? — Умберто жестами изображает гребца на веслах.

— Они на лодке гребут?

— Да, да!

— Тогда зачем здесь их статуи?

– *Ma perché son magnifici*. Они прекрасны.

* * *

Беатриса отложила щетку в серебряной оправе, украшенной русалкой, и подошла к открытому окну. На подоконнике стояла ваза с сиренью.

— Не припомню, чтобы сирень так сильно пахла, — сказала Беатриса, когда мальчик появился на пороге спальни, и попросила его узнать, не выздоровел ли второй пастух.

Мальчик вышел, а Беатриса подумала: «Я его вдвое старше».

Стихотворение для Беатрисы

Мои очертания постоянно меняет туман

Измеримы только расстояния на карте

Мои звуки возникают не во мне

Я окутана изумленным безмолвием моих грудей

Я заплетаю волосы в предложения

Никогда их не распускаю

Брожу где хочу

Манжеты сковывают мне запястья

Разбей

Разбей изумленное безмолвие моих грудей.

Буры

«Наш век – огромный бурлящий котел, где смешиваются все исторические эпохи».

Октавио Пас

Буры уничтожили африканскую цивилизацию Южной Африки. Они колонизировали Южную Африку для британских завоевателей. Несмотря на помощь англичан, именно буры заложили основу отношений между колонизатором и колонизируемым, хотя сами являлись беженцами — и в географическом, и в историческом смысле. Они побеждали во имя поражения. В восемнадцатом веке буры двинулись на север, к Высокому Велду, не желая подчиняться власти голландской Ост-Индской компании в Кейптауне, что исторически привело к упадку — отказ от земледелия превратил их в пастухов-кочевников и охотников.

Массовый исход буров 1835 года, вошедший в историю под названием Великий трек, привел к образованию Наталя, Трансвааля и Оранжевой республики, но на деле являлся отказом от соблюдения принятых в девятнадцатом веке европейских норм и требований во всех сферах общественной деятельности — хозяйственной, политической, нравственной. В отличие от прочих колонизаторов буры не считали, что несут блага цивилизации в сердце «темного континента»; они сами отдалялись от «цивилизации».

Буры не отличались от местных племен мето-

дами хозяйствования, но, обладая огнестрельным оружием, лошадьми и фургонами, безнаказанно отбирали земли у банту, угоняли стада и сжигали посевы. Тем не менее, несмотря на все тактические преимущества, буры были не в состоянии ни возделывать захваченные территории, ни воспользоваться дешевым трудом покоренного населения. Они кичились своими священными правами хозяев и владык, но делать ничего не могли. Они существовали в бессильном одиночестве среди тех, кого напрасно покорили.

Тем временем европейцы порабощали и нещадно эксплуатировали целые континенты, безжалостно уничтожая коренное население (в Австралии и Северной Америке), переселяя народы (рабов из Западной Африки) или же навязывая местным жителям нравственное, религиозное и социальное мировоззрение, оправдывающее и объясняющее необходимость колонизации (католицизм в Латинской Америке, система княжеств и каст, ставшая частью имперского владычества в Индии). В Южной Африке буры не смогли обеспечить подобного «нравственного» превосходства, оправдывающего их захватническую деятельность. Завоевания не устраивали ни победителей, ни побежден-

ных. Договариваться с покоренными племенами не имело смысла, а соглашения были невозможны, потому что завоеватели не умели использовать захваченное. Впрочем, из-за этого буры, в отличие от других колонизаторов, почти не выказывали никаких признаков двуличия, самодовольства или испорченности, однако с глубоким подозрением и страхом относились к африканцам, считая любого из них потенциальным мстителем. Коль скоро соглашения были невозможны, то оправдания приходилось искать каждому поодиночке, подкрепляя их своими ощущениями. Бурам постоянно требовалось, превозмогая страх, поддерживать в себе уверенность в праве властелина, а избавляет от страха только ненависть.

По мнению Беатрисы, политикой пристало заниматься только мужчинам (увлечение Лауры политикой Беатриса считала доказательством ее бессердечия). Беатрисе нравились персонажи легенд древней Греции, хотя история ее не интересовала. О заблуждении амакоси Беатриса не подозревала. На вечеринках в Дурбане, где постоянно обсуждали «предательские выходки» и «злодеяния» буров, ей казалось, что все присутствующие состязаются друг с другом, как певцы

на концерте, придавая одним и тем же фразам индивидуальную эмоциональную окраску. В состязание превращался любой диалог. Затрагивались такие темы, как «Судьба империи», «Характерные особенности кафров», «Отличительные признаки британского солдата», «Роль миссионеров». О смысле затверженных фраз Беатриса не задумывалась, состязания нагоняли на нее тоску, поэтому она притворялась, что слушает собеседника, и отрешенно разглядывала его руки или, устремив взор в окно, представляла, чем займется через полчаса. Внимание Беатрисы ничто не обременяло, и, возможно, это и вызвало ее расстройство — смутное ощущение крена.

Из-за бесцельного блуждания мыслей, из-за отсутствия безмерного чувства долга — необходимой принадлежности колонизаторов, завоевавших чужую страну, — Беатриса, лишенная защиты общих мест и готовых суждений, остро чувствовала и безжалостную ненависть, скрытую за покровом формальных условностей, и отчаянный страх грядущей мести.

В Питермарицбурге Беатриса видела, как какой-то голландец (верный подданный своей королевы) избивал слугу-кафра. Побои сопровождались странным горловым кряхтением,

похожим на сдавленный смешок. Голландец скалился, прикусив язык зубами, и остервенело колотил слугу, будто не мог остановиться до тех пор, пока не уничтожит тело. Он кряхтел, сознавая тщетность своих стараний. На лице его застыло странное выражение, как у малыша, который нарочно какает в штанишки. Невозмутимый кафр, скорчившись, молча сносил удары.

Иногда в беге африканца Беатрисе чудилась непокоренная гордость всей расы.

Объяснить свои ощущения Беатриса не могла.

Психологический процесс вытеснения эмоций в подсознание имеет исторический эквивалент. Некоторые переживания невозможно описать именно потому, что они происходят преждевременно. К примеру, такое случается, когда унаследованное мировоззрение не в состоянии вместить или принять определенные эмоции и интуитивные ощущения, вызванные новой, неожиданной ситуацией или чрезмерностью непредвиденных впечатлений. «Тайны» возникают в системе идеологических установок и постепенно разрушают ее изнутри, закладывая основу для создания нового мировоззрения. С этой точки зрения средневековое чародейство легко поддается объяснению.

Самонаблюдение позволяет убедиться в том, что по большей части наши переживания не укладываются в адекватные формулировки — для этого необходимо точнее понимать, что представляет собой человек. В сущности, грядущие поколения поймут нас лучше нас самих, однако же их понимание будет выражено в совершенно чуждых нам терминах. Потомки изменят наши несформулированные переживания до полной неузнаваемости. Именно это мы проделали с переживаниями Беатрисы.

Она прекрасно понимает, что существует иной способ видеть себя и окружающих, но она так видеть не умеет, а ее сейчас видят именно таким образом. Во рту у нее пересыхает. Корсет стискивает грудь. Все кренится. Беатриса видит все четко и ясно. Никакого крена нет, но она абсолютно уверена, что все вокруг наклонено.

* * *

Скрестив ноги, она уселась на коврик у кровати и пристально всмотрелась в ужаленную осой ступню. На коже виднелся розовый кружок величиной с полупенсовик, но опухоль спала. Ступня лежала на ладони, будто морда собаки,

глядящей в пол. Беатриса быстро расстегнула капот, задрала сорочку до колен, подняла ногу и, подавшись вперед, заложила ступню за шею. По щиколотке скользнули прохладные пряди распущенных волос. Беатриса выпрямила спину, немного посидела в этой позе, потом склонила голову, опустила ступню на пол и с улыбкой замерла, скрестив ноги.

Я вижу лошадь, впряженную в бричку, подкатившую к парадной двери особняка. В бричке сидит грузный человек в черном костюме и котелке. Фигура его до странности комична. Я гляжу на лошадь, на бричку и на комичного аккуратного человечка из окна Беатрисиной спальни.

На столе между окном и широкой кроватью с пологом стоит ваза с букетом белой сирени. Запах сирени — единственное, что я четко представляю.

Беатрисе тридцать шесть лет. Волосы, обычно заколотые в шиньон, сейчас распущены по плечам. Она одета в капот, рукава расшиты листьями. Ноги босые.

Мальчик входит в спальню и сообщает, что для человека в бричке подготовлены все необходимые бумаги.

Мальчику пятнадцать лет; он выше Беатрисы,

темноволосый, с крупным носом и небольшими, изящными кистями рук. В пропорциях головы и плеч сквозит что-то, неуловимо напоминающее его отца, — напористая уверенность.

Беатриса протягивает ему руку и раскрывает ладонь.

Он захлопывает дверь, подходит к Беатрисе и берет ее за руку.

Беатриса подводит его к окну. Они смотрят на человека в бричке, который собирается уезжать, и одновременно разражаются смехом.

Не прекращая смеяться, не разжимая пальцев, они взмахивают сцепленными руками, и это движение подталкивает их от окна к кровати.

Они садятся на постель, и смех замирает.

Медленно они откидываются на спину, касаясь головами покрывала. Беатриса опускается на кровать чуть быстрее мальчика.

Оба ощущают сладость в горле, чем-то напоминающую вкус сладкого винограда. Сама сладость не чрезмерна, но ощущение вкуса так сильно, что его можно сравнить с ощущением острой боли, с той разницей, что боль отвергает все желания, кроме возвращения к прошлому, в котором она еще не существует. То, чего они желают сейчас, никогда прежде не существовало.

С того момента, как мальчик переступил порог, все последующие действия представляли собой единый поступок, единственный мазок.

Беатриса кладет ладонь ему на затылок, притягивает мальчика к себе.

Ее кожа под капотом невообразимо мягка. Прежде мальчик считал мягкость качеством, присущим либо чему-то небольшому и насыщенному (как персик), либо чему-то объемному и жидкому (как молоко). Мягкость Беатрисы принадлежит телу, которое кажется весомым и огромным — не в сравнении с мальчиком, но в сравнении со всем остальным, его окружающим. Подобное увеличение тела объясняется не только близостью и сосредоточением внимания, но и тем, что мальчик не видит, а осязает его. Тело больше не ограничено контуром, а превращается в непрерывную поверхность.

Он наклоняет голову к ее груди, берет губами сосок. Осознание происходящего свидетельствует о прощании с детством. Детство мертво. Это осознание неотделимо от ощущения и вкуса во рту. Губы ощущают комочек — живой, необъяснимо полуотделенный от округлости груди, как будто на стебельке. Вкус настолько тесно связан с плотностью и вещественностью комоч-

ка, с его температурой, что его трудно описать иными словами — он слегка напоминает белесый сок в стебельке травы. Мальчик осознает, что впоследствии и ощущение, и вкус он сможет испытать самостоятельно. Груди Беатрисы предполагают его независимость, и он утыкается в ложбинку между ними.

Ее инаковость является своего рода зеркалом: все, что он замечает в ней, все, на чем сосредотачивается, увеличивает его ощущение себя, хотя и не отвлекает от нее.

Она — женщина, которую он называл тетушкой Беатрисой. Она хлопотала по хозяйству и отдавала распоряжения прислуге. Она брала брата под руку и гуляла с ним в саду. Когда-то она водила мальчика в церковь. Она интересовалась, что он выучил на уроках, например: «Назови крупнейшие реки Африки».

В детстве она часто его удивляла. Однажды он увидел, как она присела на корточки посреди поля, и потом долго задавался вопросом, неужели она присела пописать. В другой раз посреди ночи его разбудил ее смех — такой громкий, что больше походил на крик. Как-то он вошел на кухню, а она мелом рисовала корову на плитках пола; когда он был совсем маленьким, он тоже рисовал

таких коров. Всякий раз мальчик с удивлением убеждался: тетушка ведет себя совсем иначе, когда считает, что ее никто не видит.

Утром, когда она попросила его зайти к ней в спальню, то снова предстала перед ним с другой стороны, но теперь он понял, что это не случайное откровение, а ее намеренное решение. Распущенные пряди волос свободно лежали на плечах. Он никогда прежде себе ее такой не представлял. Лицо ее казалось гораздо меньше его лица. Макушка неожиданно стала плоской, волосы блестели сильнее. Глаза смотрели серьезно, почти сурово. Туфельки лежали на ковре. Она была босая. Голос тоже изменился, слова звучали медленно, неторопливо.

— Не припомню, чтобы сирень так сильно пахла, — сказала она.

Этим утром он не удивился. Он принял перемены. И все же этим утром он все еще представлял ее хозяйкой усадьбы, в которой он провел детство.

Она — мифическая фигура, которую он слагает из мелких подробностей, частей и качеств. Ее мягкость — но не занимаемое ею пространство — отчего-то ему знакома. Жар ее вспотевшего тела — источник того самого тепла,

которое он ощущал в одежде мисс Хелен. Ее отдельность от него напоминает о стволе дерева, который он когда-то целовал. Белизна ее кожи — та нагота, которую он украдкой замечал под взметнувшейся юбкой. Ее запах — аромат полей, где ранним утром едва уловимо пахнет рыбой, хотя до моря далеко. Ее груди именно такие, какими давно рисовались в его воображении, хотя их отчетливость и отделенность друг от друга изумляют. Из рисунков на заборах ему известно об отсутствии у нее пениса и мошонки (темный треугольник волос, похожий на бородку, подчеркивает их отсутствие и делает его более простым и естественным, чем представлялось). Эта мифическая фигура воплощает в себе желанную альтернативу всему тому, что внушает отвращение и омерзение. Ради нее он забывает о собственном инстинкте самосохранения — так он с омерзением покинул бродяг в мешковине и дохлых лошадей. Она и он вместе, загадочно и обнаженно — вознагражденная добродетель.

Мифическая спутница и женщина, которую он когда-то звал тетушкой Беатрисой, встречаются в одной и той же личности, и встреча эта уничтожает их обеих. Ни одна из них более не существует.

Он глядит в глаза незнакомой женщины, которая смотрит на него. Устремленный на него взгляд рассеян, будто он, как природа, существует везде.

— Сладкий мой, сладенький, — слышит он голос незнакомой женщины. — Давай…

Он нерешительно касается ее волос, растопыривает пальцы, ощущает под рукой нечто необъяснимо знакомое.

Она раздвигает ноги, и он осторожно продвигает палец в нее. Теплая слизь обволакивает его палец, будто кожа. Он шевелит пальцем, и поверхность жидкости растягивается, иногда разрывается. В месте разрыва он ощущает холодок, но теплая влажная пленка снова затягивает прореху.

Она держит его пенис в ладонях, словно сосуд, из которого что-то прольет на себя.

Она сдвигается вбок, под него.

Ее влагалище начинается в пальцах ног, вбирает в себя ее груди и глаза, обволакивает ее.

Обволакивает его.

Легкость.

Прежде это было невообразимо, как невообразимо рождение для того, кто рождается.

* * *

Декабрь, восемь часов утра. Люди уже работают или идут на службу. Еще не рассвело; темнота затянута туманной дымкой. Я только что вышел из прачечной, где сиреневатый свет люминесцентных ламп отбеливает пятна, которые дома снова становятся видны. В свете этих ламп девушка за стойкой похожа на клоуна: выбеленное лицо, зеленые тени вокруг глаз, белесые бледно-лиловые губы. Прохожие на рю д'Одесса шагают торопливо и напряженно, ежась от холода. Трудно представить, что часа два назад они были в постели — расслабленные, томные. Их одежда — даже та, которую подбирали с тщательным старанием или со страстью влюбленных, — выглядит форменной, будто всех их завербовали на какую-то государственную службу. Личные предпочтения, пожелания и надежды доставляют неудобства. Я жду автобуса на остановке. Вихляющий красный фонарь парижского автобуса на повороте похож на раскаленное тавро, вытащенное из пламени. У меня возникают сомнения в отношении ценности стихов о сексуальном влечении.

Само по себе сексуальное влечение очень

определенно; точнее, определенна его цель. Любая неопределенность, замеченная одним из пяти чувств, пресекает сексуальное влечение. Сексуальное влечение сфокусировано резко и конкретно. Предметом такого фокуса может служить грудь, вздымающаяся из мягкой изменчивой формы к границе ареолы и затем к четко очерченному соску.

В неопределенном, расплывчатом мире сексуальное влечение подкрепляется стремлением к четкости и определенности: «Рядом с этой женщиной моя жизнь упорядочена».

В застывшем иерархическом мире сексуальное влечение подкрепляется стремлением к иной уверенности: «Рядом с этой женщиной я свободен».

Любые обобщения препятствуют сексуальному влечению.

Каждая из черт, которая придает ей желанность, утверждает свою исключительность: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь…

Именно так звучит единственно возможное стихотворение о сексуальном влечении: здесь, здесь, здесь, здесь — сейчас.

Попытка описать сексуальные переживания великолепно демонстрирует общую ограничен-

ность литературы в отношении любых аспектов переживаний.

Качество, обозначаемое словом «впервые», в сексе ощущается как беспрестанно воссоздаваемое. В каждом элементе плотского возбуждения присутствует нечто, будто впервые захватывающее воображение.

В чем состоит это качество? Как первые впечатления отличаются от последующих?

Рассмотрим, к примеру, сезонную ягоду — ежевику. Преимущество этого примера заключается в том, что ежегодно с началом сезона ежевики возникает искусственное «впервые», напоминающее о самом первом знакомстве со вкусом этой ягоды. Таким образом, первая пригоршня охватывает всю совокупность ежевики. Впоследствии горсть ежевики превращается в горсть определенной ежевики — спелой, неспелой, переспелой, сладкой, кислой и так далее. Разборчивость возникает с опытом. Однако подобное развитие событий связано не только с качеством. В соотношении частного и общего существуют и количественные изменения, то есть утрачивается символическая полнота свойств чего бы то ни было. Первое впечатление навсегда сохраняет неимоверно сильное ощущение. Оно сродни

волшебству.

Итак, различие между первым впечатлением и его повторением заключается в том, что первое представляет всю совокупность явления, а второе, третье, четвертое — и так далее до бесконечности — сделать это не способны. Первые впечатления — открытие первоначального смысла, и язык последующих впечатлений бессилен это выразить.

Силу человеческого сексуального влечения легко объяснить в терминах естественного полового импульса, а силу желания можно измерить его сосредоточенностью. Сексуальное влечение сопровождается чрезвычайной целеустремленностью, которая принимает форму убеждения в том, что желаемое представляет собой венец всех желаний. Эрекция — начало процесса полной идеализации.

В определенный момент сексуальное желание становится неукротимым даже под угрозой смерти. Желаемое приобретает исключительный характер; ничего другого желать невозможно.

Кратчайшим проявлением абсолютного желания является оргазм. Сильная страсть продлевает желание. Однако даже в его кратчайшем проявлении это переживание не следует рассматривать

как физиологический или нервный рефлекс. В нем принимает участие воображение — память, язык, мечты. Объект исключительного желания ощутим и уникален, а следовательно, он или она — пусть даже на краткий миг — безоговорочно воплощает в себе саму жизнь.

Переживание = Я + Жизнь.

Но как об этом написать? Подобное уравнение невозможно передать в повествовании от третьего лица. Третье лицо и повествовательная форма являются пунктами договора между писателем и читателем и основываются на том, что оба они понимают персонаж шире и полнее, чем сам персонаж осознает себя. Это нарушает условия уравнения.

Применительно к ключевому моменту полового акта все существительные обозначают предметы таким образом, что отрицают смысл переживания, которое они призваны описывать. Влагалище, передок, киска, щель, мохнатка, манда, пенис, член, хер, конец, уд, елдак, шишак и тому подобные наименования любых частей тела, являющихся объектами сексуального наслаждения, при непосредственном описании полового акта на любом языке звучат с непреодолимой чужеродностью. Слова и фразы, стоящие

рядом с ними, да и весь смысл предложения, в котором они употреблены, отторгают вышеупомянутые существительные, будто выделяя их курсивом — не потому, что они незнакомы читателю или писателю, а именно потому, что это слова от третьего лица.

Те же самые слова, употребленные в прямой речи — как ругательства или описательно, — приобретают иное значение и теряют чужеродность, потому что характеризуют говорящего, а не описывают половой акт. Как ни странно, глаголы (совокупляться, переспать, перепихнуться, трахнуть, давать, сосать, целовать) подобной чужеродностью не обладают и отторгаются меньше. Качество «впервые» связано не с совершенными действиями, а с отношениями между субъектом и объектом. Объект, находящийся в центре сексуального переживания, являясь предметом исключительного желания, превращается во всеобъемлющий. Все остальное, внешнее, перестает существовать, и объект становится безымянным.

Вот два изображения:

Они искажают меньше слов. С помощью этих рисунков немного легче представить то качество сексуальных переживаний, которое я обозначил

словом «впервые». Почему? Рисунки наглядны, они ближе к физическому восприятию. Впрочем, этого объяснения недостаточно. Картина с порнографическим сюжетом, созданная древнеримским художником или мастером эпохи Возрождения, будет гораздо нагляднее, но не сделает мои объяснения понятнее.

Может быть, это оттого, что рисунки схематичны, как диаграммы? Вряд ли. Медицинские диаграммы зачастую еще схематичнее — и ничего не проясняют. Мои рисунки яснее слов и подробных изображений потому, что несут минимальную культурную смысловую нагрузку. Я попробую объяснить это от противного.

Напишите над первым рисунком слово «большой». Восприятие рисунка немедленно изменится, его культурная смысловая нагрузка возрастет. Рисунок превратится в послание, адресованное писателем читателю. Припишите слово «его» перед словом «большой» — и рисунок снова изменится.

Над вторым рисунком сделайте надпись «Подставьте имя женщины». Хотя в надписи больше слов, смысл рисунка это не меняет. Слова не классифицируют рисунок, не используют его синтаксически. Изображение по-прежнему оста-

ется в исключительном распоряжении зрителя. А теперь выполните то, что требует надпись, — подставьте имя женщины. К примеру, Беатриса. Культурная смысловая нагрузка возрастет, и рисунок станет непонятнее. Имя Беатриса отсылает рисунок к внешней системе категорий. То, что изображено на нем, стало частью Беатрисы. Беатриса — Беатриче — часть европейской культуры. В итоге перед нами — примитивное изображение полового органа, а сексуальное переживание само по себе целостно.

А теперь надпишите над каждым из рисунков слово «я».

Я пишу о любовниках в постели.

Ее взгляд возвращается к нему. Для него взгляд так же определен и постоянен, как дом или конкретная дверь. Он найдет, как к ней вернуться.

К этому взгляду несколько лет назад его подготовила юная цыганка. За этим взглядом кроется полная уверенность в том, что все выраженное в это мгновение — без мыслей, без слов, одними глазами — будет моментально понято. Существовать в этот миг — значит быть познанным. Все различия между личным и безличным исчезают.

Не следует превратно истолковывать смысл этого взгляда. Он одновременно и в равной мере выражает мольбу и благодарность, но это не означает, что Беатриса благодарна за случившееся и умоляет о будущем.

— Не останавливайся, сладкий мой, не останавливайся, — может быть, произнесла она — или произнесет. Но не этим взглядом.

Подобное толкование предполагает, что, если все сложится удачно, этот взгляд преисполнится одной лишь благодарности. Мужчина, как властелин и собственник, надеется на такой исход, но в данном случае это толкование ложно.

Взгляд Беатрисы благодарит и умоляет одновременно не потому, что в ней сосуществуют оба эти чувства. Нет, чувство одно. Ее глаза говорят только об одном. Для нее не существует ничего, кроме этого чувства. Она благодарна за то, о чем умоляет; она умоляет о том, за что уже благодарна.

Ее взгляд объясняет ее состояние. Желание наслаждается своим удовлетворением; точнее, не существует ни желания, ни удовлетворения, потому что между ними нет противоречия; каждое ощущение становится ощущением свободы; свобода исключает все остальное.

Ее взгляд выражает свободу, которую юноша воспринимает как данность, но нам, в нашем мире от третьего лица, приходится называть это выражение одновременно мольбой и благодарностью.

Чуть позже она гладит его по спине и шепчет:
— Видишь… видишь.

Мы не погружаемся в мир. В нас есть резкость, почти хирургическая острота. В нас — если отважиться — существует лезвие, способное отсечь весь мир целиком, мир, притворяющийся частью нас, мир, к которому мы якобы принадлежим, если верить вялым и ущербным утверждениям. Скажи мне сейчас. Сейчас мне скажи.

Она подставляет ладонь под его мошонку.

Из длинного тугого бутона высвобождаются длинные лепестки; их кончики расходятся, образуя на конце цветка приоткрытый рот. Высвобожденные лепестки медленно поворачиваются, как лопасти пропеллера, — за восемь часов происходит поворот от сорока пяти до девяносто градусов. В круговом движении лепестки отходят от центра и отгибаются от небольшой

круглой чашечки, выпяченной вперед.

Так распускается цикламен. И так же, только с большей скоростью, ощущается набухание пениса, движение крайней плоти, обнажающей головку полового члена.

Часы отсчитывают иное время.

Я гулял по лесу с миниатюрной блондинкой. Нам было хорошо вместе, но мы не были поглощены друг другом.

Мы наткнулись на дохлого зверя с почти отделенной от тела головой — то ли лис, то ли осел, то ли косуля. Голова была полая, как маска или перчатка. Вид полуразложившегося трупа не вызвал омерзения, а наоборот, ободрил нас: ухмыляющийся рот, умиротворенный глаз. Ошметки кожи на шее напоминали широкий обтрепанный рукав. Эта ухмыляющаяся полуоторванная голова лежащего на боку зверя средних размеров не обозначала смерть животного; она воспринималась знаком, предлагающим нам продолжать.

Мы вышли из леса на широкую равнину, бледно-золотистую под темно-лиловым небом. Равнина, намного светлее мрачного неба, переливалась слабым сиянием, и ее красота доставила

мне (и, полагаю, моей спутнице) огромное удовольствие. Неподалеку виднелись два ряда невысоких деревянных строений, похожих на конюшни, но каждое стояло отдельно от своих соседей, как русские избушки. У домиков расхаживали мужчины и женщины в длинных светлых одеяниях, покупали и продавали скот (это были не богатые торговцы, а кочевники). Вдали на равнине показалось стадо белых коров (бизонов?), двигающееся по направлению к нам. Клубы золотистой пыли взметались к чернеющему небу. Внезапно моя спутница испугалась. Я же не испытывал страха, ободренный знаком, замеченным в лесу. Я обнял девушку и притянул к себе, наслаждаясь этим действием так же, как наслаждался всем происходящим вокруг нас.

— Не двигайся, — сказал я. — Если стоять смирно, нас не затопчут.

Стадо промчалось мимо. Животные тесно прижимались друг к другу в облаке золотистой пыли. Нас даже хвостами не задело.

* * *

Они отрешенно лежат бок о бок. Воздух из открытого окна холодит тела, влажные, мокрые животы.

— Вот бы так всегда, — говорит она.

Это не жалоба. Она сжимает ему два пальца. Она знает, что течение времени приходит в норму. Она переступила порог, за которым пространство, расстояние и время не имеют смысла. Порог был теплым, влажным и дрожащим; живым в той степени, для которой у неживого нет соответствующей классификации, — если только это не юрские горы, живые настолько, что их весомость превращается в звук.

Вот бы так всегда.

Они лежат на спине. У него возникает ощущение горизонтального растяжения. Он чувствует плоскость кровати, пола, грунта под домом. Все, стоящее вертикально, кажется нелепым и незавершенным. Он почти смеется.

Внезапно он замечает портрет ее отца на стене напротив кровати, написанный неумелой рукой провинциального художника. Наивное изображение румяного деревенского сквайра — традиционный избитый образ, имеющий некоторое сходство с моделью. Розовые щеки, пустые глаза. Он глядит на портрет ее отца и машет рукой.

Стихотворение для него

éblouir озарить
как шелк
ее тело безгранично
в центре рот земли
льющееся горло
(о соловьи из стихов девятнадцатого века)
мягкое
беззащитное существо
тупик
достичь его
озарить землю
éblouir

Часть III

5

Начало как сон

Самое странное в снах — не то, что в них происходит, а то, что в них ощущают. В снах возникают новые категории чувств. В снах, даже плохих, существует ощущение неминуемой развязки, которое редко возникает в бодрствующем состоянии. Под развязкой я подразумеваю получение ответов на все вопросы. В моем сне мы путешествовали по городу. Может быть, по Лондону. В любом случае город был знакомый, в нем все было интересно, необычно и хорошо известно. Я ехал на автобусе; в начале сна я ехал на верхней площадке (автобус был двухъярусный, без крыши). Поездка началась в сумерках или ночью. Я помню холодный воздух, свежий ветер, обдувающий сиденья на верхней площадке автобуса без крыши, но мне было уютно в теплой одежде. На освещенных улицах толпились люди; автобус проезжал мимо кинотеатров и станций метро. Поездка оказалась долгой; у нас была назначена

какая-то важная встреча на другом конце города. Примерно через час стало ясно, что, хотя автобус и едет по нужному маршруту, поездка затягивается. Я решил выйти на следующей остановке, в каком-то бойком месте, и взять такси, чтобы проехать остаток пути. Это решение не вызвало во мне сожалений о том, что поездку мы начали на автобусе. Как только я это решил, автобус свернул с главной улицы и, не останавливаясь, поехал по узким переулкам, плутая среди складов, мостов и высоких кирпичных заборов. Мы оказались на окраине — по-прежнему знакомой и родной; все это было приятно видеть. У меня возникло ощущение, что мы приближаемся к устью реки или к морю. Теперь стало понятно, что автобус идет совсем в другом направлении, точнее по давно забытому, отмененному маршруту, хотя во сне я не совсем так это объяснял. Тем не менее создавалось впечатление, что поездка в автобусе по отмененному маршруту была необходима. Высокая стена сбоку неожиданно исчезла, открылась водная гладь с кораблями у причала. Неподалеку от кораблей на воде лежал круг яркого зеленого света, и в нем летела белая птица — огромная белая птица. Она летела не как лебедь — не поджав ноги, а свесив их

вниз; выгнув, а не вытянув шею. Зеленоватые отблески воды оттеняли белизну больших, грузных, несколько неуклюжих крыльев. Птица была мне совершенно незнакома. Этого хватило, чтобы объяснить все происшедшее, происходящее и то, что случится потом. Автобус не остановился. Мы откинулись на спинки сидений, в лицо повеяло свежим ночным ветром.

Потом автобус, не прибавляя скорости, превратился в поезд, который мы должны были вести. В управлении поездом не было особых премудростей. Мы находились в голове состава, который двигался по рельсам тем же маршрутом, что и автобус. Я все время говорю «мы», потому что я был не один, хотя путешествовал без спутников. Я был в первом лице множественного числа. Мы находились в голове состава, который чуть быстрее двигался по рельсам, проложенным в узком проходе между высоких каменных стен (или кирпичных? стен из черного кирпича?). У меня возникло ощущение, что проход пролегает на очень большой высоте.

Впереди я увидел поворот. В тот миг поезд вел не я. Я разглядывал узоры кирпичной кладки на вершине стены, высоко над головой, и по тому, как они смыкались, мне стало ясно,

что за поворотом проход расширится и нас зальет свет. Ночь кончилась. То, что я расшифровал смысл узоров на стене, доставило мне невероятное удовлетворение (впрочем, частично это удовлетворение объяснялось предвкушением того, что проход вот-вот закончится и за поворотом вспыхнет яркий свет). Поезд шел быстро. Мы свернули, и, как я и предвидел, стены прохода исчезли. Мы находились высоко-высоко над землей, над морским заливом — безмятежный пейзаж, синее море, холмы, пляж, лес. Все лежало под нами. Но как только мы свернули за поворот, то увидели, что рельсы отвесно уходят вниз, как на американских горках. Более того, оказалось, что рельсы обрываются в море с высоты нескольких сотен футов.

Это и был тот самый миг неминуемой развязки, о котором я упоминал. Конец пути, уходящий в море, объяснял странный характер нашей поездки и причину отмены маршрута. Под нами простирался вид неописуемой красоты, который сделал наше путешествие осмысленным даже больше, чем появление белой птицы. Белая птица в круге света. Великолепный простор под нами. Остановить поезд было невозможно. На мгновение мы замерли на вершине отвесного

спуска и начали стремительное движение вниз, что предполагалось с той самой минуты, как мы свернули за поворот, но моего удовольствия это не уменьшило. Суровая неизбежность конца не воспринималась трагически или с жалостью.

— Плывите! — крикнул я остальным, слетая вниз.

Поезд исчез под водой. Я выжил, но некоторые (из тех, кто составлял первое лицо множественного числа) утонули.

* * *

> «Сегодняшние достижения в любой области – не что иное, как прошлые нелепицы».
>
> ***Луиджи Бардзини,***
> ***«Коррьере делла Сера», 1910***

Сегодня я хочу написать о событии, которое произошло в сентябре 1910 года.

Миланский аэроклуб объявил, что выплатит приз в три тысячи фунтов стерлингов тому, кто первым перелетит через Альпы. Жо Шавез, двадцатичетырехлетний француз перуанского происхождения, прославленный авиатор,

дожидается хорошей погоды в Бриге, у Симплонского перевала в Швейцарии. Вместе с ним ждут и другие летчики, пожелавшие принять участие в соревновании.

По мнению пилотов, организаторы соревнования неудачно выбрали время: перелет через Альпы лучше совершать в июне или в июле. Вот уже пять дней авиаторы отправляются в пробные полеты, поднимаясь на высоту тысячи метров, и возвращаются в полотняные ангары на крохотной посадочной площадке под названием «Сибирь». Все жалуются, что на подходе к горному массиву самолет попадает в опасные воздушные потоки. Не жалуется только Уаймен, американец в пенсне. Впрочем, он всегда заявляет, что ко всему надо привыкнуть.

Несколько недель назад Шавез поднял самолет на рекордную высоту, хотя для перелета через Альпы так высоко забираться не требуется. Горы выглядят непреодолимой преградой. Перед ними припали к земле низенькие дома Брига. Кажется, что за горами ничего нет. Абсолютно не верится в то, что за перевалом — итальянский городок Домодоссола, хотя об этом напоминают и движение по симплонской трассе, и исторические свидетельства: именно здесь переходили Альпы

армии Ганнибала и Наполеона. И все же человек, заключенный в пятиугольник своих чувств, в это не верит.

Луиджи Бардзини, известный итальянский журналист, писал в своем репортаже для газеты «Коррьере делла Сера» 23 сентября 1910 года:

«Сегодня утром, около десяти часов утра, из Симплона поступили неприятные известия: на северной стороне погода тихая, но в долине, где на склонах белеют заснеженные домики, будто камни, разбросанные лавиной, поднимается ветер. На перевале Моншера и в Италии условия прекрасные.

— Я очень хочу совершить перелет, — грустно сказал мне Шавез. — С итальянской стороны погода ясная.

Он телефонировал своему приятелю Кристьенсу, который проводил метеорологические наблюдения на Кульме.

— Нет, я сам посмотрю, — внезапно произнес Шавез. — Машина нужна.

Молодой американец предложил нам свой спортивный автомобиль, и мы быстро поднялись на гору. Мотор оглушительно ревел, на крутых виражах приходилось цепляться за сиденья, что-

бы не вылететь из салона.

У самых высоких вершин, на высоте около трех тысяч метров, гнал облака сильный восточный ветер. Чуть ниже погода была отличной. Деревья не шелестели листвой. Дым костров из леса медленно поднимался к небу. Холода не чувствовалось, хотя на высоте тысячи трехсот метров все покрыто снегом…

Шавез огляделся, раздраженно скрипнул зубами, больше ничем не выдавая своей тревоги. Он с утра забыл побриться, взволнованный предстоящим знаменательным днем.

Говорил он мало.

— Который час? — спросил он и тут же воскликнул: — Пора. Если перелет не удастся, приземлюсь у симплонской богадельни. Туда-то уж я обязательно долечу.

Кристьенс сел в машину и что-то встревоженно сказал летчику.

— А ветер? — спросил Шавез.

— Ветер сильный, — ответил Кристьенс.

— Не пролететь?

— Нет.

— Скорость ветра?

— Пятнадцать, но усиливается.

В долине Круммбах раскачивались верхушки

сосен, травы стелились под холодным ветром.

— Слишком ветрено, — вздохнул Шавез. — Вон, даже деревья качаются.

На склоне появился автомобиль — Луи Полан тоже отправился на разведку. Мы остановились, и Полан сообщил нам, что у Моншера условия благоприятные. Два авиатора принялись обсуждать возможные воздушные потоки.

— Ветер с Флечгорна, а там снег лежит.

— Вряд ли ветер переменится, — заметил Полан. — Возможны вихревые потоки. Если в них попадешь… — Он завершил предложение выразительным жестом.

Шавез и Полан взобрались на несколько сотен метров выше, к Хюбшгорну, и немного постояли там. Ветер чуть стих. Шавеза терзали сомнения.

— Давай до завтра подождем, — предложил Кристьенс.

— Нет, я полечу сегодня, — решительно возразил Шавез. — Поехали в Бриг…»

Главное — одеться, как положено. У него свои правила, проверенные неоднократно, он проделывает это привычно, не в первый раз. Все последующее будет знакомо, вот только он не властен ни над удачей, ни над встречей после посадки. Он надевает облегающий костюм из плотной

рисовой бумаги — на такой бумаге выводили письмена китайские каллиграфы, — одобрительно рассматривает свои ноги. Он — прекрасный бегун, но перед забегом часто ощущал слабость в ногах, вот как сейчас. На самом деле это не слабость, а ожидание старта. Неожиданно он просит карандаш у механика в ангаре и выводит на икрах «Да здравствует Шавез!». Поверх бумажного одеяния он натягивает непромокаемый стеганый комбинезон на вате, пару свитеров и кожаную охотничью куртку.

Аэроплан осмотрели, распорки обмотали тряпьем, чтобы не обмерзали. Шавез, готовый к взлету, посмотрел на горы, такие близкие на фоне голубого неба, потом взглянул на зрителей, собравшихся на краю летного поля. Сюда он возвращаться не собирался, его ждала посадочная площадка в Домодоссоле.

— Вот, священника принесла нелегкая, — заметил он одному из механиков и помахал приятелям.

Он сидит в кабине, надежно пристегнут к креслу. Знакомо и оглушительно ревет мотор, и через шестьдесят ярдов аэроплан отрывается от земли.

Зрители видят, как аэроплан поднимается в воздух и с легкостью набирает высоту. До них

доносится мерное гудение двигателя. Элегантно выгнутые крылья самолета напоминают зрителям о птицах — каждому о своей. Шавез приближается к перевалу. Внезапно аэроплан пропадает из виду, полностью скрываясь из поля зрения.

— Разбился! — кричит кто-то.

— В склон врезался, там, у сосен.

— Нет, он выше поднялся.

— Откуда ты знаешь?

— Смотрите, вот он!

— Где?

— Да вон же, примерно на середине леса!

Зрители снова замечают аэроплан. Теперь он не кажется птицей в небесах. На фоне серовато-сосен и сизого кремнистого склона самолет похож на мотылька, который не летит, а ползет по серому стеклу окна.

Шавез борется с ветром — аэроплан сносит к востоку — и с нарастающим ощущением нереальности происходящего: чем выше он поднимается, тем ниже оказывается, будто гора растет на глазах.

Когда все убедились, что это не пробный полет, новости телефонировали во все европейские города. Над собором подняли белый флаг — сигнал,

что авиатор вылетел из Брига и направляется через альпийский перевал; как только Шавез пересечет Альпы, над собором взметнется красный флаг. На площади у собора столпились люди — переговаривались, поглядывали в небо, ждали появления красного флага. Настроение и поведение этой толпы разительно отличалось от тех, кто собрался на площади в мае 1898 года.

Гостиница «Виктория» в Бриге полна журналистов, авиалюбителей и друзей участников соревнований. Среди них — главный герой этой книги, которого я для удобства буду называть Дж. Ему двадцать три года, он приятель Чарльза Уаймена, американского авиатора в пенсне.

Несколько месяцев назад Дж. сопровождал Уаймена в одном из первых ночных полетов. Летчика восхитило спокойствие приятеля и его умение ориентироваться с воздуха. Луна зашла за облака, и в полной темноте аэроплан пришлось посадить посреди холмистой равнины. Уаймен — невысокий худощавый франт в галстуке-бабочке — потом сказал репортерам, что повторять подобное ему не хочется, но было бы гораздо хуже, если бы он летел в одиночку.

Уаймен не понимал, почему его приятель не хочет научиться летать, хотя и увлекается

авиацией.

— Давай я тебя научу, — предложил он. — У меня отбоя нет от желающих, от По до Нью-Йорка.

С возрастом Дж. мало изменился. Беатриса легко признала бы в нем прежнего пятнадцатилетнего юношу. Впрочем, он побледнел, осунулся, и на исхудавшем лице сильнее выделяется крупный нос. Щербатая улыбка кажется хитрой ухмылкой.

— Если б у тебя денег не было, другое дело, — с тягучим американским акцентом сказал Уаймен. — Для полетов деньги нужны, а у тебя с этим все в порядке.

— У меня другие интересы.

— Какие? Чем ты вообще занимаешься?

Дж. иронически улыбнулся Уаймену, зная, что правды тот все равно не поймет, и ответил:

— Путешествую.

За стеклами пенсне голубые глаза американца выглядели еще наивнее.

— Вот и отлично. Будешь летать. Характер у тебя подходящий, да и упорства хватает, — произнес Уаймен, отсчитывая на пальцах: раз, два. — Основные качества летчика.

— У меня терпения не хватит. Я месяц в одиночестве не протяну.

— Тебе скорость нужна, — кивнул Уаймен.

— Я рассеянный, часто отвлекаюсь.

— На что? — поинтересовался Уаймен, простодушно раскрыв глаза.

— Ну, к примеру, на официантку, которая нам завтрак принесла.

— Да, она миленькая, — признал Уаймен, недоуменно моргая.

— С ней моя жизнь исполнена смысла.

— Мы же только приехали!

— Она обручена с клерком из муниципалитета, к Рождеству свадьбу сыграют.

— Ты шутишь? — спросил Уаймен, подозревая, что его разыгрывают.

— Нет, — ответил Джи.

— Мы творим историю, — рассудительно пояснил Уаймен, как терпеливый школьный учитель. — Мы — первопроходцы, начинаем новую главу в истории человечества. Разумеется, все мы чуточку безумцы. Разве можно сравнивать наши славные дела с мимолетными увлечениями? Ты с ней даже не заговаривал! Тут и решать нечего, выбор ясен. Займись серьезным делом, не веди себя как подросток! — Он схватил приятеля за руку. — Ну вот что тебя сейчас волнует?

— Прочтет ли она мою записку до обеда.

Уаймен расхохотался. Из-за совместно пережитых испытаний он проникся симпатией к некрасивому парню и решил, что раз уж приятель не хочет говорить откровенно, то и не надо его расспрашивать. Смех служил знаком прекращения разговора.

— В покер вечером сыграем? — спросил американец.

На следующий день он объяснял знакомому:

— Понимаешь, он все в себе держит. Никогда не знаешь, что он задумал. То ли его деньги интересуют, то ли приключения… А может, и то и другое — вот как нас с тобой.

К обеду в гостинице «Виктория» становится известно, что Шавез твердо намерен долететь до цели и возвращаться не собирается. Все выбегают на веранду и глядят, как аэроплан пролетает над долиной Роны и сворачивает к перевалу. Зрители восторженно восклицают и приветственно машут вслед.

Целую неделю ходили внушающие уныние слухи, что перелет через Альпы в этом году уже не состоится. Отчего-то никому не приходит в голову, что и эта попытка может закончиться безуспешно: если на подлете к ущелью реки Салтины Шавез решит, что ветер слишком силен,

то повернет обратно. Впрочем, завтра все разъезжаются, так что сегодня — последний шанс, что знаменательное событие все-таки свершится. Вдобавок за неделю Шавеза хорошо изучили и по его лицу все поняли. Речь идет не о его судьбе, а о характере.

Шавез замечает толпу на веранде гостиницы, но не машет им в ответ — суеверно приберегает приветственный взмах руки для прибытия в Домодоссолу.

На прошлой неделе в Бриг съехались жители окрестных деревень в надежде посмотреть, как летательный аппарат исчезает за горными вершинами. Вся гостиничная прислуга — официанты, горничные, повара, судомойки, садовник и его жена — взбудоражены не меньше постояльцев. Их возбуждение складывается из многих элементов: любопытство, неуверенность в исходе, гордость за чужое достижение (ведь человек в небе недавно был рядом с ними), но самым глубоким чувством является удовлетворение от непосредственной причастности к тому, что, по их мнению, станет историческим событием. Это первобытное, грубое удовлетворение связывает их жизни с жизнью предков и потомков — великая ось истории проходит через ту же

точку, что и тонкая нить их жизней.

Дж. покидает ресторан, но не отправляется на веранду, а выбегает во двор, к бревенчатому домику на сваях. Под ним — каменный резервуар, наполняемый родниковой водой; там стирают белье. Наверху расположены комнаты горничных, куда ведет деревянная лесенка. На ней стоит девушка и глядит в небо.

— Леони! — окликает он, протягивает к ней руку, жестом просит сойти вниз, берет за локоть и объясняет, что им лучше поторопиться: с балкона его номера видно лучше.

Она могла и отказаться; это было самым уязвимым в его плане. Она прекрасно понимала, что одновременно происходят два действия: над головой, будто птица, парит аэроплан, а юноша, пять дней преследовавший ее записками, шуточками, лукавыми перешептываниями, комплиментами и признаниями в любви, приглашает ее к себе в номер. Вдобавок ему известно о том, что каждый день у нее есть два часа свободного времени. Она пошла с ним потому, что необычность происходящих событий подчеркивала исключительность момента. Гул мотора, восторженные восклицания и то, что зрители, повернувшись к ней спиной, не отрывали глаз

от неба, утвердили ее в решении забыть о привычной рассудительности. В дверях он пропустил ее вперед, будто прикрывая, и под его защитой Леони скользнула внутрь, отринув свою обыденную, заурядную сущность.

На лестнице она тихонько захихикала, но в номере замолчала.

Он пересек комнату и распахнул застекленные двери на балкон над верандой. Аэроплан в небе заложил вираж. Они увидели четко очерченный силуэт головы и плеч Шавеза, крохотный, как пуговичка на женской туфле.

Леони боялась выйти на балкон — не хватало еще, чтобы ее заметили с веранды, — и стояла посреди комнаты, даже не притворяясь, что пришла сюда полюбоваться на аэроплан, летящий к горам. (Но ведь она могла благоразумно ретироваться, скажете вы. Она не была легкомысленна. Он ей пока ничего не предлагал. Леони отчасти догадывалась, что именно он собирался ей предложить. Она не была ни легкомысленной, ни наивной. Но существовала и еще одна часть его предложения, предназначенная ее исключительной сущности, той самой, которую окружала иная жизнь, будто безмолвный воздух, окружающий дальний гул мотора.)

Через миг он захлопнул балконные двери и обернулся к ней. Он немедленно понял, что добился успеха. Перед ним стояла именно она, Леони, и нерешительно глядела на него. Такая, какой он ее помнил: толстые пальцы, широкий приплюснутый нос, пряди жестких волос, выбивающиеся из-под чепца, крестьянский румянец, кожа, не знающая пудры; слева на подбородке — бледное пятнышко размером с ноготь; покатые плечи, налитая грудь, карие глаза цвета темного дерева. Те черты, из-за которых Уаймен назвал ее миленькой, его не интересовали, потому что ничем не отличали ее от других.

Он обнял ее. Она стояла, прижавшись щекой к его груди, и ждала. Вслушивалась в его слова. Сердце мое. Счастье мое. Моя кареглазая овечка. Леони, королева Альп. (Слова эти, записанные для третьего лица, теряют свою точность и чрезмерное, непревзойденное красноречие.) Она слушала и подчинялась его воле, но отнюдь не покорно — все это время она яростно пыталась в точности осознать смысл происходящего.

Неделю назад она не подозревала о его существовании. Она никогда не встречала таких мужчин. Он был богат. Он дружил с людьми, которые летали на аэропланах. Он сам летал

на аэроплане. Он путешествовал по разным странам. Он странно говорил по-немецки. Он походил на сказочного персонажа. Ей было неважно, что означают все эти факты по отдельности; они просто доказывали, что он разительно отличается от всех, с кем ей доводилось сталкиваться. Если бы на этом все и закончилось, она бы не придала большого значения его своеобычности. Ее виды на будущее были скромны. Леони прекрасно знала, что в мире полно людей, отличных от жителей Брига или кантона Вале; людей, которых она совершенно не интересует. А он обратился именно к ней — к Леони, — и это произвело на нее глубочайшее впечатление. Целую неделю он преследовал ее, дарил подарки, делал комплименты, разговаривал с ней и уверял в ее неповторимости. Как все, у кого нет привычки обманывать себя, Леони интуитивно отличала чистосердечную искренность от лицемерной фальши. Она знала, что он ей не лжет, хотя и не понимала его правды. Как и большинство женщин, она умела отличать человека, который умоляет о благосклонности или пытается обманом добиться ее, от человека, который при встрече с женщиной предстает перед ней таким, какой он есть. Примерно это она имела

в виду, говоря себе: он пришел ко мне.

Зевс, влюбившись в женщину, превращался в быка, сатира, орла или лебедя не только для того, чтобы использовать элемент неожиданности, но и еще чтобы встретиться с ней (по странным условностям легенд) под личиной незнакомца. Незнакомец, который, воспылав страстью, убеждает, что он желает только тебя во всей твоей самобытности, приносит весть от тебя возможной к тебе самой. Нетерпение, с которым жаждут получить эту весть, сравнимо по силе с желанием жить. Желание познать себя сильнее простого любопытства. Но вестник должен быть незнакомцем, потому что чем лучше ты сама его знаешь и, соответственно, чем лучше он тебя знает, тем меньше он сможет раскрыть тебе твою неведомую, но возможную сущность. Он должен быть незнакомцем, однако должен быть и загадочным образом близок с тобой, иначе вместо того, чтобы раскрыть твою неведомую сущность, он просто представляет всех тех, кто непознаваем для тебя и для кого ты непознаваема. Близкий — и чужой. Из этого противоречия, из этой мечты рождается великий чувственный бог, которого каждая женщина в своем воображении либо питает, либо морит голодом.

— Чем ты вообще занимаешься? — спросил Уаймен.

— Путешествую, — ответил Джи.

Ответ на вопрос не был ни уклончивым, ни поверхностным. Настоящий незнакомец постоянно находится в пути.

Какое-то время ее руки были безвольно опущены. За окном над горами синело знакомое сентябрьское небо. Вдали чуть слышно гудел мотор летательного аппарата «Блерио».

Аэроплан нырнул на пятьдесят метров вниз и шлепнулся, как дохлая камбала. Шавез хотел повернуть, и его удержало лишь то, что он чуть раньше сказал себе, хотя в тот миг, когда это говорил, он и представить не мог, что самолет плюхнется, как дохлая рыба.

Связное повествование больше никогда не станут излагать как единственно возможное.

Ее воспитание и образование дома, в школе и церкви подготовило ее к сложившейся ситуации. Она должна отвергнуть незнакомца, который вот-вот разобьет ей жизнь. Она должна отстоять свою честь, спасти себя, сохранить свою невинность для возлюбленного Эдуарда, который ухаживает за ней вот уже два года и с ко-

торым они будут жить в домике у реки, на пасеке; он станет отцом ее детей, которые пойдут в ту же школу в Бриге, куда когда-то ходила она. Она совершает смертный грех. Она должна воспротивиться дьявольскому искушению. Так ее учили. Она должна помнить о матери и о том, чего бы она желала своей дочери. Она — дочь своей матери, Божье дитя, нареченная возлюбленного Эдуарда, невеста, которая через два месяца будет стоять с женихом у алтаря, мать будущих детей, старшая сестра своих младших сестер — обязана сохранить честь дочери, христианки, нареченной невесты, матери, сестры. Она — или я? Я, Леони… Что делать мне, чтобы сохранить свою честь? «Я не знала, что делать». Она к этому не подготовлена. В обычной жизни она не может поцеловать этого человека. Но он — не в ее жизни. Он вне ее. «Я осталась с ним наедине. Больше никого не было». Она понимает, что больше никогда не попадет в объятья человека вне ее жизни. «Это было как сон». То, что она с ним делает, — не часть ее жизни, хотя другие решат, что это не так, и последствия отразятся на ее дальнейшей судьбе. То, что она с ним делает, будет действием той ее части, которая не входит в ее жизнь. «Моя слабость была сильнее меня».

Он провел ладонями по ее плечам, коснулся ягодиц и медленно, неторопливо приподнял ее. Ее ступни оторвались от пола. Потом он опустил ее, но так, что она невесомо касалась половиц.

Ей казалось, что к какой бы части тела ни притронулись его руки, они приподнимали ее, лишая веса. Его ладони отделяли ее от земного притяжения. Она взглянула ему в глаза, неотрывно смотрящие на нее. Он улыбался, щербинки между зубами темнели, как его глаза. Хотя солнечный свет по-прежнему струился в окно, ей казалось, что у нее за спиной черная завеса — черная, как его глаза, как щербинки в зубах, — и эта черная завеса медленно обертывает их, превращаясь в круглую черную палатку. Она чувствовала, как он прикасается к тем частям ее тела, которые по натуре своей были тяжелыми, отвисшими, тянули вниз, но каждое прикосновение приподнимало их, снимало тяжесть. Тогда она обняла его.

Его руки, противодействующие земному притяжению на всех тех — даже самых малых — частях ее тела, вес которых для нее ощутим, создали еще один эффект. В тяжести каждой из частей ее тела возникла сила влечения, при-

тягивающая — не постоянно, а прерывистыми толчками — к нему, к большей массе его тела (ощущение было сравнимо с отчетливой тяжестью грудей, но его размах шире и глубже).

Она начала повторять его имя.

Любая попытка исчерпывающе описать все ее ощущения будет нелепой. Испытываемые ею чувства стали центром ее жизни; все, чем она была прежде, окружало теперешние переживания, как берега окружают озеро. Все, чем она была прежде, превратилось в песок и отодвинулось на границу нынешних ощущений, скрылось под ними, будто под водой, и стало невидимым, загадочным дном озера. Для того чтобы выразить ее ощущения, необходимо воссоздать для нас ее неповторимый язык. А это невозможно. Хотя в нашем распоряжении имеются все выразительные средства литературного языка, нам все равно не получить доступа к ее переживаниям. На мгновение осознать ее ощущения возможно, только лишь овладев ею, полюбив ее. Почему мне хочется с исчерпывающей точностью описать ее переживания, если я четко понимаю невозможность этого? Потому что я ее люблю. Я люблю тебя, Леони. Ты прекрасна. Ты нежна. Ты чувствуешь боль и наслаждение. Ты крошеч-

ная, и я беру тебя в ладонь. Ты огромна, как небо, под которым я живу. Это сказал он.

Он усадил ее на кровать и отошел к двери. Она протянула к нему руки.

— Нет, — возразил он. — Не как пьяные крестьяне.

Внезапная грубость его слов не обидела и не удивила ее; она просто ждала, что он сделает дальше.

Он попросил ее раздеться. Она замешкалась — не потому, что не хотела, а потому, что не знала, как раздеваться под его взглядом. Он начал снимать с себя одежду. Леони расстегнула пуговицы на манжетах и остановилась. Обнаженный, он стоял у противоположной стены. Леони часто убирала его номер. Он стоял в нем, нагой. Она вспомнила прошлое. Вспомнила, как стирала занавески, которые он задернул, и опустила голову.

Леони, посмотри: он тебя видит. Взгляни, как он тебя видит. Тебя видят такой, какая ты есть. Когда ты родилась, еще не открыв круглый сморщенный ротик и не закричав, тебя увидели впервые — но не как тебя, а как противоположность мальчику. Посмотрели на складочку внизу

розового мокрого животика, и только потом взглянули в твои раскрытые глаза. Ты — девочка, тебя назвали Леони. Посмотри, тебя окружает его взгляд. Он узнает тебя — так зеркало, в которое ты смотришься, отражает твой образ. Зеркало отражает; он узнает. Он стоит, нагой, и видит тебя. Ты наклоняешься вперед, снимаешь поношенную сорочку с дыркой под мышкой, а он видит, как — не совсем бесшумно — колышутся твои груди.

Твой образ покрывает всю поверхность его тела, будто вторая кожа.

Все твои облики окружают его пенис.

Ты себя так никогда не видела.

Он смотрит на тебя и узнает. Его узнавание не остановить. Оно сжигает все, что узнает, и в свете этого огня узнает больше и больше, до тех пор, пока не разгорается так ярко, что узнает знакомые черты в том, с чем никогда не встречалось.

Он никогда не видел тебя обнаженной, и вот ты нага.

Говорят, что моя манера письма перегружена метафорами и сравнениями: все не такое, как есть, а похоже на что-то еще. Это правда. Почему это происходит? Все, что я восприни-

маю или представляю, поражает меня своими особенностями. Качества, роднящие предмет с другими (листья, ствол, ветви — если речь идет о дереве; руки, ноги, глаза, волосы — если речь идет о человеке), кажутся мне несущественными. Меня изумляет необычность каждого события, и с этим связаны мои писательские затруднения — или для меня невозможно быть писателем. Как передать необычность? Проще всего показать необычность через развитие. К примеру, чтобы убедить читателя в необычности переживаний Леони, следует рассказать, что произошло, когда Эдуард узнал об измене невесты. В этом случае необычность события можно объяснить причинно-следственными связями. Но я не ощущаю течения времени. Воспринимаемые мною отношения между объектами — включая случайные и исторические связи — формируют в моем мозгу сложный синхроничный узор. Я вижу пространства там, где другие видят главы, поэтому вынужден прибегать к такому способу описания событий, который отыскивает координаты в масштабах пространства, а не в последовательности времени. Я пишу в манере геометра. Пространственные координаты я устанавливаю, сравнивая аспекты с помощью метафор. Я не же-

лаю попадать в плен имен, полагая, что сущность предмета заключена в его названии. В постели они не были пленниками.

С дороги через Кульмский перевал Шавезу приветственно машут люди. Среди них Кристьенс и Луиджи Бардзини. Через несколько часов «Коррьере делла Сера» напечатает отчет о событиях.

«Мы замираем, переполненные волнующим чувством. Мы оцепенели. Глаза сияют, сердца стучат, души заворожены величием и красотой происходящего. Об этом не забудут даже через тысячу лет.

Чуть позже мы садимся в машину, к нам присоединяются Кристьенс и два офицера швейцарской полиции. Мы уезжаем, переглядываемся. Глаза у всех покраснели, швейцарцы смаргивают слезы, бормочут по-немецки: “*Mein Gott*, Боже мой!” Аэроплан приближается к долине Круммбах, где всего два часа назад завывал ветер и сверкали молнии. Самолет летит над полями у богадельни. Похоже, он теряет высоту.

— Он идет на посадку! — кричим мы. — Вон он! Заходит на посадку.

Понятно, что авиатора терзают сомнения. Может быть, он хотел приземлиться, но в послед-

ний момент передумал и решил, что справится с ветром…»

В то время пилоты летали по видимым ориентирам на местности; вдобавок они знали, где можно приземлиться и получить необходимую помощь. Годом ранее «Блерио» совершал перелет через Ла-Манш, и его полет сопровождал французский миноносец. На десять минут авиатор потерял корабль из виду и позже говорил, что чувствовал себя затерянным в морском просторе. Шавез первым из авиаторов сознательно скрылся из поля зрения наблюдателей.

Холод окружает его стенами тюремной камеры, пробирается внутрь. Правая щека и бок обледенели — на них беспрестанно, неутомимо напирает стена ветра, того самого, который Шавез так дерзко недооценил каких-то двадцать минут назад. Дерзость теперь кажется не ошибкой, а преступлением. Первородный грех — попытка объяснить его жизнь, неразрывно связанную с полетом. Напротив стены ветра высится стена из снега и скал.

Слева от него — Монте-Леоне. Снег, белеющий на солнце, и подчеркивает присутствие горы, и скрывает его.

На этой белизне не останется ни пятнышка.

Шавез пытается прорваться сквозь стену ветра. При повороте направо рев мотора «Гном» становится громче, потому что ветер задувает звук в кабину, но аэроплан зависает в воздухе. Он снижается, хотя ему надо подняться, чтобы пролететь над перевалом Моншера. Набирать высоту страшно — наверху ветер сильнее, чем здесь, и дует одновременно со всех сторон. Плохо, когда аэроплан ныряет, но еще хуже, когда его ветром уносит вверх. Ноги в ботинках судорожно дергаются, упираются в пол над мотором; полотно на поверхности крыльев странно вздувается, словно ветер уже проделал дыры снизу.

Чуть ниже пиков Монте-Леоне виднеются горы поменьше, похожие на источенные ветром развалины галерей полукруглого амфитеатра, в центре которого находится одинокий аэроплан.

Шавез вспоминает напутствие Полана: «Не снижайся! Держись на высоте!» Слова утратили смысл.

Основной трудностью будет перелет через дальний край амфитеатра, после того как самолет пересечет арену. Ветер подталкивает его все дальше в полукружие, в тупики галерей. Даже если удастся долететь туда, где горный хребет

расступается (к западу от Глаттхорна), то трудности на этом не кончатся. Его отнесло слишком далеко на восток, а чтобы пересечь Моншера, надо подняться еще на триста, а то и на все четыреста метров. Ветер прижимает его к земле, сдувает на восток, загоняет в угол — в ущелье Гондо, где разобьет вдребезги.

Он наверняка подумывал развернуть аэроплан к ветру и облететь вокруг арены, набирая высоту. Скорее всего, его ужаснула мысль о том, чтобы повернуть назад, пусть даже на мгновение. Казалось, что, однажды облетев амфитеатр расщелин и хребтов, он не сможет вырваться из круга и станет кружить, пока не кончится горючее. Нет, лучше уж выбраться в угол.

Он больше не отличает тишину от камня. Все его тело застыло и онемело от холода. Сознание противопоставляет скалам воздух и шум мотора под ногами. Аэроплан летит к Глаттхорну, как стрела к цели.

Поверхность горы похожа на шкуру гигантского мула, небрежно наброшенную на распорку в форме буквы А и вбитую между ее балками тем самым ветром, который напирает на аэроплан. На шкуре горы Шавез видит тень крыльев са-

молета, то отклоняющуюся вперед, то рывком приближающуюся, пересекая складки склонов. Он глядит вниз, на вздыбленные скалы. Впереди высятся пики. Шум мотора, отражаясь от камней и эхом отдаваясь от склонов, то усиливается, то стихает в такт движениям тени, а тень сотрясается от рева двигателя и стука падающих камней.

Здесь не может быть сознательных решений.

Здесь я не могу определить, как писать.

У Шавеза создается впечатление, что он вот-вот влетит в пасть зверя, чьи внутренности — глотка, желудок, кишечник и задний проход — созданы из камня. У зверя геологическое пищеварение. Зверь способен убивать, прежде чем оживет, и в смерти способен пожирать.

Здесь дело не в храбрости или в ее отсутствии; здесь люди делятся на тех, кто хочет жить, и на тех, кто не хочет. Кто есть кто, ясно по тому, как они кричат. Одни возносятся в крике, другие с криком умирают. Шавез набирает высоту, рискуя заглушить мотор. Надо во что бы то ни стало выбраться из челюстей зверя. Вверх.

Он попал в ущелье Гондо.

* * *

В Домодоссоле все ждут, постоянно телефонируют в Бриг. Фабрики и заводы стоят: рабочие глядят в небо. Старики забыли о сиесте. Молодежь собирается на поле, где должен приземлиться Шавез, чтобы заправиться перед полетом в Милан. Люди облепили все балконы и окна, откуда видна долина Оссола — зеленая, тихая, переходящая в хвойные леса, которые сменяются скалами. Все щурятся, смотрят в небо над Альпами. Ветра нет.

— С ним что-то случилось! Ему давно пора уже прилететь!

— Может, он повернул назад?

— Нет, он пересек Симплон.

— Откуда ты знаешь?

— Роберто сказал.

— А он как узнал?

— Двадцать минут назад синьор Луккини, секретарь мэра, пришел в «Гарибальди» и сказал, что Шавез пролетел над богадельней.

— Ох, слава Богу!

— Я с самого утра чувствую, что все плохо кончится. Я вчера сон видела.

— Ой, да ты влюбилась!

— Ах, хоть бы разок на него посмотреть!

— А мы все разом крикнем — Жо! Жо!

Тысячи людей в Домодоссоле замечают крошечную точку самолета над лесом. Аэроплан летит слишком низко. Наблюдатели стараются расслышать шум мотора, перекрикиваются, просят друг друга быть потише, но летательный аппарат еще далеко. Постепенно становится заметно, что он движется по направлению к Домодоссоле.

Американский автогонщик Леон Дюрей, приятель Шавеза, крест-накрест расстилает на траве посадочной площадки два отрезка белого полотна; мальчишки помогают ему закрепить ткань на земле.

Аэроплан летит, снижается так безмятежно, что все вокруг приходят в восторг.

Шавез первым в мире совершил трансальпийский перелет, что прежде считалось невозможным. Мы присутствуем при знаменательном событии. Поглядите, это же совсем просто! Он летит ровнее птицы, без усилий — так он и пролетел над Альпами. Оказывается, славы добиться легко. Подобная последовательность ощущений (пусть и по-разному выраженная) вызывает неожиданное волнение. Почему не все мы добиваемся желаемого?

Машина мэра приезжает на посадочное поле. Мэр в парадном мундире готовится к встрече великого авиатора. Он объявляет своим спутникам, что в честь великого достижения улицу города назовут именем летчика, покорившего горы.

С вокзала Домодоссолы в 14 часов 18 минут отправляется скорый поезд в Милан. Из окна вагона юноша замечает моноплан «Блерио» и дергает стоп-кран. Поезд резко останавливается. Юноша спрыгивает на рельсы и с громким криком бежит вдоль состава. Пассажиры выходят из вагонов. Юноша указывает на аэроплан, летящий над верхушками деревьев. Хорошо виден силуэт Шавеза. Юноша подбегает к паровозу, останавливается и размахивает руками, надеясь, что Шавез его заметит и помашет в ответ. Юноше хочется стать первым, кто приветствует героя. Но Шавез не машет в ответ. Почему? Над этим юноша и его приятели — авиаторы-любители — раздумывают долгие годы.

Голова Леони запрокинута, как у певицы на сцене. Глаза закатились, так что видны только белки, а не радужки. Рот открыт, горло припухшее. Она издает какой-то горловой звук, будто медленно произносит слово, но он его не расшифровывает.

Кто вскрикивает, кто лежит неподвижно, кто бьет кулаками, кто сворачивается в клубок, кто высовывает кончик языка между губ, кто сводит брови и напрягает рот, кто машет руками, кто растопыривает пальцы морской звездой — все поступают по-разному до тех пор, пока не приходят с ним к тому мигу, где все происходит одновременно и каждый присутствует там со всеми вместе.

Он ощущает каждый оргазм, как если бы он происходил одновременно с остальными. Все, что случилось или случится между каждым из них, все события, действия, причины и следствия, которые отделяют и будут отделять во времени женщину от женщины, окружают этот бесконечный миг, как окружность охватывает ограниченный ею круг. Все они там вместе. Невзирая на все свои различия, все они там вместе. Он присоединяется к ним.

Сексуальное влечение, как бы оно ни возникало и как бы его ни вызывали, независимо от его объективных условий и продолжительности, субъективно зафиксировано двумя отрезками времени: нашим началом и нашим концом. Анализ сексуального влечения показывает, что некоторые его составляющие имеют явно

выраженный ностальгический характер и относятся чуть ли не к моменту рождения; другие возникают в результате неистребимой жажды ощутить неведомый, далекий предел жизни, существующий только в ее отрицании, — смерть. В момент оргазма эти два отрезка времени — наше начало и наш конец — сливаются в один. Когда это происходит, все, что лежит между ними, то есть вся наша жизнь — становится одновременным и мгновенным. Так я объясняю себе главного героя моей книги.

Он лежал на спине рядом с Леони и, закрыв глаза, держал ее за руку.

Она больше не видела в его лице тайных обещаний. Она знала, что он обещал, и тайна заключалась в них обоих. Свободной рукой она коснулась его лица, кончиками двух пальцев обвела контур брови, скользнула по крылу носа, мимо уголка губ — рот дернулся — и дальше, к подбородку. Касания сделали ощущение близости естественнее, немного разрушили его загадку. Чувство близости сосредоточилось в кончиках пальцев, стало менее ошеломительным. Ей захотелось прижать ладонь к его носу. Она поднесла руку к своему носу, понюхала — и коснулась его лба. Она продолжала бы эту игру,

когда отдельные слова всплывали в ней со странным ощущением озарения (словно она знала, что за всем, что она видит или воображает, вспыхивает белоснежный свет, обрамляя ярко-белой каймой все увиденное), до тех пор, пока он не шевельнулся бы или не заговорил. Но ее прервал чей-то возглас на лестнице. Тут же на веранде под окном вскрикнула женщина. Чуть позже крики послышались отовсюду.

Если бы Леони принадлежала к другому сословию, она бы вела себя иначе: возможно, возмутилась бы, что ее покой нарушают громкие голоса постояльцев гостиницы. Но для Леони громкие голоса служили предупреждением: она с детства усвоила, что если кто-то повышает голос, надо исчезнуть или ждать выволочки. Она испугалась, что ее разыскивают, и высвободила руку из его пальцев.

Он открыл глаза.

— Меня ищут, — прошептала она. — Сейчас сюда придут.

— Никто сюда не придет, — сказал он и снова закрыл глаза.

В дверь постучали.

— В чем дело? — спросил он.

— Шавез разбился, — произнес мужской голос

из-за двери.

— Где?

— При посадке в Домодоссоле.

— Значит, он совершил перелет и разбился?

— Да, совсем рядом с посадочной площадкой. Он не пошел на снижение, а камнем упал на землю.

— Погиб?

— Нет. Сломал обе ноги, но других повреждений нет. Его увезли в больницу.

— Спасибо, что вы меня известили.

— Вы спуститесь к нам?

— Чуть позже. — Он повернулся к Леони. — Ну вот, видишь, это не тебя искали, — сказал он и рассмеялся.

— Почему ты смеешься? — спросила она. — Твой друг ранен.

— Я над нами смеюсь.

— Надо мной? Потому что я испугалась?

— Нет, над нами. Пока мы с тобой были здесь, он летел над Альпами.

— А вдруг он умрет?

— И я когда-нибудь умру, и ты тоже, такая кареглазая и белозубая. Время не ждет.

— И тебе его совсем не жалко?

— У меня не было времени.

— Я тебя не понимаю.

— Другого случая не представится.

— Тебе же сказали, что он разбился.

— Что ж, постараюсь утешить его невесту.

— Кто ты? — яростным шепотом спросила она, боясь услышать в ответ крик на всю гостиницу. Леони решила, что он — дьявол. Она резко отвернулась от него и, зарывшись лицом в подушку, спросила: — Почему ты со мной?

— Потому что ты такая, какая есть.

— Но почему ты выбрал меня среди всех остальных? Их же так много…

— И тебя, и многих других.

— А я… — Она приподняла голову, посмотрела на него и не стала продолжать. — Мне пора, — сказала она. — Меня будут искать. Пусти меня.

— Хорошо, — ответил он.

— Тебе правда друга не жалко?

— Ты говоришь о нем, но не его имеешь в виду.

— Я тебя не понимаю.

— Когда ты спрашиваешь о нем, то думаешь о себе.

— Нет… я видела, как он улетал…

— И я пришел за тобой.

Он положил руку ей на плечо. Леони всем те-

лом повернулась к нему и легла на спину, глядя ему в глаза. В его лице она видела все, что случилось с ними обоими после того, как он пришел к ней. Лицо его было другим — но не лицом дьявола.

Она понимала, что он не заберет ее с собой. Просить об этом не стоило, как не стоило и спрашивать, когда он уезжает — завтра или послезавтра. Это она выяснит у гостиничного носильщика. Можно было спросить, вернется ли он в Бриг, но она уже знала ответ. Шавез совершил трансальпийский перелет. Ни один авиатор не станет повторять его маршрут. Он сюда не вернется. Между его и ее жизнями стояло все, что она знала о мире.

— Я тебя завтра увижу?

— Да, я тебя разыщу.

Леони знала, что он лжет. Совершенная неожиданность случившегося не означала, что оно снова повторится. Особе искушенной и избалованной трудно было бы смириться с тем, что второй встречи не последует; такая женщина приняла бы ложь, не распознав ее. Для Леони не составило труда это понять. Ее возможности были ограничены, условия существования — неизменны. Мысль о необычном составляла ядро

ее жизни. Она была суеверна.

Она вздрогнула. Он накрыл ее простыней и заметил, что ее тело вытянуто почти в струнку, если не считать слегка приподнятого бедра. Некоторые женщины — особенно широкобедрые толстушки — изумительно красивы только в лежачем положении. Для них самая естественная поза — горизонтальная, как ландшафт. (Ландшафт бесконечен, потому что горизонт отступает с приближением путника.) Тела таких женщин для осязания безграничны и беспредельно протяженны, независимо от их размера. Его рука отправляется в путешествие. Темный треугольник волос на бледной коже недвусмысленно раскрывает спрятанную там тайну.

Прежде чем умыться, пока они еще пребывали в состоянии необычности, лежа в постели, ей хотелось сказать, что, если он попросит ее уехать с ним, она согласится. Таким образом она могла бы дать ему понять, что чувствовала: все, что он предполагал о ней, было верным; он знал о ней больше всех на свете и потому сейчас должен был узнать, что она любит его — любит, как родного сына. Но если бы она заговорила о том, чтобы уехать с ним, он бы солгал и неправильно ее понял. Надо придумать, как иначе

сказать ему об этом. Она боялась, что если она ему не скажет, то Эдуард убьет ее — или себя. Она верила, что если сказать ему сейчас, то это их убережет.

Вот как случилось, что юная крестьянская девушка, которая полтора часа назад стеснялась раздеться перед ним, внезапно откинула простыню, встала на кровать коленями, схватила его и прижала лицом к своему животу. Потом запрокинула голову и, глядя на голубые огоньки в стеклянных грушах лампочек люстры и обливаясь слезами, раз за разом выкрикивала его имя.

* * *

Вечером Дж. встретился с Уайменом. Обычно невозмутимый авиатор нервничал. Днем, после того как пришло известие о катастрофе, Уаймен решил отправиться в полет — приз оставался невыигранным. Он поднялся к Симплонскому перевалу, но ветер был слишком сильным, и Уаймен вернулся на посадочную площадку с полотняными ангарами.

— Ты когда взлетел?

— В три часа сорок три минуты, примерно через два часа после Жо.

— Ветер усилился?

— Внизу — ничуть, а как только я поднялся на тысячу метров, у моста Наполеона, тут и началось. В том месте всегда так: налетает неожиданно, в полную силу, и отбрасывает вбок, как воздушный поток за скорым поездом. Жо наверняка то же самое испытал, только я, в отличие от него, не люблю безрассудного риска.

— Зато успех достался ему. Может, риск безрассудным не был? Он же доказал, что риск не так уж велик.

— В больнице он сейчас это доказывает.

— Но он же совершил перелет!

— Знаешь, под порывами ветра об этом не думаешь. Только чувствуешь, как опоры трясутся и все трещит по швам.

— Допустим, он совершил перелет, спокойно приземлился, а потом в моторе обнаружились неполадки. В таком случае ты бы вернулся? Допустим, он успешно совершил перелет. Ты бы вернулся?

— Да. Я проверяю аэроплан, изучаю погодные условия. В полете необходимо хладнокровие, друг мой. Нужно быть уверенным в том, что можно, а чего нельзя сделать. А если сомневаешься в чем-то, то лучше этого не делать. Жо хотел стать героем, а это для летчика смертельная ошибка.

— Он доказал, что невозможное возможно. Разве это не достижение?

— Его храбрость неоспорима, но ведь это очень опасно…

— Ну, за это и полагается приз. Если бы никакой опасности не существовало…

— Нет, я не об опасностях авиации веду речь. Гораздо опаснее поощрять безрассудство и необдуманный риск. В полете, как и во всем остальном, успеха добиваешься лишь тогда, когда с уважением относишься к происходящему. Глупо ссать против ветра. Я не трус, но и не дурак.

— По-твоему, он дурак?

— Он герой, хотя сейчас наверняка считает себя дураком. Говорят, ходить он больше не сможет.

— Ты не жалеешь, что вернулся?

— Я завтра в Домодоссолу собираюсь, навещу его. Поедешь со мной? Мне приятель свой «Фиат» одолжил. Или ты все еще ждешь ответа своей горничной? Кстати, как ее зовут?

— Леони.

— Леоне? Так же, как гору?

— Нет, Леони. Пишется иначе.

— Какая разница? Все равно верить нельзя ни той, ни другой, — шутит Уаймен.

— Я поеду с тобой в Домодоссолу.

6

Сегодня утром, за бритьем, я вспомнил о мадридском приятеле, с которым мы пятнадцать лет не виделись. Разглядывая свое отражение в зеркале, я подумал, узнаем ли мы друг друга при случайной встрече. Я представил себе, как мы сталкиваемся с ним на мадридской улочке, и вообразил его ощущения. Мы с ним очень близкие друзья, но общаемся редко, и постоянно я о нем не думаю. Побрившись, я просмотрел утреннюю почту и обнаружил, что от него пришло длинное письмо.

Такие «совпадения» случаются часто, знакомы всем и помогают понять, как приблизительно и субъективно обычное восприятие времени. Часы и календари — несовершенные изобретения. Наш разум устроен так, что не позволяет осознать истинную природу времени. Мы ощущаем его загадочность, способны нащупать его смутные очертания, будто исследуя неизвестный объект в темноте, но точно определить не в состоянии.

Мое воображение заставляет меня писать эту книгу сообразно существующим в моем сознании смутным представлениям о некоторых аспектах

времени. Я пишу эту книгу в темноте.

Положение женщин

В то время роль женщин в обществе отличалась от роли мужчин. Положение мужчины определялось потенциалом воплощаемой им власти. Внушительный потенциал вызывал безмерное уважение, а ничтожным можно было пренебречь. Многие были вообще лишены всякой значимости. Потенциальная сфера влияния касалась любой из областей — нравственной, материальной, психологической, экономической, общественной, сексуальной, — но ее предмет всегда находился извне. Положение, занимаемое мужчиной, определяло его способность сделать что-либо для тебя или с тобой.

Положение женщины, напротив, выражало ее собственное отношение к себе, тем самым определяя, что с ней можно сделать, а чего нельзя. Все женщины занимали какое-то положение, которое проявлялось в жестах, голосе, мнениях, высказываниях, одежде, вкусе и обстановке. Любой поступок женщины заявлял о ее положении.

С рождения женщине отводилось определенное, четко ограниченное место во владениях мужчины. Положение женщины создавалось

путем ее умения приспосабливаться к существованию под опекой в ограниченном пространстве. Женщина украшала отведенное ей пространство своим присутствием не ради того, чтобы сделать его приемлемым для себя, а в надежде завлечь туда других.

Положение женщины было результатом ее раздвоения, обращения ее усилий внутрь себя. Она была собой только в полном одиночестве; на людях женщина всегда проецировала созданный ею образ. Даже проходя по дому или рыдая на похоронах отца, она не могла не представлять себя идущей или рыдающей. С самого раннего детства ее приучали тщательно и постоянно оценивать себя, поэтому она воспринимала внутреннего инспектора и внутренний объект оценки как две необходимые и раздельные составные части своей личности, своей женской сущности.

Женщина обязана была оценивать себя и свои поступки, поскольку для ее внутреннего развития особое значение имело то, как ее воспринимают окружающие, и в частности — мужчины. Ее ощущение себя подменялось ощущением того, как ее оценивают другие. Ее жизнь и впечатления приобретали смысл и значимость лишь в том случае, если женщину удовлетворяло произведенное

на других впечатление. Ей требовалось утвердиться в чужой жизни для того, чтобы прожить свою.

Отношение мужчин к женщинам вырабатывалось на основе предварительных оценок. Обращение мужчины с женщиной зависело от произведенного ею впечатления. Для того чтобы в какой-то мере регулировать этот процесс, женщинам необходимо было его сдержать и обособить, поэтому отношение внутреннего инспектора к объекту оценки демонстрировало окружающим, как следует относиться к самой женщине. Таким образом, положение женщины основывалось на ее показательном обращении с самой собой. Любой ее поступок, ради чего бы он ни совершался, одновременно служил и указанием, как с ней следует обращаться.

Швыряя стакан на пол, женщина давала понять, как она относится к выражению своего гнева и как к этому следует относиться остальным. Если бы то же самое сделал мужчина, то поступок считался бы простым проявлением гнева. Выпекая вкусный хлеб, женщина демонстрировала свое отношение к своим способностям пекаря и, соответственно, указание на то, как их должны воспринимать остальные. Мужчина же просто

пек вкусный хлеб.

В мире женщины, полном условностей, создаваемых ее положением, ни один поступок не обладал честностью и прямотой; в каждом действии сквозила неопределенность, соответствующая неоднозначности личности, разделенной на инспектора и объект оценки. Так называемое двуличие женщин возникло в результате неделимого господства мужчин.

Положение женщины давало понять окружающим, какого отношения к себе она ожидает и как именно с ней следует обращаться сообразно и соответственно ее обращению с собой. Демонстрировать это приходилось непрерывно, потому что положение для этого и предназначалось. Впрочем, когда светские нормы или логика развития событий требовали от женщины поведения, противоречащего демонстрируемому ею примеру, ее объявляли кокеткой. Светские условности предполагали, что женщина должна возмущенно отклонить какое-то предложение, сделанное мужчиной.

Она гневно отворачивается, но в то же время теребит ожерелье, которое трепещет и скользит по ее груди, будто нежный взгляд украдкой.

В одиночестве своей спальни женщина смот-

рит на себя в зеркало, показывает себе язык, смеется. Или плачет.

Мужчины влюблялись в образ, создаваемый положением женщины. Внимание и забота, которыми женщина окружала себя, завораживали зависимую часть личности мужчины, и он мечтал о том, что и его удостоят такого же внимания. Он представлял себе, что его тело сможет заместить ее в отведенном ей пространстве. Эта тема постоянно звучала в романтических стихах о неразделенной любви. Властная часть личности мужчины мечтала об обладании — не телом женщины (это называли вожделением), а изменчивой загадкой ее положения.

Положение влюбленной женщины было весьма красноречиво. То, как она смотрела, двигалась, разговаривала или здоровалась с возлюбленным, само по себе являлось поэзией. Это было заметно не только ее возлюбленному, но и беспристрастному наблюдателю. Почему? Потому что ее внутренний инспектор и объект оценки на какое-то время сливались воедино, и это необычное единство приводило к возникновению абсолютной сосредоточенности. Инспектор прекращал заниматься оценкой. Влюбленная женщина относилась к себе с той же необуздан-

ностью, какой ожидала от своего возлюбленного. Она демонстрировала, как отказаться от демонстрации примера. Только в такие мгновения она ощущала свою целостность.

Состояние влюбленности обычно быстро проходило — за исключением случаев неразделенной любви, — хотя романтическая проза и поэзия девятнадцатого века пытаются убедить нас в обратном. Половое влечение вряд ли претерпело существенные изменения за всю историю человечества, но влюбленность всегда описывают с учетом культурных требований и общественных условностей конкретной эпохи.

В девятнадцатом веке для представителей европейского среднего класса влюбленность характеризовалась ощущением чрезвычайной неопределенности в постоянном, устойчивом мире. Поступь прогресса этого состояния не касалась. Характерная для него неопределенность возникала из-за того, что возлюбленную полагали абсолютно свободной и ничем не стесненной. Желаниям возлюбленной нельзя было верить. Ее решения были противоречивы. В каждом жесте сквозил новый, неожиданный смысл. В задуманном уверялись только тогда, когда оно осуществлялось. Сомнения стали разновидно-

стью чувственного возбуждения: влюбленный предлагал себя возлюбленной при полной свободе выбора. Точнее, так представлялось влюбленным. В действительности же, приписывая возлюбленной подобную свободу выбора, ее намеренно идеализировали и подчеркивали ее исключительность.

Каждый влюбленный полагал, что является добровольным объектом неограниченной свободы выбора возлюбленной и в то же время сам обладает подобной свободой, которую безусловное обожание наконец-то лишило ограничений. Таким образом они убеждали себя, что брак означал полное и окончательное освобождение. Однако как только женщина приходила к такому убеждению (часто задолго до официальной помолвки), она утрачивала свою сосредоточенность и целостность, рассматривая и оценивая себя как нареченная невеста, будущая жена и мать.

Для женщины состояние влюбленности было мнимым выходом из-под власти господина, а на самом деле — переходом из-под власти одного мужчины к другому: жених занимал место отца или любовник занимал место мужа.

Внутренний инспектор быстро отождествлялся с новым собственником, и женщина начинала

оценивать себя с его точки зрения. «Что сказал бы Морис, — спрашивала она себя, — если его жена (я) поступила бы так-то и так-то?» «Погляди, какая у Мориса жена», — говорила она зеркалу. Внутренний инспектор выражал интересы нового собственника (разумеется, здесь, как и в любых отношениях между собственником и управляющим, не обходилось без обмана и мошенничества).

Внутренний объект оценки служил игрушкой господина и управляющего, предметом их гордости, марионеткой для плотских утех. Внутренний инспектор управлял марионеткой на званых обедах и приемах, заставляя ее вести себя как подобает примерной жене, а при необходимости укладывал ее в постель и велел ублажать повелителя. Возможно, беременность и последующее рождение ребенка временно объединяли внутреннего инспектора и объект оценки, но родоразрешение, окруженное страхами и суевериями, воспринималось женщинами со смятенным ужасом, как наказание за двуличие. Когда женщина наконец-то брала новорожденного на руки, то превращалась в доверенное лицо любящей матери ребенка своего супруга.

Надеюсь, все вышеизложенное несколько

прояснит смысл дальнейшего повествования, в частности утверждение Дж. об одинокости Камиллы (то есть об отсутствии у нее внутреннего инспектора).

* * *

«Карла Маркса отправили на чердак».

Джованни Джолитти, 1911 г.

Дж. возвращается в Италию впервые после того, как в 1908 году умер его отец. Ливорнские стряпчие наконец-то разобрались с наследством; теперь Джи — владелец трех фабрик, двух грузовых судов и пятнадцати особняков в центре города.

Сумеречная дымка над Лаго-Маджоре превращает местность в театральные декорации. Острова на озере будто нарисованы. На холме за Стрезой красуются особняки, построенные в девятнадцатом веке. Их окна и двери расписаны виноградными лозами, апельсинами и птицами. Уаймена и Дж. пригласили на ужин в один из особняков, близ которого высится сторожевая башня — плохая копия ренессансной.

— Почему он разбился?

Несмотря на сотни свидетелей катастрофы, никто не знает, что именно произошло. Предлагаются самые невероятные объяснения, и за ужином гости обмениваются своими предположениями.

— Шавез не потерял управления и вполне мог совершить посадку, однако из-за того, что в полете аэроплан крепко потрепало ветром, одно из крыльев не выдержало и сложилось за миг до того, как шасси коснулись земли. Нос самолета накренился, и мотор врезался в землю.

Эту теорию выдвигает мсье Морис Эннекен, сотрудник компании «Пежо», инженер по образованию. К его мнению прислушиваются еще и потому, что он был неофициальным представителем «Пежо» на соревновании авиаторов. Время от времени он прерывается на середине предложения, чтобы привлечь внимание присутствующих, и задумчиво ковыряет еду в тарелке. Он сопровождает свою речь скупыми движениями широких ладоней, будто распахивает и захлопывает деревянные створки дверей, выпуская наружу слова и преграждая дорогу возможному вторжению в обитель его доводов.

— Нет, безупречная посадка была невозможна. Шавез недооценил скорость снижения и зашел

на посадку со скоростью примерно девяносто километров в час вместо шестидесяти. А катастрофа произошла не потому, что сложилось одно крыло, а из-за того, что оба крыла поднялись вверх, как крылья бабочки перед взлетом, — заявляет владелец особняка, директор миланской компании «Пирелли», производящей эластичную резину и шины.

Он регулярно делает щедрые пожертвования Миланскому аэроклубу и, как и лорд Нортклифф, считает, что за авиацией — большое будущее. Хорошо поставленным голосом он вкрадчиво убеждает слушателей в логичности своих доводов. О его здравомыслии свидетельствуют также расположение особняка, расписные потолки, ужин при свете китайских фонариков на площадке сторожевой башни, бродящие по саду фламинго и открытие новой фабрики. Он сотрудничает с профсоюзами, заботится о благе рабочих и часто напоминает агрессивно настроенным дельцам слова великого итальянского премьер-министра Джованни Джолитти:

«Непрерывно растущее народное движение невозможно остановить; оно характерно для всех развитых стран и основано на принципах равенства. Глубоко заблуждается тот, кто считает,

будто народ можно удержать от завоевания его доли политического и экономического влияния. Конституционным партиям следует установить прочные связи с народными массами для укрепления консервативных сил, от которых зависит величие и благосостояние страны, а не склоняться перед могучим ураганом, грозящим уничтожить успехи Италии».

Дядюшка владельца особняка в свое время вопил на всю миланскую гостиницу: «Надо объявить военное положение и ввести войска!», но его племянник совершенно с этим не согласен. Гораздо проще поднять трубку телефона и отдать несколько негромких распоряжений.

Хозяйку особняка интересует, не легче ли было посадить самолет на озеро.

— Во время трансальпийского перелета авиатор отморозил пальцы и не смог управлять аэропланом, — предполагает графиня Р., известная покровительница искусств.

Она поднимает руку и складывает изящные пальцы в щепоть жестом танцовщицы, изображающей бутон цветка (таким же жестом ребенок пытается достать что-то из банки). Произнеся слово «отморозил», она раскрывает ладонь и растопыривает пальцы в стороны. Другой рукой она

проводит над якобы замерзшей кистью, показывая нервными касаниями, как, должно быть, холодны обледенелые пальцы.

— Какой глубокий ум скрывают эти благородные седины! — шепчет один из гостей своей юной спутнице.

— К Рождеству она забудет о Джино, а седины вновь станут чернее воронова крыла, как пять лет назад, — отвечает девушка.

— А почему никто мсье Шавеза не спросит? — произносит тридцатилетняя женщина с хрипотцой, будто сдерживая демонический смешок. — И потом, в управлении аэропланом задействованы ножные педали.

— Кто это?

— Мадам Эннекен. Неужели вас не представили?

— Как ее зовут?

— Камилла.

— После ущелья Гондо Жо ничего не помнит.

— Ах, бедняжка!

Хозяйка особняка протягивает руку с поблескивающим на ней золотым браслетом — копией этрусского украшения — и подзывает Уаймена (его пригласили потому, что он дружен с Морисом Эннекеном).

— Мсье Уаймен, — говорит она. — Вы — авиатор, наш почетный гость. По вашему мнению, что произошло?

Уаймен напряженно улыбается и сквозь зубы поясняет по-английски:

— Аэроплан — очень ненадежная конструкция. Крылья сделаны из холста, натянутого на деревянные распорки.

— От перенапряжения и нервного возбуждения Шавез решил, что все худшее позади, и в последний момент совершил роковую ошибку, — заявляет Гарри Шувей, бельгийский предприниматель.

Его соседка, улыбаясь, переглядывается с Камиллой Эннекен и произносит:

— Гарри, как-то это неубедительно.

Ее тон ясно указывает, что она — любовница Шувея.

— А это кто?

— Матильда. Матильда ле Дирезон.

— Это потому, что у вас воображение хромает, — отвечает бельгиец. — Двадцатичетырехлетний парень совершил первый в мире трансальпийский перелет! Разумеется, он вообразил, что бессмертен и что весь мир лежит у его ног, — смеется он и добавляет: — Нет ничего

опаснее, чем уверенность в успехе.

— Но он и вправду обессмертил свое имя, — возражает мадам Эннекен. — О нем напишут в учебниках.

Если бы не роскошный наряд, ее можно было бы принять за школьную учительницу. В резких чертах лица и угловатой фигуре сквозит намек на определенную, хотя и ограниченную независимость мышления.

— Время покажет, способен ли он на дальнейшие подвиги, — замечает ее муж, произнося слово «подвиги» с бессознательным завистливым снисхождением. — Не отрицаю, его достижение великолепно, но от будущего можно ожидать и более примечательных свершений. Разве я не прав? — обращается он к владельцу особняка, уверенный в его согласии.

— Лет через десять кто-нибудь пересечет Атлантический океан, — кивает хозяин.

— А потом облетит вокруг земного шара, — вздыхает его жена.

— Интересно, кто первым отправится на Луну? — спрашивает мадам Эннекен.

Мсье Эннекен покровительственно улыбается своей странной жене и с гордостью заявляет:

— Камилла — такая мечтательница!

Меня она занимает не меньше, чем Дж. Я опишу ее, как вижу. Она худа. Кости выпирают из-под кожи так, что создается впечатление девочки, одетой в платье, которое ей слишком мало. Движения скрупулезны, будто и они ей малы, и ей приходится следить за каждым жестом. Лицо сияет, взгляд мягкий и прозрачный, как чистейшая вода, в которой отражается мех.

Она замечает, что Дж. смотрит на нее. Обычно мужчины, глядя на привлекательную незнакомку, начинают в своем воображении обольщать и раздевать ее; они представляют ее в определенных позах и с определенным выражением лица; они уже мечтают о ней. Когда она встречается с ними взглядом, происходит следующее: либо мужчина продолжает бесстыдно глазеть на нее, потому что ее существование не нарушает его мечтаний, либо в откровенном взгляде мелькнет стыдливый огонек, который она либо поощрит, либо с пренебрежением отвергнет.

Во взгляде Дж. нет ни стеснения, ни дерзости. В воображении он к ней и пальцем не притронулся. Его цель — предстать перед ней таким, какой он есть; все остальное неважно. Он словно стоит перед ней обнаженным, и она это осознает. Глядящий на нее мужчина совершен-

но уверен, что ему нечего скрывать, что ему не нужны ни обман, ни покровы. Как ей отреагировать на подобное безрассудство? Ведь выбирать приходится не между поощрением и пренебрежением. Если она опустит глаза или отведет взгляд, то признает, что оценила его дерзновенную смелость; если она отвернется, то признает, что видела его таким, какой он есть (она намерена запомнить и сберечь память о его великолепном безрассудстве). Наилучшим выходом представляется демонстративно встретить его взгляд, притворяясь, что она ничего не замечает. Так она и поступает. Чем дольше они глядят друг на друга, тем яснее она осознает, что все его внимание, исключительно и безоговорочно, сосредоточено на ней. Они сидят на званом ужине в нескольких метрах друг от друга, она не знает, как его зовут, их окружают люди, однако же простой обмен взглядами превращается в первое тайное свидание.

— Помнишь, утром ты процитировала прекрасные строки Малларме? — обращается мсье Эннекен к жене.

— Танцовщица не женщина, которая танцует, — неторопливо произносит Камилла. —

Она не женщина, и она не танцует[10].

Бельгиец задумчиво вращает бокал вина в руке.

— Ах, как прекрасно сказано! — вздыхает графиня. — И верно. Великий исполнитель — не мужчина и не женщина; он — Бог!

— По-моему, Малларме хотел уничтожить язык, — говорит мсье Эннекен. — Он пытался отрицать значения слов, но его месть несколько затянулась.

— Месть? Простите, я не совсем вас понял, — говорит владелец особняка. Он глядит на силуэты пальм у озера и размышляет, не обзавестись ли ему электрическим генератором, чтобы по ночам освещать дом и сад.

— Он хотел отомстить публике за то, что его не оценили по достоинству.

— Ах, это прекрасно, прекрасно! — повторяет графиня. — Танцовщица не танцовщица, певица не певица… Это так верно! Иногда я сама не понимаю, кто я.

— У меня в Брюсселе есть пара приятелей, которые с вами не согласятся. Видите ли, они, как бы это сказать, весьма близко знакомы с несколь-

---

[10] Сноски: 10

С. Малларме, эссе «Балет». — *Примеч. пер.*

ми танцовщицами.

Матильда смеется, и бельгиец шутливо склоняет голову, будто в знак благодарности. (Его влияние очень велико, а мощный зад припечатывает все, что внушает ему сомнения в своей правоте.)

— Морис, вы не признаете гениальность Малларме? — Хозяину особняка нравится, когда его гости ведут разговоры о поэзии.

— Не мне об этом судить, — отвечает мсье Эннекен. — Малларме намеренно затемняет смысл, а я предпочитаю ясность. Для инженера это символ веры. Механизмы любят четкость.

— Гений Малларме бессмертен, — говорит мадам Эннекен. — Он опередил свое время.

— Если бы мы жили тысячу лет, — замечает Дж., — то каждого из нас хотя бы однажды объявили гениальным — не в силу возраста, а потому, что даже незначительные таланты и способности когда-нибудь да совпали бы с тем, что в конкретный момент времени считается признаком гениальности.

— Вы не верите в гениальность?! — ошеломленно восклицает графиня.

— Нет, не верю. По-моему, это выдумка.

Гости встают из-за стола, подходят к парапету,

глядят на сад, залитый лунным светом. В темноте белеют смутные, извилистые очертания статуи, установленной так, что она органично вписывается в геометрически разбитый сад — прямые дорожки, каменные ступени и многоугольники фонтанов. На островах мерцают редкие огни. Все неподвижно, как прошлое.

Впрочем, такое историческое безмолвие долго продолжаться не может.

Дж. поворачивается к мсье Эннекену.

— Я не знаток поэзии, но неужели творчество Малларме, великолепный образчик которого процитировала ваша супруга, и в самом деле так запутанно? Некоторые переживания описать невозможно, но они существуют. К примеру, сможете ли вы описать интонации и голос вашей жены? Ведь вам они прекрасно знакомы, да и сам я их теперь где угодно узнаю.

Мадам Эннекен наблюдает за тем, как ее муж отреагирует на заявление странного молодого человека, который уделяет ей столько внимания.

— Вот только что мы обсуждали загадку катастрофы Шавеза, — продолжает Джи. — Падение аэроплана видели сотни людей, однако никто не может описать, что именно произошло. Почему? Потому что все случилось неожиданно,

а неожиданное описанию не поддается. — Он смотрит на Камиллу и решает, что будет звать ее Камелия. — Малларме говорит, что танец преображает женщину. Прежние слова к ней больше не применимы. Возможно, ее следует даже называть другим именем.

Мсье Эннекен встает между своей женой и молодым человеком. Он худощав, но ляжки у него толстые.

— Женщины остаются женщинами, что бы они ни делали: танцевали, наряжались, принимали гостей, растили детей или о нас заботились, — заявляет он, выставляя перед собой ладони, словно запрещая посторонним вход на свою территорию. — За это мы им благодарны.

— Наверное, нашим прекрасным дамам здесь зябко, — говорит хозяин. — С озера холодом потянуло. Давайте пойдем в дом.

Разговор заходит о влечении и магнетизме: понятия предполагают существование некой силы, действующей на данные тела, однако при этом собеседники забывают, что сами тела меняются и перестают быть таковыми — их изменяет данность.

Дело не в том, что ты видишь ее иначе, а в том,

что она обрамляет собой иной мир. Форма ее носа не меняется. Очертания ее фигуры остаются неизменными, но внутри постоянного контура для тебя все выглядит другим. Она похожа на остров, береговая линия которого соответствует изображению на карте, но теперь на этом острове обитаешь ты; он тебя окружает. Шум моря на ее берегах — если не принимать в расчет засилье рассудка — единственное, чему можно противиться.

Песок, присыпающий синяки, прохладен и шелков на ощупь. Песок, насыпанный в рану, раздражает и вызывает воспаление; каждая песчинка усиливает боль.

Этой абстрактной метафорой я отстраняюсь от моего неповторимого восприятия ее.

Кончик каждого пальца с обгрызенным ногтем так же выразителен, как смотрящий на меня глаз. Я обвожу каждый палец от самого кончика по двум фалангам до места их соединения с ладонью. Кисть руки выглядит до странности тонкой и слабой, отброшенной, как забракованная вещь. Я могу представить ее иначе. Она может меня приласкать. Заколотить меня по спине. Стать выменем с пятью сосками у моего рта, чтобы я обсосал каждый палец. Впрочем, все это неважно.

Я случайно обратил внимание на руку — на ее месте могла оказаться любая другая часть ее тела. Локоть. Острый, кость вжимается в натянутую кожу — побелевшую от напряжения, обескровленную. Могу я представить, что сделает локоть? Ничего особенного. Тем не менее я воспринимаю его так же, как и ее руку. Локоть точно так же обещает и выполняет обещанное. Я выделяю часть за частью ее тело, скольжу по ним глазами, миг за мигом, не отрываясь. Глаза движутся и читают ее с невероятной скоростью. Новые впечатления от каждой части дополняют мое восприятие ее во всей целостности и заставляют эту целостность пульсировать, как бьющееся сердце. Как мое собственное сердце.

Что она обещает? Любовь в будущем? Но это обещание пока не выполнено. Наша физическая близость довершила бы — и закончила — то, что между нами уже произошло. Когда что-то описываешь и называешь, то отделяешь это от себя. В какой-то степени. Совокупление называет случившееся на единственном подходящем для этого языке. (Отделить половое влечение от любви можно, только если ничего не произошло.) Физическая близость — действие одновременно упреждающее и обращенное в прошлое,

а потому имеет особое значение.

Я касаюсь ее взглядом — почти как рукой, но не совсем. Если бы я коснулся ее — кожи, поверхности тела, — то касание сопровождалось бы противоречивым ощущением, будто то, чего я касаюсь, обволакивает меня, заключает в себе; что эта внешняя поверхность (ее кожа, с разнообразными порами, различной степени мягкости и теплоты, по-разному пахнущая) является в то же время (в другом режиме восприятия) внутренней поверхностью. Это не образное высказывание — я говорю об ощущении. Прикосновение снаружи позволяет мне почувствовать себя внутри.

Я гляжу на ее пальцы, словно пытаюсь переселиться в них, стать содержанием их формы. Я и ее пальцы. Нелепо. Абсурдно. Впрочем, что есть абсурд? Несовпадение двух систем мышления. Я говорю о ее пальцах, о плоти и костях другого человека, но я говорю и о своем воображении. Мое воображение неотделимо от моего тела; а ее воображение — неотделимо от нее.

Свет падает на нее и раскрывает ее, обнажает, как свет, падающий на города и океаны. Факты ее материального бытия — мировые события; пространство, в котором она движется — бесконеч-

ность Вселенной; не потому, что я не обращаю внимания ни на что более, кроме нее, а потому, что я готов отказаться от всего, что не она, ради всего того, что есть она.

То, как она ступает, точная длина ее спины, интонации ее хриплого голоса (он сказал, что где угодно их узнает) — все и каждая из ее черт представляются мне знамением, чудом. Тому, что она предлагает, нет конца; оно бесконечно. Я не обманываюсь. Я жажду только ее. Ценность всего, что с ней связано, важность каждого ее движения, власть того, что отличает ее от прочих женщин, — все это для нас обоих определяется тем, от чего я отказываюсь ради нее. Я отказываюсь от мира. Она приобретет ценность мира; в ней будет заключено — для нее и для меня — все внешнее, включая меня самого. Она охватит меня собой. И все же я буду свободен, потому что сам выберу остаться в ней, а не здесь, в этом мире и в этой жизни, которых я не выбирал и от которых отказываюсь ради нее.

«Je t'aime, Camélia, comment je t'aime»[11]. Вот что он скажет.

---

[11] Сноски: 11
Я люблю тебя, Камелия, как я тебя люблю (*фр.*).

Гости вошли в большой зал, обставленный тяжелой мебелью темного дерева. Светильники отбрасывали четкие яркие круги, как лампы, заливающие светом столы государственных деятелей при подписании важных международных договоров. Судя по всему, миланские политики и предприниматели собирались в этом зале, чтобы обсудить свои замыслы без помех, с комфортом, но без изысков. Строгое убранство зала больше пристало кабинету министра в здании парламента. Ничто в нем (кроме обнаженных женских рук и плеч) не напоминало о фламинго в саду. Над массивными двустворчатыми дверями висел портрет Джолитти. Мадам Эннекен и ее подруга, Матильда ле Дирезон, о чем-то заговорщицки беседовали, будто сестры, которые все еще делятся секретами, хотя скрывать их больше не от кого — родители давно умерли.

В коридоре мадам Эннекен прошла мимо огромного зеркала в форме солнца, представила, будто это он видит пелерину на ее плечах и челку на лбу, и ей понравилось глядеть на себя его глазами.

В зале она сравнила его с мужем. Они разнились между собой. Мсье Эннекен выглядел солиднее, сильнее. Он походил на отца; дома,

при детях, она называла его «папа». Он был человеком светским и понимал, как устроен мир, — это понимание распространялось и на его осмотрительное обхождение с супругой. Зато тот, второй, плохо говорящий по-французски и не разбирающийся в поэзии, мог объяснить Малларме, которого она обожала, потому что его поэзия была необъяснима. Тот, второй, был безрассуден и неосторожен. Коль скоро они так разнятся, она позволила себе улыбнуться ему. Уклончиво, в отстраненной манере и памятуя, что муж готов в любой момент прийти к ней на помощь и спасти от последствий невинных детских шалостей, она решила пофлиртовать с приятелем американского авиатора, притвориться, что между ними существует связь, которой на самом деле не было.

Она спросила его о Шавезе. Он ответил, что встречался с летчиком всего несколько раз и Шавез произвел на него впечатление человека нервного и отчаянного. Свой ответ Дж. адресовал в равной мере и мсье Эннекену, и его супруге, словно догадываясь о проведенном ею сравнении и его результатах. Впрочем, сейчас, когда он уже объявил ей о своем интересе, его вполне устраивала представившаяся им обоим возможность

сосредоточиться на ее муже, собственнике.

Они сидели у низкого столика с огромной скульптурой лебедя из розового стекла, установленной на вращающейся серебряной подставке, — не произведение искусства, не игрушка, а украшение, свидетельствующее о богатстве. Мадам Эннекен, глядя в глаза Дж., коснулась лебединой шеи и негромко продекламировала знаменитые строки Малларме:

> *– И Лебедь прежних дней, в порыве гордой муки*
>
> *Он знает, что ему не взвиться, не запеть…*[12]

Ее рука, лежащая на ярко-розовом стекле, приобрела молочный цвет.

— А дальше? — ободрительно произнес мсье Эннекен, заметивший, что жену заинтересовал приятель американского авиатора. Хотя сам мсье Эннекен Малларме не любил, ему хотелось продемонстрировать свою терпимость.

— Я прочту, но не пытайтесь понять слова, просто вслушивайтесь в звуки, — сказала мадам Эннекен и прочла весь сонет.

---

[12] Сноски: 12
С. Малларме, «Лебедь». — *Примеч. пер.*

Ее декламация превратила строки, повествующие о тоске и утрате, в призыв, исполненный глубокого томления. Она произносила слова об упущенных возможностях, пользуясь случаем вложить в их звучание всю свою независимость и все то, что не учитывал, но оберегал муж. Она решила, что похожа на дерево, растущее в хозяйском саду, однако листья и ветви колышутся под ветром независимо от воли владельца.

Мсье Эннекен, откинувшись в кресле и с улыбкой разглядывая расписанный гирляндами потолок, внимал супруге и удовлетворенно думал о том, что одухотворенность сделала ее прекрасной матерью, но в то же время стала причиной замкнутости и излишней скромности по отношению к нему. Ткань костюма морщилась под напором толстых ляжек и живота. «В ней нет страсти, — решил он, — зато она навсегда сохранит наивную невинность».

Дж. не посмотрел в ее сторону.

— У вас голос поэта, — объявил хозяин особняка и повторил последние два слова по-итальянски, чтобы придать их звучанию бóльшую поэтичность.

Графиня поспешно начала что-то рассказывать гостям.

Дж. наклонился и подтолкнул стеклянного лебедя. Серебряная подставка завертелась. Движение превратило лебедя в подобие графина с высоким горлом, наполненного розовым вином.

— Лебедь пьян, — произнес Дж. и обернулся к мсье Эннекену. — Знаете, я часто замечаю одну вещь, но не совсем понимаю ее. По-моему, вы сможете мне ее объяснить.

— Я постараюсь.

— Вы бывали на ярмарках?

— На торговых ярмарках?

— Нет, на уличных. Там, где тиры, синематограф, блошиный цирк, карусели, качели…

— Ну, я их видел, конечно же.

— А я часто по ним хожу. Меня они завораживают.

— Чем же? — вмешалась мадам Эннекен.

— Там много игр для взрослых. Я люблю наблюдать за людьми, увлеченными игрой.

— На уличные ярмарки в основном приходят невежи, всякий сброд, — заметил мсье Эннекен.

— Вы абсолютно правы, — кивнул Джи. — Наверняка вам хватило одного посещения ярмарки, чтобы прийти к такому выводу. Так вот, я хотел спросить… Как по-вашему, полет по кругу,

как на некоторых каруселях, — может ли он, по чисто физиологическим причинам, временно повлиять на работу мозга?

— Да, он вызывает головокружение…

— Нет, я немного о другом. Может ли от этого временно измениться характер человека?

— Будьте любезны объяснить поподробнее, — попросил мсье Эннекен.

— На ярмарках есть такие карусели с качелями… Вы, наверное, знаете: сиденья подвешены на цепях, а когда карусель…

— Да-да, под действием центробежной силы сиденья поднимаются над землей. Я видел такие аттракционы. Они называются «цепочная карусель».

— Великолепно! Посетитель может в какой-то мере регулировать движение сиденья, направить его несколько в сторону — это зависит от того, насколько отклоняться в полете, как высоко поднимать ноги, отталкиваться плечами и с какой стороны натягивать цепи. В общем, любой ребенок на качелях на это способен.

— Да, я знаю, — сказала мадам Эннекен.

— Как только карусель начинает движение, посетители затевают странную игру — они раскачиваются так, чтобы дотянуться до соседнего

сиденья, хватают соседа за руку и потом кружатся вместе, держась за цепи друг друга. Сделать это очень трудно, потому что часто коснуться соседа можно только кончиками пальцев…

— Сиденья расположены так, чтобы они не сталкивались, — вмешался мсье Эннекен. — Такие игры очень опасны.

— Разумеется. Но, видите ли, люди на цепочной карусели преображаются. Как только карусель запускают и сиденья приподнимаются над землей, выражения лиц посетителей меняются. Люди отрываются от земли, запрокидывают головы и поднимают ноги к небу. По-моему, они даже музыки не слышат. Все пытаются схватить соседа за руку, восторженно вскрикивают, когда карусель разгоняется, и чем быстрее она кружит, тем больше увлекает их игра. Они поднимаются и опускаются, сталкиваются и разлетаются. Те, кто смог ухватиться друг за друга, взлетают выше остальных. Я много раз наблюдал, как преображаются абсолютно все посетители: тихони превращаются в храбрецов, увальни обретают грацию. Но едва карусель останавливается, все становятся прежними. Ноги касаются земли, на лицах появляется привычное унылое выражение, возвращаются подозрительность

и замкнутость. Трудно поверить, что эти люди совсем недавно безмятежно катались на карусели, беззаботно взлетали в воздух.

Мадам Эннекен раскрутила лебедя на серебряной подставке.

— Вот мне и стало интересно, может ли центробежная сила в сочетании с силой земного притяжения повлиять на нервную систему, вызывая такие изменения, — заключил Джи.

— Скорее всего, дело в низких интеллектуальных способностях тех, кто гуляет по ярмаркам, — заметил мсье Эннекен. — Они совсем как дети.

— По-вашему, на нас карусель так не подействует?

— Вряд ли.

— А желание подняться в небо тоже по-детски наивно?! Ведь человек с давних пор об этом мечтал! — воскликнула мадам Эннекен.

— Дорогая, боюсь, твое воображение чересчур разыгралось, — сказал мсье Эннекен. — Ярмарочные развлечения не имеют никакого отношения к авиации. Вот и мсье Уаймен подтвердит.

Беседа оборвалась. Кто-то упомянул портрет Джолитти. Хозяин особняка рассмеялся и заметил, что художник наверняка не разделял политических убеждений премьер-министра.

— Знаете, каким прозвищем наградили Джолитти его противники? Мортаделла, болонская колбаса — потому что он наполовину осел, а наполовину свинья.

— И этим человеком вы восхищаетесь? — поинтересовался бельгиец.

— В Болонье свинья — ласковое прозвище, — сообщила Матильда ле Дирезон.

— Да, я им восхищаюсь, — подтвердил хозяин. — Джолитти создал современную Италию. Он часто бывал у меня в гостях, в этом самом зале. Он и рассказал мне историю своего портрета — в тех же выражениях — и объяснил, что художник сам из Болоньи. Поэтому я и считаю его великим человеком. Он знает, что личное мнение не имеет никакого значения. Главное — организация. Организация и убеждение.

Разговор перешел на обсуждение политической ситуации в Германии и уличных боев в Берлине. Мсье Эннекен обеспокоенно заметил, что революция, начавшаяся в одной европейской стране, может охватить и соседние государства. Впрочем, мсье Эннекена постоянно бросало в крайности — от самоуверенного превосходства к внезапному испугу.

— Никакой революции в Европе не будет, —

разуверил его хозяин. — Опасность миновала. Видите ли, вожди рабочего класса не стремятся к власти, а просто хотят улучшить условия труда. Они научились торговаться: притворяются, что требуют большего, а получают именно то, что хотят. Иногда они упоминают социализм — для того, чтобы устроить перерыв в переговорах, а потом их возобновить. Если правильно обучать людей, внедрять современные научные достижения, ограничить монархическую власть и опираться на парламентарное правительство, то существующий общественный порядок не изменится. — Владелец особняка подошел к мсье Эннекену и положил руку ему на плечо. — Я прекрасно понимаю ваше недоверие. Пойдемте, я покажу вам недавнюю фотографию Турати и депутатов-социалистов в Риме. Очень любопытный снимок, о многом говорит.

Мсье Эннекен встал. Мадам Эннекен хотела что-то сказать, но ее прервали…

— Ты прекрасна. В твоем взгляде все можно прочесть. У тебя голос коростеля.

— Коростеля? — смеется она. — Это комплимент?

— Я люблю тебя. О, как я люблю тебя! Я обязательно увижусь с тобой завтра.

В тысяча девятьсот десятом году, ничем особо не примечательном, более полумиллиона итальянцев выехали за границу в поисках работы, спасаясь от голода.

Природа сходства

Описывая Камиллу, я не могу к ней приблизиться.

Кто рисует меня
между грифелем и бумагой?
Однажды я оценю сходство,
но оценивать будет не та, что сейчас
с надеждой позирует.
Я тот, кто я есть.
Я такой, каким ты меня видишь.

* * *

В Домодоссолу[13], как и в Бриг, съехались многочисленные репортеры и авиаторы-любители.

---

[13] Сноски: 13

Домодоссола — небольшой городок с узкими мощеными улочками. На крышах — грубая кирпично-красная черепица, по цвету напоминающая скалы ущелья Гондо. Карнизы покатых крыш нависают над улицами так, что булыжных мостовых не видно, и с высоты город выглядит как россыпь красного сланца, разметанная по склону лавиной.

Мэр приказал вынести на рыночную площадь школьную доску, на которой мелом, аккуратными печатными буквами записывают очередной бюллетень о здоровье Шавеза.

Воскресенье — рыночный день, и с утра площадь и близлежащие улочки заполнены людьми. За ночь похолодало. Не верилось, что вчера вечером в двадцати километрах отсюда состоялся ужин под открытым небом. Дж. медленно шел к больнице и не удивился, заметив впереди Камиллу.

Покрой и цвет сиренево-серого прогулочного костюма подчеркивал ее энергичность больше, чем вечернее платье. Походка была легкой и решительной. Шляпу с низкой тульей украшали белые цветы. Каштановые волосы собраны в аккуратный шиньон. Изящество наряда, продуманное с излишней для провинциального городка тщательностью, свидетельствовало о том, что спала Камилла мало или плохо.

Температура волос человека не зависит от температуры воздуха. У некоторых прическа всегда прохладна; у других даже на холоде голова горячая. Камилла совершенно не подозревала, что Дж. идет за ней следом. Даже с расстояния нескольких шагов он чувствовал необычайное

тепло ее волос.

Она остановилась у галантерейной лавки, разглядывая меха и перчатки в витрине. Дж. резко взял Камиллу под локоть; она вскрикнула и стремительно обернулась, яростно сжав кулаки, но при виде знакомого лица улыбнулась, хотя недовольная гримаска не исчезла.

Дж. осведомился о самочувствии ее супруга и заявил, что если погода к полудню не испортится, то он хотел бы пригласить их с мсье Шувеем и мадам ле Диразон на автомобильную прогулку в городок Санта-Мария-Маджоре.

Всю ночь Камилла размышляла о его нелепом признании в любви. Почему она не отвернулась от него? Почему не отвергла? Она убеждала себя, что ее поведение объяснялось неожиданностью случившегося, хотя и понимала, что втайне ожидала этого, сознательно поощряя несомненные проявления его интереса к ней, однако не могла предположить — и это ее смущало, — что он так внезапно и своевольно обратится к ней, как если бы они были наедине, словно он сошел с небес или возник из-под земли точнехонько рядом с ней, не сталкиваясь и не пересекаясь с людьми, которые их окружали. Она не возмутилась, потому что его не замечали и на возмущение

не отреагировали бы. Возражать не имело смысла, поскольку возражение относилось бы к тому, чего уже не было. Посреди ночи она проснулась, уверенная, что он стоит у окна. По той же причине она даже не вскрикнула.

Камилла объяснила ему, что забыла перчатки в поезде из Парижа. Он спросил, можно ли проводить ее в лавку. Она в нерешительности замялась. Дж. заверил ее, что это единственный галантерейный магазинчик в городе, и он с радостью поможет ей объясниться с продавщицей.

Наутро Камилла иначе воспринимала случившееся за ужином. Загадочное происшествие хотя и имело место, но никаких последствий не вызывало благодаря распорядку и привычному укладу ее жизни. Она приехала в Домодоссолу с мужем. Через четыре-пять дней она вернется в Париж, к детям. Этот человек (с которым она вошла в лавку и объяснила, что ей нужны длинные белые перчатки) за ужином воспользовался подвернувшейся возможностью, но такого шанса ему больше не представится. Эпизод завершился, не успев начаться.

Продавщица в лавке говорила о героизме Шавеза. Дж. перевел Камилле, что Жо Шавез — покоритель горных вершин, победитель, за которым

продавщица готова беззаветно ухаживать ночи напролет и выполнять все его желания. В ее голосе звучала материнская гордость, хотя сыновей у нее не было, только дочери — одна работала в Милане, вторая помогала в лавке.

Камилла решила примерить узкие перчатки из тончайшей белой лайки. Продавщица, гордая тем, что живет в городе, где выздоравливал Шавез, поднесла одну перчатку к губам и дунула в нее, прежде чем протянуть Камилле.

— Может, тальком изнутри присыпать? Будет легче надеть, — предложила продавщица.

Память по-разному соединяет переживания друг с другом. Некоторые воспоминания возникают по контрасту, другие — по схожести, по логической последовательности, по близости ощущений и так далее. Связь между двумя впечатлениями иногда основывается на обоюдном мнении. В подобных случаях эта связь многообразна и сложна, хотя мнение, пусть и очень четкое, невозможно выразить словами, как невозможно облечь в слова аккорд. При виде того, как итальянская лавочница дует в перчатку, в памяти Дж. возникло воспоминание о таинственном тепле платья мисс Хелен, его бывшей гувернантки, связываясь и соотносясь с испыты-

ваемым ощущением. Однако описать сам процесс невозможно.

Итальянская лавочница подула во вторую перчатку и передала ее Камилле. Перчатка, наполненная воздухом, неожиданно напугала Камиллу, приобретя очертания безжизненной, бескостной, вялой руки, замершей, как снулая рыба белесым брюшком кверху. Камилла не желала прикасаться к такой руке, неспособной сжаться в кулак. Прикосновение этой руки будет не прикосновением и не руки; оно отвлечет. Внезапно Камилла поняла, что он ей предлагает: возможность быть той, кем она притворялась. Он предлагал превратить слова Малларме в прожитые дни. Она немедленно отринула это осознание как легкомысленное, отвергая ту часть себя, которая его распознала. «Для того чтобы обезопасить себя, следует оставаться реалистичной», — решила Камилла.

Перчатки пришлись впору. Кожа на крошечных косточках руки натянулась и сияла влажным блеском.

— Возьми одну руку в другую, — сказал он.

Камилла повиновалась.

— Вот видишь, ты взяла левую руку правой.

— Это странно?

— Нет, но это значит, что ты уверена в себе. Ты — владычица своей судьбы.

Она рассмеялась, ободренная его заявлением.

— Я всем довольна.

Можно быть довольным и оставаться рабом. Удовлетворение с этим никак не связано.

— Довольна? Почему ты так сказала?

— Я легко пугаюсь, — проговорила она, не отвечая на вопрос. — Вот как сейчас, у витрины.

— Пугаешься? Ты набросилась на меня с яростью воительницы, защищающей свою честь, но как только узнала меня, к тебе сразу же вернулась уверенность.

Камилла сердито стянула перчатки, положила их на прилавок и повернулась к выходу. Дж. спросил лавочницу, сколько стоят перчатки.

— Мне они не нужны, — сообщила Камилла.

Он расплатился. Лавочница завернула перчатки в тончайшую сиреневую бумагу. Камилла стояла лицом к двери. Дж. взял ее за локотки.

(Могу я представить, что сделает локоть? Ничего особенного. Тем не менее я воспринимаю его так же, как и ее руку. Локоть точно так же обещает и выполняет обещанное. Ее локти покоятся у него в ладонях.)

— Доверься мне, — сказал он. — Никто больше не знает, почему ты берешь левую руку правой. Тебя это не скомпрометирует.

— Мне не нужны перчатки.

— И они тебя тоже не скомпрометируют, — произнес Джи. — Ты бы их все равно купила. Я преподношу их вам, мадам Эннекен, как скромный знак преклонения перед вашим изяществом.

Его формальный тон смутил ее. Невозможно было определить, нарочита ли прозвучавшая в нем фальшь или она проистекает от недостаточного знания языка. Как бы то ни было, этот тон подчеркнул, что рассердилась она опрометчиво.

— Нам рано ссориться, — сказал он, с поклоном протягивая ей перчатки.

Она их взяла.

– *Je t'aime, Camille,* — добавил он и распахнул перед ней дверь.

* * *

Больница, расположенная в центре города, представляет собой желтое квадратное здание в классическом стиле девятнадцатого века, окруженное садом. У главного входа растет камелия. В дверях стоит стол, где лежит раскрытый альбом, в котором посетители, не желающие

нарушать покой летчика, оставляют памятные записи и пожелания. Впрочем, по мнению некоторых, это дурная примета — в средиземноморских селениях принято открывать книги соболезнований по случаю кончины.

Уаймен ждет его на лестничной площадке второго этажа.

— Он утверждает, что после ущелья Гондо ничего не помнит, — шепчет Уаймен.

— Как он?

— Речь сбивчивая. Судя по всему, он перенес чрезвычайное потрясение.

— А что врачи говорят?

— Сотрясения мозга нет; увечья опасности не представляют, так что все надеются на его полное выздоровление.

— Однако…

— Что — однако?

— И все же…

— Он слишком нервничает, — вздыхает Уаймен.

Они входят в палату, где уже собралось человек пять, включая Кристьенса и Дюрея, приятеля Шавеза. Стена напротив больничной койки увешана телеграммами со всех концов света.

Для раненого стена должна служить огромным

окном в мир, рукоплещущий знаменательному событию, но она остается для него стеной, обклеенной непонятными бумажными прямоугольничками, которые чуть колышутся под сквозняком. Температура у него слегка повышенная, сознание ясное. Время от времени воображение пытается охватить необратимость того, что произошло после заявления «Я полечу сегодня». Эта необратимость встает перед ним отвесной скалой, следует за его взглядом, за каждым поворотом головы. На какую высоту ни поднимись, как отчаянно ни пробивайся сквозь стену восточного ветра, скала по-прежнему перед глазами, над вспухшими губами. Он снова и снова закладывает вираж, но геологическое строение случившегося не изменяется. Безмолвные, бесконечно повторяющиеся виражи сознания делают все сказанное и увиденное далеким, как неразборчивые слова телеграмм на стене.

Его нашли под обломками аэроплана, в полном сознании. Он лежал, уткнувшись лицом в землю.

Дж. берет Шавеза за руку и поздравляет его. Для Дж. в мужчинах загадки не существует; для него тайной обладают только женщины.

О мужчинах он осведомляется, задавая вопросы, ответы на которые скупы и ограниченны; так спрашивают, который час, — ответ зависит от циферблата часов. Он глядит в темные глаза Шавеза, полные смутных подозрений, на разбитые припухшие губы — впрочем, они всегда были пухлыми и четко очерченными, на кисти рук, повернутых ладонями внутрь. Для него внешность молодого человека, неожиданно оказавшегося на больничной койке посреди сада в Домодоссоле, представляется условной оболочкой, такой же непрозрачной, как уродливые цилиндры гипса у него на ногах. Рука на женской груди скрывает такую же тайну. Под осязаемым простирается громада неосязаемого, невидимого. Врач может снять гипс с ног, но хирург, сделав надрез на теле, обнажающий внутренние органы, не раскроет тайны. Загадка кроется в безмерности системы, позволяющей Шавезу — пока он жив — воспринимать мир вокруг себя (включая пальцы, пожимающие его руку) как собственное уникальное переживание.

— Сегодня утром в галантерейной лавке продавщица отозвалась о тебе как о святом. Назвала тебя отважным героем и…

— Знаю, — перебил его Шавез. — Все обо мне

так думают. Может, они и правы, а может, и нет. Впрочем, это неважно, потому что я умираю.

* * *

После обеда погода улучшилась. Дж. предложил мсье Эннекену сесть за руль. Дорога шла над озером, по хвойному бору. Мадам Эннекен предложила остановить машину и немного пройтись.

Солнечные лучи пронзают бор почти горизонтально, из-за этого каждый просвет между деревьями становится преувеличенно стереоскопичным. Стволы деревьев против света выглядят почти черными, а те, что залиты солнцем — тускло-медовыми. На свету жемчужно переливаются тафта и шелк женских нарядов. Сапожки на пуговках оставляют легкие отпечатки на ковре хвои, полусгнивших шишек, мха и листьев. Все приобретает необычайную яркость, но лес будто утрачивает материальность.

К Камилле Дж. обращается с безупречной вежливостью, словно подчеркивая глубину и серьезность связывающей их тайны. Все его внимание сосредоточено на мсье Эннекене и Гарри Шувее. С бельгийцем он заводит разговор о природных ресурсах Конго, с интересом внимает его рассуж-

дениям, время от времени просит разъяснений или согласно кивает, однако на самом деле совершенно его не слушает. На своеобразном языке, в котором слова служат лишь одним из средств выражения — этот язык мало чем отличается от того, на котором он говорил сам с собой в детстве, с той лишь разницей, что теперь он обладает бóльшим запасом сравнений, — он безмолвно обращается к своим спутникам.

«Как вы их выбирали? По тем же причинам, по которым выбрали бы любую другую женщину? Человек вашего круга стремится заполучить лучшее. Однако лучшее не абсолютно. Человек вашего круга стремится заполучить лучшее для людей вашего круга. Если в своем выборе женщины вы этим не руководствуетесь, то ваше положение станет шатким, что, в свою очередь, доставит вам — и ей — неприятности. Так что приходится выбирать сообразно своему кошельку и одеяние, и ту, кому оно предназначено. Впрочем, вы не просто люди влиятельные, вы еще и мужчины с соответствующим мужским достоинством. С фаллосами».

Слева от них вздымается отвесный склон, корни дальних деревьев торчат вровень с кронами

ближних. Между деревьями вдали виднеются зазубренные камни, покрытые зеленым мхом. Справа — прогалина, откуда открывается вид вниз, на поблескивающую слюдой гладь озера.

«А фаллосу свойственна склонность к идеализации. Им хочется самого лучшего, и плевать они хотели на ваше положение. И как же удовлетворить оба желания?»

Горы непреклонны, а лес невозмутим и терпелив, как море. Он принимает все, что в нем происходит.

«Это невозможно. Но вы способны оградить себя от возможных последствий открытого конфликта с помощью коллег, приятелей, церковников, учителей, писателей, портных, актеров, юристов, полиции, общественных деятелей и, разумеется, женщин — что и проделываете с тех самых пор, как достигли совершеннолетия».

Мсье Эннекен задумывается о пользе информации, сообщенной бельгийцем. Компанию «Пежо» интересует все, что имеет хоть какое-то отношение к автомобилям. Пожалуй, решает он, стоит съездить в Конго. Он был в Алжире, но это не Африка. Настоящая Африка — в джунглях.

Он поднимает с тропы прутик, легонько постукивает им по стволам деревьев близ тропы.

«Вам пришлось отыскать третий фактор, третий интерес — тот, который признают верховным арбитром и ваше честолюбие (в отличие от самолюбия), подчиняющееся общественным условностям, и идеализм ваших фаллосов. Таким третьим фактором стало имущество. Третий интерес — право собственности. Не просто финансовая заинтересованность, а страстное желание, ощущаемое физически, почти осязаемое. Ваших детей учат не прикасаться к чужому — ни к цветам, ни к животным, ни к руке незнакомца. Прикосновение заявляет о праве на владение. Совокупление означает обладание. Чтобы вступить во владение имуществом, его необходимо приобрести либо внести за него арендную плату».

Женщины шли следом за мужчинами. Гарри Шувей объясняет, что, хотя слоновая кость и драгоценный материал, каучук гораздо важнее, особенно сейчас, с развитием автомобильной промышленности. Будущее Конго — за каучуком. Тишину леса нарушают только голоса, шаги людей, идущих по тропе, и звонкие трели птиц в вершинах деревьев.

«Вам известно, как выглядят ваши жилища? Я давным-давно подметил одну их особенность, которая бросается в глаза, если неторопливо прогуляться по зажиточным кварталам любого европейского города».

В лесу растут ели и лиственницы. Стволы елей облеплены лишайником, будто утыканы рядами потемневших серебристых кнопок; с засохших ветвей водорослями свисают пучки бледно-зеленого мха.

«Оконные рамы и ставни выкрашены свежей краской, неотличимой от цвета фасадов, которые вбирают солнечный свет и слабо, зернисто мерцают, словно крахмальные льняные скатерти. Окна закрыты неподвижными шторами, будто высеченными из камня; кованые цветы и листья украшают решетки балконов; архитектурные излишества напоминают о прошлых эпохах и чужеземных городах; к широким отполированным дверям прибиты медные таблички, у входа висят колокольчики; безмолвие улиц нарушается чуть слышным отдаленным шумом города — где-то вдали множество людей заняты своими делами, и отдельные вдохи и выдохи сливаются в непрерывное, непрекращающееся дыхание, легкое,

как ветерок; кажущаяся тишина вбирает в себя и скрип закрываемой горничной двери, и собачий лай, приглушенный толстыми коврами и обивкой мебели, и звон столового серебра, укладываемого на зеленое сукно буфетного ящика. Все мирно и благоустроенно. Внезапно с изумлением понимаешь, что каждый тихий особняк совершенно гол: обнажен, ничем не прикрыт и — самое страшное! — бесстыдно предлагает себя любому прохожему».

Путники прогуливаются по лесу. Просветы между стволами и ветвями меняют цвет и форму. Форма и цвет искусно намекают на присутствие оленя — вон там, между деревьями.

— Смотрите! — шепчет Матильда.

Ее заблуждение сродни, но противоположно естественному камуфляжу, когда животные сливаются с окружающим их ландшафтом. Матильда знает, что в лесу живут звери, и ее воображение создает оленя из очертаний деревьев и кустов.

По улыбке Матильды Дж. понимает, что Камилла ей все рассказала. В поведении Матильды чувствуется неприкрытое, искреннее любопытство, которое женщины обычно проявляют к новому возлюбленному задушевной подруги.

— Ах, я и впрямь решила, что это олень! —

вздыхает она.

Тропа выходит на поляну, заросшую высокой травой. Горизонтальный свет придает каждой травинке четкие очертания. В воздухе ощущается тишина и покой ранней осени, когда кажется, что все застыло, что все действия и их последствия отсрочены на неопределенное время. Мсье Эннекен, не слушая больше рассказов Гарри Шувея, собирает букетик осенних крокусов и преподносит жене. Прогулка напомнила ему, как он ухаживал за Камиллой.

«Ты избрал эту женщину и сделал ее своей. Уверенность в правильности выбора зависела от твоей оценки того, в какой степени она станет тебе принадлежать. Как только ты убедился, что она принадлежит тебе полностью, ты заявил: “Я ее избрал”».

Затянутой в перчатку рукой Камилла берет букет, и Матильда помогает приколоть его к блузке подруги.

«Необходимо верить в то, что для себя ты выбрал правильно. Но часть тебя — хитроумная, прислушивающаяся к мнению других, с детства усвоившая, что жизнь благоприятствует тем, кто благоприятствует себе, — воспринимает

твой выбор скептически. Женившись на этой, ты не сможешь жениться на другой. Владея этой, ты ограничиваешь потенциал владения. Разумеется, можно выбрать любовницу, но та же логика применима и к выбору любовницы. Итак, твой внутренний скептик задается вопросом: “Поддержит ли ее привлекательность мое убеждение в здравомыслии решения владеть ею? Достойна ли эта привлекательность служить наградой за то, что я остановил свой выбор на ней, а не на другой?”»

Камилла смеется шутке Матильды. Мсье Эннекен бредет по высокой траве, словно по воде. Гарри Шувей объясняет, какую пользу международным торговым отношениям принесло создание Бельгийского Конго.

«Если бы ответом на этот вопрос было «нет», ты бы мгновенно забыл о ней. Для тебя она перестала бы существовать».

— Какие здесь бабочки! — восклицает мсье Эннекен и пытается поймать насекомое кепкой.

«Для того чтобы вознаградить тебя за потерю всех или почти всех остальных женщин в мире, ей пришлось стать идеалом. Вместе с тобой она выбрала качества, необходимые для его создания.

Ты выбрал ее невинность, изящество, материнские чувства, одухотворенность. Камилла их для тебя подчеркнула, подавив в себе противоречащие им черты. Она стала твоей и только твоей легендой».

Шувей объясняет, что двадцать лет назад колониальный режим короля Леопольда успешно зарекомендовал себя в Свободном государстве Конго, и что остальные европейские державы лицемерно обвиняли его в жестокой эксплуатации местного населения, хотя сами использовали те же методы, но с меньшим успехом. И все же, подчеркивает Шувей, короли — неумелые предприниматели, потому что их заботят только доходы, а не капиталовложения.

«А ты… в Матильде ты идеализируешь совершенно иные качества. У нее другой характер, и она не жена, а любовница. Ты заявляешь, что у нее самая красивая в мире шея. Ты считаешь ее бездельницей, потому что она любит развлечения. Ты гордишься тем, что другие мужчины находят ее чрезвычайно привлекательной. Идеализировать это качество доставляет тебе несказанное удовольствие, при условии соблюдения второго предположения, в котором ты уверен

меньше: “Она мне не изменяет”.

Когда ты, Эннекен, начнешь подумывать о том, чтобы бросить Камиллу, а ты, Шувей, решишь, что Матильда слишком экстравагантна и безалаберна, это произойдет не потому, что вы в них разочаруетесь, а потому, что они больше не смогут выдавать себя за то, чем не являются.

Я вас ненавижу. Ваше могущество заключается не в богатстве, а в том, что люди вам повинуются. Они завидуют тому, что им о вас известно, и зависть заставляет их повиноваться. Они хотят быть похожими на вас, а потому живут по тем же законам и выбирают повиновение как благо.

Ваша власть над собой ничтожна. Вы таращите глаза, словно мертвецы, прислоненные к окнам, убеждая толпу на улицах, что за ней наблюдают. Уши — самая невинная, самая характерная черта внешности — превращаются в бесполезные недоразвитые придатки по обе стороны головы, в напоминание о прошедших веках, как соски на вашей груди. Где вы обитаете? В кончиках пальцев? В сердце? На дне ваших снов? На плечах?

Вы обитаете в сумрачном безвоздушном пространстве между вашей последней кожей и одеждой. Вы живете на своем передвижном

чердаке. Ваши страсти — чесоточный зуд».

— Я слышу жаворонка, но не пойму, где он, — говорит Камилла.

«Вы мне ничем не угрожаете. Ваше существование примиряет меня с мыслью о собственной смерти.

Я не желаю бесконечно существовать в мире вашего господства. Жизнь в таком мире коротка по определению. Все живое предпочтет смерть, лишь бы избавиться от вашего общества. Даже смерть вами брезгует. Вам суждена долгая жизнь».

Мсье Эннекен приближается к дамам на краю поляны, протягивает им сомкнутые ладони. Похоже, он поймал бабочку.

— Выпусти ее, — говорит Камилла. — Ты как ребенок!

— Линнею ты бы такого не сказала, — замечает мсье Эннекен.

— А кто такой Линней? — интересуется Шувей.

Мсье Эннекен поднимает руки и раскрывает пустые ладони. Никакой бабочки нет. Он громко хохочет.

«Ты смеешься, как безумный (словно задыха-

ясь от краткого облегчения), над тем, кем мог бы стать. Об этом тебе напомнила твоя шутка.

Как только один из вас исчезает, на его месте возникает другой, и ваше число постоянно увеличивается. Все в мире исчезнет, останетесь одни вы».

С поляны тропа выходит на уступ, откуда открывается широкая панорама долины и южные склоны Альп. Все умолкают. Тишина, озерная гладь, снег на горной вершине, предзакатный свет осеннего дня образуют увеличительное стекло для самого унылого воображения. В это стекло, как под лупой, можно рассмотреть пространство, окружающее их жизнь.

«К чему мне вас бояться? Вы говорите о будущем и верите в него. Будущее служит вам наградой за юность, которой у вас никогда не было. Мне это безразлично. Я покину пределы вашей нелепой, чудовищной реальности, как сделал Жо Шавез. Я умру, а потому мне нечего бояться.

Меня страшит мысль о вашем бессмертии; мысль о вечности, которую вы внушаете живущим, прежде чем они умрут».

По дороге к автомобилю Джи учтиво беседует с мужчинами. В лесу становится темнее

и прохладнее, сильнее пахнет хвоей. В сумерках заметнее единообразие деревьев. Вдоль побега лиственницы, по его обеим сторонам, торчат крохотные шишкообразные отростки. Когда побег был меньше, каждый из отростков был иголкой. Когда побег превратится в ветку, каждый из отростков станет побегом. Таким же образом отрастают ветви от ствола. Весь лес — бесконечно повторяющийся ровный стежок.

Дж. помогает Камилле сесть в автомобиль и передает ей записку. Она прочтет ее позже. В ней написано: «Королек мой, моя малышка, желанная моя. Мне нужно многое тебе сказать, тебе одной. Встретимся завтра днем. Я буду ждать тебя в авто у вокзала Стреза».

Тем же вечером мсье Эннекен обнаружил записку. Камилла вложила ее в томик стихотворений Малларме на своем письменном столе. Масляная лампа коптила, и Камилла попросила мужа поправить фитиль. (В их парижском особняке уже провели электричество.) Мсье Эннекен случайно столкнул книгу со стола, и записка выпала на пол. Мсье Эннекен поднял книгу и сложенный листок бумаги, который его заинтриговал: он решил, что Камилла начала писать стихи. Он развернул листок и увидел подпись.

Вложив записку в книгу, он поцеловал Камиллу в макушку и вышел из спальни, будто ничего не произошло.

Ничего не подозревавшая Камилла велела горничной набрать ванну и решила проигнорировать записку, хотя и продолжала задаваться вопросом: «Что во мне заставляет его забыть об осторожности и рассудительности?»

Четверть часа спустя мсье Эннекен, оценив весь масштаб нанесенного ему ущерба, ворвался в спальню жены, словно только что узнал о супружеской измене. Дверь стукнула о стену. Камилла сидела в пеньюаре, распустив волосы. Мсье Эннекен, не повышая голоса, процедил сквозь зубы:

— Камилла, ты с ума сошла. Изволь объясниться.

Она удивленно посмотрела на него.

— Раскрой книгу. Ты прекрасно знаешь, что в ней. Там записка… Любовная записка, адресованная тебе. От кого она?

— Ты не имеешь права за мной следить. Это унижает нас обоих.

— От кого она?

— Ты ее прочел, она подписана, так что тебе прекрасно известно, от кого.

— От кого она?

— Вот ты мне и скажи, от кого. А еще скажи мне, сколько записок я от него получила. Морис, ты ведешь себя глупо.

— От кого она?

Мсье Эннекен встал перед ней, сжав кулаки и чуть наклонив голову. Он глядел на макушку Камиллы, на то место, которое поцеловал, прежде чем удалился обдумывать дальнейшие действия. Камилле, сидевшей в кресле, надо было либо откинуться на спинку, будто в страхе отшатываясь от него, либо не менять позы и смотреть на его цепочку от часов в нескольких дюймах от лица. Камилла уставилась на золотую цепь.

— Мне нечего стыдиться, — сказала она. — Я не собиралась ему отвечать и, поверь мне, не давала никакого повода для написания этой нелепой записки.

— От кого она?

— Морис, тебе больше нечего спросить? Спроси меня, что случилось. Спроси меня, прежде чем делать какие-то выводы.

— От кого она?

— Господи, да что с тобой стряслось?

— Я хочу услышать, как ты произнесешь его имя.

— Нет уж, я этого удовольствия тебе не доставлю.

— Вот именно! Потому что ты прекрасно понимаешь, что голос тебя выдаст. Ты не сможешь сдержать своих чувств — так называемых чувств. Назови его имя.

— Нет. Морис, что за вздор?! Прекрати!

— Ты отказываешься? Ну конечно, ты отказываешься. Я видел вас вдвоем. Боже, как я был слеп! Я же тебе доверял. Но теперь мне все ясно. С первой же минуты ты глаз с него не сводила, не отходила от него ни на шаг, перешептывалась с ним, переглядывалась…

— Ты с ума сошел! Как ты смеешь меня в этом обвинять? Я ничего не сделала.

— Ничего не сделала? Разумеется, за два дня ты ничего не сделала, как ты изволила выразиться. Но ведь хотела? Хотела! Ты его завлекала, как… как шлюха.

Камилла бессильно оттолкнула его, понурилась и заплакала.

— Завтра днем мы возвращаемся в Париж, — заявил мсье Эннекен. — Вели Ивонне собрать чемоданы. — Он подошел к двери и обернулся. — Твое бесстыдство омерзительно и вульгарно! Подумать только, за два дня, у меня на глазах,

в крошечном городишке, где друг от друга никуда не деться…

— Никуда не деться?! — сердито всхлипнула она.

— Завтра утром я ему объясню, что если еще раз увижу вас вместе, то застрелю его — и любой французский суд меня оправдает. Я убью его как…

— Не благороднее ли вызвать его на дуэль?

— А, ты возомнила себя великой куртизанкой? Увы, у тебя для этого нет ни шарма, ни деликатности. Вдобавок мы живем в двадцатом веке.

— Умоляю, не говори ему ничего!

— Ему?!

В вырезе пеньюара виднелась ее белая вздымающаяся грудь.

— Хорошо, давай вернемся в Париж, если тебе так хочется, — проговорила Камилла. — Но прошу тебя, не надо с ним разговаривать.

— Боишься, что я от него о тебе узнаю?

— Как хочешь.

Он вытащил ключ из замка спальни и вышел. Ключ он забрал, чтобы Камилла не закрылась в спальне, как прежде делала после ссоры; к тому же, решил он, стоит прийти к ней попозже и отыметь ее, как шлюху.

* * *

Камилла спала беспокойно. В шесть утра она встала. Мужа в его спальне не было, постель осталась несмятой. Камилла распахнула ставни. Безоблачное небо сияло голубизной. День еще не вошел в свой ритм; время казалось вытянутым, как улица с редкими прохожими. Длина дня и глубина голубого неба выглядели сценой, размеры которой заставили Камиллу вздрогнуть. Из окна виднелся вокзал.

Она нетерпеливо дожидалась часа, когда можно будет отправить Ивонну с запиской к Матильде. Камилле хотелось, чтобы подруга пришла как можно скорее и помогла ей.

Камилла попросила кофе.

За окном по двору прошел кот, проворно устремившись к своей желанной цели. Кот услышал скрип кофейной мельницы на кухне, где сидела на табурете молоденькая крестьянка, зажав кофемолку между колен. Для кота скрип кофемолки означал сливки. Закончив молоть зерна, девушка подойдет к деревянному шкафчику на стене, достанет большой кувшин сливок и разольет их по серебряным кувшинчикам поменьше. Кот потрется ей о щиколотку, а девушка нальет

сливки в выщербленное бело-голубое блюдечко и поставит его у двери.

Камилла подошла к гардеробу и задумалась, что надеть. Сегодня днем они возвращаются в Париж. Ее увозили домой, к детям, как непослушного ребенка. У нее был подходящий дорожный костюм из темного льна с узорчатой атласной подкладкой, но она снова решила надеть прогулочный серо-лиловый наряд. Ее увозили в Париж против воли.

От Матильды Камилла ждала не совета, а помощи. По мнению Камиллы, Матильда жила по иным стандартам, и ее вкусы отличались большей притязательностью. Матильда понимала серьезность договоренностей, а потому умела их придерживаться. Выйдя замуж за шестидесятичетырехлетнего мсье ле Дирезона, она согласилась во всем ему угождать с тем, чтобы после его смерти унаследовать состояние — и в последующие пять лет баловала больного старика, как малого ребенка. Камилла не согласилась бы на такую сделку, будучи твердо уверенной, что такая жизнь — не для нее. Она верила, что суть справедливости выражается в духовных, а не в материальных благах. Ей нравилась библейская притча о работниках

в винограднике: последний из нанятых, проработавший всего час, получал ту же плату, что и те, кто целый день провел, трудясь в поте лица своего.

В помощи Матильды Камилла нуждалась именно потому, что хотела восстановить справедливость. Если ее муж сдержал свою угрозу и отправился поговорить с Дж. (о чем свидетельствовало его отсутствие), то Камилла намеревалась в сопровождении Матильды выйти в город, надеясь на встречу с Дж. Видеть его она больше не желала, но хотела уверить, что какими бы неподобающими, безрассудными и необдуманными ни были его ухаживания, низкими она их не считала.

Она понимала, что Матильда объявит задуманное предприятие наивным и непрактичным, но согласится на него — отчасти по дружбе, отчасти от скуки.

— Чего мы ждем в этом жутком провинциальном городке? — спросила вчера Матильда.

По-моему, мы ждем смерти героя.

* * *

Поезд подошел к вокзалу Домодоссолы. Мсье

Эннекен открыл дверь вагона и спрыгнул на перрон. Он не сгорал от нетерпения, у него было время в запасе, но чем энергичнее он действовал, тем больше убеждался в правильности принятого решения. Рабочие, соскакивая с подножек вагонов, направлялись не к вокзальному выходу, а пересекали пути к сортировочному депо. У вокзала не оказалось наемных экипажей; в конце улицы мелькнул одинокий прохожий.

Мсье Эннекен коснулся бокового кармана, где лежал пистолет, — за оружием пришлось отправиться ночью. Весомость пистолета, как и энергичность действий, служила еще одним подтверждением, будто слова знакомого: «Морис действовал решительно и уверенно».

У гостиницы он взглянул на окна своего номера и вспомнил ехидные слова Камиллы о дуэли. Утро — традиционное время для дуэлей и казней. Мсье Эннекен сказал себе, что ранним утром после бессонной ночи, когда день еще не начался, возникает необычное осознание своего предназначения.

Он направился в центр города, на старинную площадь, окруженную магазинчиками с выходящими на тротуар аркадами. Доску с бюллетенем о состоянии здоровья Шавеза задвинули под на-

вес, на случай ночного дождя. В одном углу доски буквы смазались. «Вызывает беспокойство нарушение ритма сердцебиения и общая нестабильность сердечной деятельности пациента…»

Витрины магазинчиков в аркадах были закрыты широкими деревянными ставнями, выкрашенными в разные оттенки зеленого. Над ставнями красовались вывески с фамилиями владельцев — многие фамилии повторялись над разными магазинчиками. После открытия магазинчиков по товарам, выложенным в витринах, становилось ясно, что это — мелкие лавки в глухом провинциальном городке. Запертые ставни придавали магазинчикам солидность, позволяли вообразить, что внутри — собрание ценных предметов.

Мсье Эннекен несколько раз обошел галереи, жалея, что Камилла не увидит предстоящей встречи. Она бы сразу поняла, что молодой человек — циничный обольститель и мелкий мошенник. А еще она бы узнала, на что способен ее супруг ради защиты добродетели жены.

Он больше не винил Камиллу. Вчера он видел в ней шлюху — по убеждению мсье Эннекена, распутные черты свойственны всем особам женского пола, но проявляются только в тех слу-

чаях, когда женщина выходит из-под контроля. Напрасно он не обратил внимания на любовь Камиллы к поэзии Малларме: похоже, стихи возбудили в ней интерес к безграничному, безмерному. Однако винить ее не стоит, решил мсье Эннекен, она не заслуживает порицания, потому что подобная слабость типична для всех женщин.

Не позволяя жене поддаваться слабости, останавливая злобные умыслы похотливого соблазнителя, мсье Эннекен действовал от имени всех мужчин на благо всех женщин. Хитрые и коварные особы, в отличие от Камиллы умеющие настоять на своем, проявляли ту же слабость, а именно — поддавались ложным первым впечатлениям. Дамы, которые с легкостью добивались желаемого от мужчин, становились наивными, как юные девы, встречаясь с незнакомцем. Расчетливые женщины составляли запутанные стратегические и тактические планы, шли к своей цели терпеливо или напористо, проявляли жестокость или щедрость, но в своих первых впечатлениях неизменно обманывались. Они не способны разглядеть очевидное, а потому развратникам и обольстителям незачем скрывать свою натуру.

Мсье Эннекен верил в то, что задуманное — священный долг, исполнить который выпало ему из-за слабости и неполноценности других. Он не считал, что защищает свои личные интересы или пытается спастись от грозящего ему одиночества. Он вышел из-под аркады и устремился прочь от закрытых магазинчиков.

Мсье Эннекен возник на пороге номера.

— Вряд ли вас удивил мой визит, — заявил он и захлопнул за собой дверь. — Мы не настолько глупы, как вам кажется, и точно знаем, как с вами обращаться.

В скромно обставленной спальне на деревянных половицах стояла кровать с пышной пуховой периной, накрытая белым покрывалом. Подушки были набиты соломой, а не пером. В гостинице обычно останавливались почтовые кареты из Симплона. Дж. приподнялся на локте в постели.

Как только дверь захлопнулась, мсье Эннекен навел пистолет на человека в кровати.

— Немедленно прекратите, или я вас убью.

Человек в кровати уставился на пистолет (неужели один вид оружия напомнил ему о запахе оружейной времен его детства?). Голос мсье Эннекена звучал глухо, будто доносился из сосед-

него номера.

— Если еще раз увижу рядом с моей женой, здесь или в любом другом месте, я вас немедленно пристрелю.

Мсье Эннекен прекрасно знал, куда наведено дуло его пистолета — жизни наглеца опасность не угрожала. Более того, он был уверен, что записка станет достаточным основанием для условного приговора, даже если он убьет негодяя в постели. Жизнь редко его запугивала, и сейчас он твердо намеревался положить конец тому, что впоследствии несомненно стало бы серьезной угрозой. Однако же само упоминание смерти часто приводит к непредвиденным последствиям, будто судьба произвольно решает, кто из двоих расстанется с жизнью. Как бы то ни было, мсье Эннекен задрожал.

Он не испугался, а ощутил, что в этот миг каким-то образом оправдывает свою жизнь, словно сам избрал смерть ради того, чтобы защитить смысл своего существования. Главным был выбор смерти; кому умирать — человеку с пистолетом в руке или человеку в постели — было совершенно неважно. Больше не имело значения, присутствует ли при этом Камилла или нет. Возможность лишить жизни заклятого врага

придавала существованию новые краски. Мсье Эннекен с восторгом обнаружил новый источник могущества.

— Если у меня возникнут малейшие подозрения, что ты с ней виделся, я застрелю тебя, как собаку.

Дж. рассмеялся. Притворство исчезло, и правда оказалась до нелепого знакомой. Мсье Эннекен задрожал, сжимая пистолет. Слова срывались с губ со странным наслаждением.

— Если ты посмеешь еще раз подойти к моей жене или к жене любого из моих знакомых, я тебя застрелю.

Его часто спрашивали: «Почему ты смеешься, милый?»

Какая правда раскрывается после долгих интриг, после надежд и расчетов, после сомнений и душевных терзаний, после дерзости, робости и внезапной смелости? Его брюки отброшены на спинку кресла, ее пеньюар лежит на откинутом покрывале, обнажаются два треугольника темных волос, скрывающих те части тела, с которыми студенты медицинских факультетов знакомятся на первом курсе, изучая репродуктивную систему человека. Ошибиться невозможно,

и полное отсутствие двусмысленности становится поистине комической банальностью. Чем дольше личина скрывает знакомые черты, тем комичнее становится откровение — из-за того, что любовникам приходится поражаться давно известному.

— Вы хотели соблазнить мою жену, как неоднократно соблазняли других несчастных. Слава Богу, вам это не удалось.

Когда Беатриса, заливаясь хохотом, повалилась на кровать, она смеялась не над нелепой черной фигуркой в бричке, а над тем, что стало очевидным в ее постели, под портретом отца, в свободе, дарованной укусом осы.

— Заткнись! Прекрати смеяться или получишь пулю в грудь!

Дж. смеялся, не переставая, потому что наконец-то встретился лицом к лицу с чем-то заурядным. Отчасти он смеялся от облегчения, будто опасался столкнуться с необычайным, а отчасти смеялся над великой шуткой банальности, неумолимой, как эрекция.

Мсье Эннекен подумал, что Дж. хохочет, будто безумец, заточенный в подземелье. Его тревожила мысль о том, что ухмыляющийся человек

на кровати может оказаться сумасшедшим. Хотя мсье Эннекен полагал, что безумцев следует держать в сумасшедшем доме или (в особо тяжелых случаях) уничтожать, он считал сумасшествие уделом побежденных и поверженных. Таким образом, его заклятый враг вряд ли олицетворял собой ту угрозу, которой мсье Эннекен намеревался положить конец.

— Вы с ума сошли. В любом случае, второго предупреждения не ждите, — заявил мсье Эннекен и медленно отступил к двери, пытаясь продлить удовольствие (несколько испорченное безумным смехом) — держать под прицелом человека, пытавшегося соблазнить его супругу.

* * *

Мадам Эннекен и Матильда ле Дирезон едут по виа аль Кальварио в обшарпанном экипаже с дырявой крышей. Кучер в соломенной шляпе сидит на козлах. Экипаж направляется на юг, к церкви святого Кирика, в десяти минутах езды от центра Домодоссолы.

Они встретили Дж. на рыночной площади. Он учтиво поздоровался и, глядя на Камиллу, произнес:

— Ваш муж только что грозился меня пристрелить, если я с вами еще раз заговорю. Мне необходимо с вами побеседовать. Я жду вас обеих в церкви святого Кирика. Здесь разговаривать нельзя. Приезжайте побыстрее. — Не дав им времени ответить, он скрылся в глубине аркады.

— Да, в драматичности твоему знакомому не откажешь, — замечает Матильда.

— По-твоему, это правда?

— То, что Морис ему угрожал? Разумеется.

— У него нет оружия.

— Всегда найдутся друзья, у которых оно есть.

— Неужели Морис его убьет?

— Ради тебя мужчины способны на все, — смеется Матильда.

— Прошу тебя, отнесись серьезно…

— А ты сама к этому всерьез относишься?

Услышав, что муж угрожал застрелить Дж., Камилла вспомнила день своей свадьбы. Рассерженная поведением мужа, пристыженная и возмущенная тем, что он не принял во внимание ее просьб и заверений, Камилла с необыкновенной ясностью поняла, что она — его жена, точнее, что она стала его женой по своему выбору. Прежде она воспринимала роль мадам Эннекен

как совершенно нормальный факт своей жизни; замужество было частью неразрывного целого, перехода от детства к девичеству и далее, к настоящему. Да, между ней и мужем случались ссоры и размолвки, но никогда прежде она не ощущала, что течение ее жизни выходит из-под контроля, что все происходящее для нее нехарактерно. Она вспомнила, как на свадьбе они с Морисом опустились на колени перед лицом собравшихся в церкви гостей — по отдельности, но бок о бок, так, что она чувствовала тепло его тела, — принимая причастие. Он встал на колени робко, с подлинным смирением, как ей тогда показалось. А сейчас она представляла, как он невозмутимо поднимается с колен, сжимая в руке пистолет.

Внезапно изумление взяло верх над гневом; Камилла вновь стала прежней; неожиданно возникшая мысль напомнила, что она не беспомощна, и подтвердила подозрения, что муж с ней дурно обошелся. Она подумала: «Даже под угрозой смерти он все равно хочет со мной поговорить, потому что видит меня такой, какая я есть».

— Нет, — вздыхает Камилла.

— Тогда подбей их на дуэль.

— Я Морису уже предлагала. Он сказал, что это несовременно.

— При чем тут современность? В этом отношении мужчины не меняются.

— А мы меняемся? — спрашивает Камилла.

— Ты меняешься. Ты преобразилась. Всего два дня назад ты была совершенно иной. Если бы ты себя видела…

— И что бы я увидела?

— Женщину, в которую влюблены двое.

— Матильда, умоляю тебя, ни в коем случае не оставляй нас наедине.

— Даже если вы оба об этом попросите?

— Я не шучу. Обещай мне, иначе я никуда не поеду.

— Как хорошо, что Гарри не ревнив. Точнее, он ревнив, конечно, но ни стрелять, ни угрожать никому не собирается. Может устроить мне сцену, но я знаю, как с этим справиться.

— Послушай, его жизнь в опасности, — напоминает Камилла. — Прошу тебя, обещай мне!

— Знаешь, Гарри скорее покончит с собой, но убивать никого не станет. А как ты думаешь, что он… — Матильда выразительно кивает, — сделает, если взревнует?

— Меня взревнует? — уточняет Камилла.

— Да, — улыбается Матильда.

Когда Камилла подумала: «Даже под угрозой смерти он все равно хочет со мной поговорить», она увидела его иначе. Восприятие его внешности изменилось ретроспективно: проявилось то, что Камилла заметила, но не запомнила. Сотни мелких подробностей слились воедино, создавая образ человека. Он вбирал в себя все действия. Ее впечатления ринулись к нему, будто притянутые магнитом, и обволокли его, становясь чертами. Вот он повернул крупную голову и, слегка набычившись, обратился к Камилле. Она всмотрелась. Густые кудри закрывали шею и кончики ушей. На изящных руках набухли вены. Из-за выщербленных зубов рот казался больше. Взгляд был настойчивым. Ступни, как и кисти рук, были миниатюрными. Легкая аккуратная походка контрастировала с тяжелым наклоном головы и плеч. Для Камиллы каждая черта его физического облика красноречиво объясняла тот или иной аспект характера; так мать различает в младенце будущий облик взрослого человека.

— Он убьет сначала меня, а потом себя, — смеется Камилла.

— А где он живет? Хорошо бы, если в Париже.

— Не знаю. Он наполовину англичанин, наполовину итальянец.

— Гм, это многое объясняет.

— Обещаешь? — настаивает Камилла.

— Он тебе не рассказывал, как ему зубы выбили?

— Матильда, послушай, это и в самом деле вопрос жизни и смерти.

— Я только однажды видела человека с таким выражением лица.

— Кого? — спрашивает Камилла.

— У моего мужа был приятель-армянин. Он в меня влюбился.

От отчаяния Камилла готова разрыдаться.

— Доверься мне, — шепчет Матильда. — Ты в этих вещах не разбираешься. Главная опасность — Морис, уж с ним-то я справлюсь.

Камилла откидывается на пыльную спинку кожаного сиденья и кладет руку в белой перчатке на плечо подруги.

— Ох, как сегодня жарко! — вздыхает Матильда. — Бывают дни, когда невозможно предаваться пылкой страсти. Воистину погода — лучший друг женщины.

— Ах, мы почти на месте. Не хватало еще толь-

ко его дожидаться. Матильда, попроси кучера ехать помедленнее.

Камилла поправляет челку и смотрит на свою руку. Маленькая кисть кажется хрупкой, так же как запястья и предплечья. Камилле хочется выглядеть свежей и затейливой, словно белое кружево (ей вспоминается картина, где изображена девочка на качелях в саду; нижние юбки оторочены белой кружевной каймой), здесь, в лесистом тихом захолустье, перед насильственным возвращением в Париж, где больше нарядов, чем деревьев, а воздух на улицах спертый, как в комнатах.

Экипаж останавливается у церкви. В тени платана припаркован «Фиат», в котором они вчера ездили в Санта-Мария-Маджоре. Во дворе никого нет. Матильда просит кучера подождать. Он кивает, спрыгивает на землю и растягивается на поросшей травой обочине. Медная фара «Фиата» сверкает на солнце.

Камилла наклоняет голову, опускает зонтик концом к земле и раскрывает его. Матильда раскрывает свой зонтик, подняв его к небу. Вдвоем они направляются к церкви.

Он встает с каменной скамьи у северной стены церкви, целует Камилле руку и сразу же берет

Матильду под локоть.

— Вы ее подруга, она вам наверняка все рассказала, нет нужды объяснять, что произошло, — говорит он и ведет ее по тропе, окруженной могильными плитами.

Камилла направляется следом за ними.

— Нет, прошу вас, подождите на скамейке, — просит он ее.

Все очень тихо. Двери церкви заперты. Дорога пустынна. Трудно поверить, что они всего лишь выехали на окраину города. Такая тишина Камилле непривычна — ведь даже ранним утром по дорогам ездят телеги, на обочинах играют дети, в церкви священник служит мессу, в полях трудятся крестьяне. В тишине Камилла слышит биение собственного сердца и голос Дж., но слов разобрать не может.

Он уверяет Матильду, что еще не раз увидится с ней и навсегда будет перед ней в долгу, если она согласится выполнить его просьбу. Он любит Камиллу; у него не было случая остаться с ней с глазу на глаз; переписываться у них нет возможности. Он умоляет Матильду вернуться и подождать у колледжа Розмини — кучер знает, где это, — а они с Камиллой через полчаса подъедут туда на машине. За полчаса он успеет

объясниться с женщиной, в которую отчаянно влюблен. Он говорит все это непринужденно, словно Матильда и сама все понимает — или словно тут никакие убеждения не помогут.

Он намеренно не выпускает руки Матильды, доверительно шепчет, заговорщицки склоняется поближе, создавая видимость задушевной беседы.

Непринужденность его слов интригует Матильду, но не заставляет усомниться в их истинности. Если бы его объяснение было чересчур убедительным, Матильда, на правах подруги, сочла бы его фальшивым; если бы оно показалось слишком надуманным, она бы обвинила его во лжи; но избранная манера заверений подразумевает, что Матильде и без того все известно — хотя это не так. Неизвестность возбуждает в Матильде острое любопытство: если она сама не сможет разобраться, в чем дело, то Камилла наверняка все выяснит и ей расскажет. Если бы истинная подоплека ситуации была до неприличия ужасна, он не стал бы полагать, что Матильде все известно. Она немедленно проникается доверием к нему — именно потому, что он не дает для этого никаких оснований. А вот Морису Матильда не доверяет. Пытаясь убедить себя, что судит

здраво, она решает, что Гарри сможет повлиять и на Мориса. Она отвечает, что уедет к колледжу Розмини, если на это согласится Камилла.

Камилла глядит, как они расхаживают между древних, изъеденных временем надгробий, похожих на обкусанные печенья. Ее раздражает парадоксальность ситуации. «Почему я должна сидеть здесь в одиночестве, рискуя всем, пока он развлекает Матильду?» — с досадой думает она и решает, что обязательно с ним поговорит.

Чуть позже кучер поднимается с травы, потирая колени. Матильда садится в экипаж и машет Камилле.

— Не задерживайся! — кричит она. — Не рассчитывай на чудо.

Экипаж, кренясь на заднюю ось, уезжает по пустынной дороге.

«Матильда уверена, что в Париже я стану любовницей человека, с которым только что согласилась остаться наедине», — думает Камилла.

Иногда в глазах женщины (и редко — в глазах мужчины) возникает выражение, лишенное мольбы или гордости; этот взгляд ничего не требует, ничего не обещает. Собеседник заметит это выражение, хотя оно ни к кому не обращено, никому не предназначено. Глазам детей оно

несвойственно, потому что они себя не знают; мужчины его не допускают, потому что слишком осмотрительны; неизвестно оно и животным, не ведающим бега времени. Поэты-романтики считали подобный взгляд окном в душу женщины, как если бы он был ясным и прозрачным, однако он непроницаем. Это взгляд, говорящий сам за себя; другого такого не бывает. Сравнить его можно с цветом бутона — так гелиотроп являет себя лиловым. В присутствии посторонних такой взгляд быстро исчезает, потому что не подразумевает приглашения к разговору, а напротив, обозначает отсутствие.

Единственное его желание, его цель — остаться с женщиной наедине. Ничего больше. Но такое уединение должно быть не случайным, а намеренным. Недостаточно остаться вдвоем, вдали от чужих глаз. Встреча должна быть сознательной и добровольной, тогда все остальное будет следствием их уединения, а не исполнением задуманного.

В присутствии посторонних женщины представляются ему неотчетливо, смазанно — не потому, что он не может сконцентрировать на них внимания, а потому, что они постоянно меняются, вынужденно подстраиваясь под ожидания

окружающих.

Они с Камиллой остались наедине, в тени северной стены церкви. Он взял Камиллу за локоть. Пальцы ощутили тепло внутренней и прохладу внешней стороны руки. Его охватило чувство неизбежности. Впрочем, его это не удивило — он знал, что так и произойдет, хотя это ощущение невозможно вызвать усилием воли. Дж. чувствовал абсолютную невозможность того, что Камилла окажется не такой, какая она есть; она была предопределена всем, что случилось до нее во времени и пространстве; отведенное ей место в мироздании заключалось в ее теле и в ее натуре; глаза, рот, небольшая грудь, костлявые кисти рук с обкусанными ногтями, скованная походка, необычное тепло волос, хриплый голос, любимые строки Малларме, ее худоба и бледность. Он ощущал сосредоточение ее сути как неизбежность, и вместе с этим ощущением в нем вспыхнуло желание.

— Послушайте… — начала она.

— Твой голос похож и на крик коростеля, и на стрекот цикады, — сказал он. — Говорят, что цикады — неумолчные души поэтов, декламирующие не сложенные при жизни стихотворения.

— Послушайте, — продолжила она, — я очень люблю мужа. Он — средоточие моей жизни; я — мать его детей. Разумеется, ему не следовало вам угрожать, но поймите, прошу вас, я не давала ему ни малейшего повода считать, что для угроз есть какие-либо основания. Он обнаружил вашу нелепую записку…

— Нелепую? Мы встретились и беседуем наедине — вот все, о чем я просил. Что же в этом нелепого?

— Ваш выбор слов… Вам не следовало мне писать…

— Каких слов?

Камилла уставилась на темную громаду кипариса. Повсюду царило непроницаемое молчание.

— Не помню, — хриплым шепотом отозвалась она, вспоминая строки из поэмы Малларме: «… о губы, как вы лжете в нагом цветении…»[14]

— Я назвал тебя желанной, мой коростель.

— Как глупо…

— Но это правда.

Высеченные на могильных камнях надписи разобрать было невозможно. Закругленные буквы (О или С) стерлись больше, чем созданные

---

[14] Сноски: 14

С. Малларме, «Иродиада». — *Примеч. пер.*

прямыми линиями (Н или Т).

— Тогда уходите. Прошу вас.

На утренней жаре все кругом выглядит необычайно далеким.

— Твой муж не зря мне угрожал, — говорит он. — У него есть все основания для ревности.

— Нет у него никаких оснований! Я — его жена, я его люблю. Я не виновата в ваших чувствах. Вы заблуждаетесь. Вы ошиблись во мне. Я не полагаю ваши побуждения низменными, я уверена в их благородстве. Об этом я и хотела вам сказать. Я не просила мужа защитить меня от вас, потому что меня не нужно защищать. Мы с вами знакомы два дня. По-вашему, расположением женщины можно заручиться за такой короткий срок? За две недели или два месяца — пожалуй, что да. Но за два дня?! Вы ошибаетесь. Вам представляется, что ваша жизнь — цепочная карусель, но это не так. Наша встреча — напрасный риск. Это ни к чему не приведет. Прошу вас, давайте вернемся к моей подруге. Мы с мужем сегодня возвращаемся в Париж.

Слова давались Камилле с трудом; говорить было нелегко, но она произнесла свою речь искренне. Для нее подобное объяснение являлось

единственным возможным способом положить конец сложившейся ситуации, затушевать несправедливость и унизительность угроз мужа. Неважно, что именно она объясняла. Она верила в предначертанное, не считая, что вольна распоряжаться своей судьбой. Будущее не представлялось ей ясным или четко определяемым принимаемыми решениями. Ей хотелось потом вспомнить этот миг искреннего объяснения, хотя она и не ощущала ответственности за возможные его последствия, с робкой надеждой понимая — и опасаясь, — что они не в ее власти.

— Я разыщу тебя в Париже! — сказал он.

— Он вас убьет!

— Но ведь ты меня больше не предашь.

— В каком смысле?

— Зря ты записку сохранила. В Париже мы будем осторожнее.

— Я не собираюсь с вами видеться в Париже.

— Если бы обстоятельства складывались благоприятно, мы бы никогда не узнали, на что мы способны.

— Вы не знаете и знать не можете, на что я способна. И никто этого не узнает. Прошу вас, отвезите меня к подруге.

— Пойми, я мечтал о тебе всю жизнь, хотя

и не подозревал, что ты существуешь. Я знаю о тебе все, даже то, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь: «Вы ошибаетесь».

— Вы ошибаетесь, — повторила она и рассмеялась.

— Камелия!

Дж. объяснил ей, как повернуть руль и что делать с рычагами управления, пока он заводит мотор автомобиля. Камилла подчинилась, довольная представившимся случаем подчеркнуть, что ее объяснение вызвано отнюдь не беспомощностью.

За капотом виднелись голова и плечи Дж., худыми руками налегавшего на заводную рукоять автомобиля. На лбу блестели капельки пота. После нескольких неудачных попыток мотор взревел. Автомобиль задрожал; в такт ему подрагивали затянутые в перчатки пальцы Камиллы на руле. Дж. что-то крикнул, но она его не расслышала. Казалось, для того чтобы выйти из машины, придется выпрыгнуть из трясущегося автомобиля в абсолютную неподвижность дорожной пыли и церковных стен. Камилла прыгнула. Он помог ей сесть на пассажирское сиденье, уложил ее руку на дверцу и поцеловал место между перчаткой и обшлагом рукава. Ка-

милла поглядела на его голову и дрожащими пальцами легонько коснулась волос. Он не подал виду, что ощутил прикосновение.

— Мы вернемся в объезд, через долину Вьеццо, — сказал он. — Километра три-четыре, не больше.

«Любовь мне предлагаешь ты, но пусть молчат об этом губы...»

С. Малларме, «Рондо II»

Для морали тайн не существует, поэтому не бывает моральных явлений, есть только моральные суждения, а для них необходимы непрерывность и предсказуемость. Мораль не в состоянии вместить новое и удивительное: его можно проигнорировать, о нем можно умолчать, ведь признание существования подобного явления делает его неподвластным немедленному моральному суждению.

Камилла знает, что человек, увозящий ее в своем автомобиле, равнодушен к хаосу, создаваемому в ее размеренной жизни. Из-за этого равнодушия ей хочется воспринимать его как врага. Он равнодушен к ее попыткам защитить его от мужа. Он равнодушен к ее объ-

яснениям. Он равнодушен к счастью, которым она довольствовалась. Камилла рада любым поводам, позволяющим ей назвать его своим врагом, но каждый найденный ею повод заставляет Камиллу критически воспринять свою жизнь.

Движение открытого автомобиля создает легкий ветерок. Камилле кажется, что прохлада, овевающая лицо, шею и руки, чем-то сродни серебристой изнанке листвы, шелестящей над головой. Между деревьями мелькают поросшие травой склоны. Каждая черточка пейзажа дополняет тайное уединение.

Камилла сравнивает его равнодушие со своей любовью к мужу, детям и семье, представляет себе, как они ее окликают. Ее имя равносильно их ожиданиям. Ее жизнь — Камилла.

— Камелия, — произносит он.

Разница в несколько букв.

— Что именно ты во мне любишь? — спрашивает она.

— Твои мечты, твои локти, сомнения в уголках твоей уверенности, необычную теплоту волос, все то, чего ты хочешь, но боишься, крохотность…

— Я ничего в себе не боюсь, и ты обо мне ничего не знаешь.

— Ничего? Я знаю все, что о тебе написал.

Кто это говорит?

— Тебе безразлично, что со мной будет, — настаивает Камилла.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Потому что мне любопытно взглянуть на себя твоими глазами. Хочу понять, чем именно вызвано твое заблуждение.

— Я не заблуждаюсь. Я шел к тебе всю жизнь.

— Вы оба с ума сошли.

— Кто?

— Морис и ты.

— Но не мы с тобой.

— В Париже он тебя убьет.

Он останавливает машину у моста, там, где тропинка сбегает к ручью.

— Через восемь дней я приеду в Париж, — говорит Дж.

Она спрыгивает с подножки в неподвижную траву, распрямляет напряженные ноги, поворачивается, глядит на него исподлобья и неуклюже, будто внезапно забыв о заученном изяществе, бросается к зарослям акации. Камилла бежит, пошатываясь, как ребенок, — или как обезумевший от горя взрослый.

— А если, — хрипло восклицает она, раскинув

руки, — если не через неделю, а вот здесь и сейчас — Париж?

Спотыкаясь, она подбегает к деревьям.

Дж. бросается за ней следом. Она слышит его шаги и оборачивается. Среди акаций стоит шпалерная решетка, плотно увитая виноградной лозой.

— Не подходи, — кричит Камилла, скрывается за шпалерой и, озираясь, начинает раздеваться.

Над деревьями, над лесистыми горами, похожими на обросшие зеленой шерстью кулаки, виднеются невероятные заснеженные пики. Камилла опускает взгляд, сосредоточенно возится с застежками корсета.

Я отдаю тебе не себя. Не мою суть. Или, если бы я была тобой — а мне это сейчас очень легко вообразить, не сложнее, чем повернуть руку ладонью вверх или ладонью вниз, — если бы я была тобой, не твою суть. Если хочешь перечесть меня часть за частью, я буду такой же, как остальные, потому что никому не удастся оценить части, как не удастся соску оценить грудь, брови измерить свет взгляда, уху определить звук того, как я сейчас выйду к тебе из-за деревьев. По частям я — женщина, которая раздевается на прогалине, будто потаенное место у ручья, скрытое от взора;

та, кто совсем недавно тебя отвергла; та, кто сегодня вернется к детям в Париж; та, кто не может вообразить себя никем, кроме верной жены; та, кто никогда прежде не была той, кто я сейчас. Но я не сумма своих частей. Увидь меня целиком, так же, как жизнь требует воспринимать себя самого. У меня на затылке столько волосков, сколько у тебя способов ко мне прикоснуться. Я не себя тебе отдаю, а предлагаю тебе встречу нас двоих. Ты предлагаешь мне возможность тебе это предложить. И я это предлагаю. Предлагаю.

— Я жду, — произносит она вслух.

Неуместность ее тона его не удивляет (ее голос звучит так, будто она нетерпеливо окликает его в приоткрытую дверь спальни). Любые слова в такую минуту кажутся неуместными.

Она сидит на траве. Распущенные по плечам волосы спадают на тонкую сорочку. Серая юбка, жакет и еще какие-то предметы туалета сложены неподалеку.

Окружающее напоминает Камилле картины мастеров Возрождения, с фавнами и нимфами. Но не стоит воображать, что ее тело подобно телу богини кисти Тициана. У нее худые руки, шишковатая, напряженная шея, а бедра такие тощие, что если она встанет, сомкнув ноги, то между

ними будет просвет.

Она ожидает его, как он и предполагал. Однако же он изумлен. Сочетание изумления и в точности осуществленных ожиданий свойственно исключительно моментам плотского влечения, поэтому они и выбиваются из нормального хода времени. Возможно, в какой-то миг до нашего рождения мы, на неведомом для нас уровне, воспринимали так всю нашу жизнь. Прежде чем коснуться ее, он уже знает, что откроет для него прикосновение. Едва он коснется ее, то в полной мере осознает ее одинокость. Раздеваясь, она сбросила с себя все чужие желания, которые составляют ее жизнь. Вместе с одеждой она отринула всех ненавистных ему мужчин. Ее обнаженное тело — доказательство ее одинокости. Он узнает и желает именно этой одинокости. Он уводит ее из супружеской спальни, из богато обставленного дома, с улицы, где шторы неподвижны, будто высечены из камня, от зачитанного до дыр томика Малларме, от нарядов, заказанных у модистки и оплаченных мужем, от лживого равнодушия зеркал, отражающих супругов, — он уводит ее все дальше и дальше от привычных мест, туда, где она остается одна в своей одинокости. Оттуда, из его и ее уединен-

ности, они и начинают. *Andiamo*. Пойдем.

Он смотрит на нее невероятно пристальным взглядом, и она видит себя дриадой, по-звериному настороженной и проворной, чуткой, быстроногой, сладкоголосой, бесстыдной. Она видит его и дриаду вместе, и вид этот наполняет ее невероятной нежностью. Дриада расстегивает его рубашку. Камилла воображает, что дриада предложит себя по-звериному, на четвереньках, лицом к земле, а он возьмет ее, как козел. Она становится на четвереньки и подползает к его голове, склоняется и целует его веки.

— Камелия…

Чувство нежности обволакивает, лишает Камиллу способности воспринимать все отстраненно; мысль о дриаде немедленно пропадает, сначала на мгновение, потом надолго, дриада растворяется в тишине, наполненной запахом примятой травы, исчезает навсегда. Камилла, склонив голову над бедром лежащего рядом мужчины, полностью сосредоточивается на том, как ее язык скользит по внутренней стороне его члена.

Он под ней, над ней, рядом с ней. Он ничего от нее не требует. Он ни на что не притязает. Он здесь, будто шпалера, увитая виноградной

лозой. Он здесь, как стена, в которую можно биться головой. Он здесь, снаружи, словно мир, который не пытается ворваться к ней в сознание. Она не говорит себе, что любит его. В отличие от всех остальных мужчин он убеждает ее только в одном — в том, что желает ее и только ее, и это желание порождено ее существованием. Прежде мужчины останавливали на ней свой выбор для удовлетворения уже существовавших в них желаний, потому что она примерно соответствовала их ожиданиям. Однако у него, похоже, нет никаких ожиданий. Он убедил ее, что пенис, подрагивающий над ее лицом, приобрел размер, цвет, форму и тепло именно из-за того, что он распознал в ней. Когда дрожащий, шелковистый, багровый цикламеноподобный член входит в нее — глубоко, насколько позволяют кости ее тазового пояса, она осознает, что он возвращается к истокам своего желания. Вкус крайней плоти, умягченной одинокой слезой прозрачной семенной жидкости на цикламеновом бутоне головки — это вкус ее самой, воплощенной в другом.

— Это никогда не кончится, — медленно, нежно шепчет она. — Любовь моя. Любовь моя.

Они совокуплялись, наполовину уверенные

в том, что не лежат, а стоят, потом идут; ближе к концу они уже словно бежали по высокой мокрой траве. Вдобавок ему казалось, что ему навстречу бегут другие.

Все здесь. Как мне заставить эти слова раскрыть свой исходный и потенциальный смысл? Все здесь в свое время и одновременно. Мне совершенно неважно, твое это горло или мое. И все же, вот здесь, пусть слово «совершенно» достигнет своего совершенства. Не имеет значения, что чье. Все части едины. Все здесь вместе. Все, несмотря на все свои различия, здесь вместе. Он к ним присоединяется. Здесь больше нет нужды. Здесь желание является удовлетворением, точнее, ни желания, ни удовлетворения не существует, потому что между ними нет противоречия; здесь каждое ощущение становится ощущением свободы; здесь свобода исключает все, что ею не является.

Они с Камиллой неподвижно лежали бок о бок на склоне холма, у шпалеры с виноградной лозой. С противоположного берега реки крестьянин заметил белую, как у статуи, руку и ступню в чулке. Из любопытства он спрятался за куст и решил посмотреть, что будет дальше.

— Кем мы шли?

— Я была коленом, которое хотело ляжку другой ноги.

— Мои самые нежные слова звучали у тебя в бедрах.

— Твои пятки были моими пальцами.

— Мои ягодицы были твоими ладонями.

— Я прятался в уголке твоих губ. Ты искала меня языком, но там ничего не было.

— Твое горло вспухло, ступни мои в яме желудка, ноги твои пустотелы, голова моя качается на твоих плечах, я была твоим членом.

— Ты была светом, который падал на темные лепестки влагалища и становился розой.

— Кровеносный сосуд набух в завитке твоего цветка.

* * *

Обычно об инциденте со стрельбой в Домодоссоле сообщили бы только местные итальянские газеты, но из-за того, что в ожидании вестей о судьбе Шавеза в городок съехались репортеры со всей Европы, отчет о происшествии появился во многих зарубежных изданиях. Швейцарские газеты, как полагалось при освещении событий с участием респектабельных буржуа, тактично

опустили полные имена участников.

«Вчера в итальянском городке Домодоссола произошел прискорбный инцидент на почве ревности. Мсье Э., французский автопромышленник, приехал в город, чтобы присутствовать при историческом трансальпийском перелете Жо Шавеза. В половине четвертого пополудни, на рыночной площади, мсье Э. трижды выстрелил из пистолета в мсье Дж., молодого англичанина-авиалюбителя, который, выйдя из фруктовых рядов, направлялся к живописным магазинчикам на площади. Мсье Дж. был ранен в плечо; по мнению врачей, ранение не представляет угрозы для жизни. Его немедленно отвезли в ту же больницу, где ухаживают за героем-авиатором.

После происшествия мсье Э. без сопротивления сдался властям. “Жаль, что я не подошел поближе”, — заявил он полиции. По его словам, он предупреждал англичанина, что пристрелит его, если молодой человек не прекратит преследовать его супругу, мадам Э… “Речь идет о защите чести и достоинства, — пояснил он. — Как только обстоятельства этого дела станут достоянием общественности, меня не осудит ни один приличный человек”. Англичанин, хотя

и свободно говорит по-итальянски, отказался отвечать на вопросы».

* * *

На стене старой больницы Домодоссолы — позже неподалеку построили новую — висит памятная доска в честь Шавеза, героя-авиатора; надпись на ней гласит, что он скончался в палате первого этажа 27 сентября 1910 года.

Из рассказов о последних часах Шавеза ясно, что перенесенные в полете испытания преследовали летчика до самой кончины. Он не понимал, что отделяет его от окружающей жизни, к которой он стремился со всей страстью молодости. Достижение, неразрывно связанное с постигшей его трагедией, издевательски усиливало желание вернуться в прежнюю жизнь.

«Нет, я полечу сегодня. Поехали в Бриг». Да здравствует Шавез! Он помнил, как написал эти слова на ноге. Что он сделал не так? Разум отказывался разделять техническую неполадку и моральное прегрешение. Он со страхом предвидел, что вспомнит слова, выкрикнутые на подлете к Гондо, только когда пересечет ущелье. Он все еще летел сквозь разлом.

В больнице нет памятной доски у палаты, всего

на три окна дальше палаты Шавеза, куда Дж. поместили сразу после операции — из раны извлекли пулю. Пожилая сиделка-неаполитанка обтирала ему лицо и руки влажным полотенцем.

Наконец-то все успокоилось. С больничной койки Дж. был виден сад. Косой вечерний свет резко очерчивал неподвижные листья ивы. Дж. раздумывал, как быстротечна драма, как стремительно восстанавливается порядок. Он вспомнил об отцовском саду в Ливорно, об окуне в прудике и о восторженном озарении: важно то, что он не умер. Он шипит сквозь зубы.

— Вам больно?

— Нет, я просто кое-что вспомнил, — говорит он и небрежно добавляет: — Скажите, пожалуйста, вот вы, умудренная опытом женщина, не брезгливая, не щепетильная… Как по-вашему, похож я на дьявола?

— Ш-ш! Не надо об этом.

— Вы мне не ответили.

Она взглянула на молодого человека — щербатая ухмылка, темные глаза — и вспомнила, что в него стрелял возмущенный муж.

— Нет, по-моему, не похож.

(Позже, рассказывая об этом, она притворялась,

что ответила так нарочно, как и положено больничной сиделке, чтобы не волновать пациента.)

— А он меня дьяволом обозвал! Решил застрелить дьявола, представляете?! Знаете, как избавиться от дьявола? Надо предложить ему то, чего он хочет. Вы сможете?

Она обтерла ему лоб и прикрыла его губы рукой.

— Нет, вот вы бы предложили ему то, чего он хочет? — настаивал он. — Даже вашу душу? Ведь иначе от него не избавиться!

— Не шутите так. Это святотатство. Ну все, хватит.

— Р-р-р! — внезапно зарычал он.

(Потом
она смущенно рассказывала, что от удивления расхохоталась во весь голос.)

В палате за Шавезом ухаживала его невеста, приехавшая из Парижа. Лицо ее находилось где-то вдали, на другом конце Гондо. Шавез протягивал к ней руку, но ущелье выпускало из себя лишь кончики пальцев, позволяя им коснуться губ девушки.

Его рассудок не принимал опровержение истины, в которую Шавез верил всю жизнь. Он проявил небывалое мужество, он выжил, а значит,

Бог, природа и человечество должны быть на его стороне — однако этого не случилось. Почему? Он доказал свое право на успех, но вынужден от него отказаться. Недооцененный ветер, горы, предательский леденящий воздух, земля во рту, его кровь и плоть — все они противятся его достижению. Почему?

Всю ночь он бормотал: «*Je suis catholique, je suis catholique*»[15].

Дж. проснулся и дословно вспомнил разговор с Камиллой в автомобиле по дороге в Домодоссолу.

— Я тебе напишу. Скажи куда.

— Нет, не пиши. Как только я приеду в Париж, дам тебе знать.

— Вот увидишь, на что я способна. Ты поразишься, обещаю. Я всех обхитрю, лучше любого адвоката. Я переоденусь… переоденусь пекарем. И приду к тебе. Пекарем, представляешь? Или старой каргой. — Она рассмеялась. — Вот ты перепугаешься! А потом: раз! — и увидишь перед собой своего коростеля. Морис меня убьет, но я не боюсь. Нет, он тебя захочет убить, так что придется тебе переодеваться. В кого? В испанца!

---

[15] Сноски: 15
Я католик. Я католик (*фр.*).

В испанского священника. В кого-то, совершенно на тебя непохожего, — но я тебя все равно узнаю, как бы ты ни старался. Ох, и Морис тебя узнает, потому что у меня глаза загорятся. А если бы ты знал, что погибнешь? И я бы знала, что ты погибнешь, но не пыталась бы тебя остановить. Нет, ни за что. Раньше я бы наверняка тебя остановила, захотела бы спасти, отвергла бы. Сама бы испугалась. А сейчас… Нет, я знаю. Я бы ждала тебя с распростертыми объятьями. Ты бы сам этого хотел. Даже под угрозой смерти ты бы желал меня больше, чем любую другую. И я бы с радостью умерла с тобой.

На следующий день Шавез произнес свои последние слова, смысл которых остался неясен: «*Non, non, je ne meurs pas… meurs pas*»[16].

* * *

Уайменогорченно вошел в палату, холодно поздоровался с Дж. и выглянул в окно, словно на лужайке в саду что-то происходило.

— Завтра похороны, — сказал он.

— Да, я слышал разговоры в коридоре, здесь

---

[16] Сноски: 16
Нет, нет, я не умираю… не умираю (*фр.*).

стены тонкие. Шавез умер вчера, в три часа пополудни.

— Весь город в трауре, — вздохнул Уаймен.

— Если б Эннекен лучше целился, хоронили бы двоих.

— Дурацкое замечание.

— Ну, меня бы хоронили, не тебя же. Чего ты такой мрачный?

— Потому что у всех горе, а ты… ты… — Уаймен запнулся и перевел взгляд на лужайку под окном. — Что за легкомысленное поведение! Город в трауре, заводы и фабрики стоят…

— Прямо как в опере Верди. Итальянцы обожают смерти. Нет, не Смерть, а именно смерти. Ты что, не знаешь?

— Они тонко чувствуют трагизм ситуации.

— Ты же сам его дураком назвал.

— Я тогда не знал, что он умирает.

— А какая разница? — тихо спросил Дж.

Уаймен, успокоившись, присел у кровати.

— Он отошел на небеса, — произнес он голосом священника, — в рай погибших летчиков.

— Меня сегодня выписывают, — сказал Дж. — Я приду на панихиду. Кстати, Эннекены уехали?

— Знаешь, твой идиотский поступок выставляет нас всех в дурном свете. Такое поведение

порочит авиаторов. Мы же не авантюристы, не искатели приключений…

— Правда?

— Ох, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

— Скажи, они уехали?

— Между прочим, мадам Эннекен увезли в полуобморочном состоянии. Ты доволен?

— А мсье?

— Все порывался к тебе в больницу, грозился застрелить.

— Зря его ко мне не пустили. Я бы хотел еще раз с ним повидаться.

Внезапно Уаймен рассердился. Его худое лицо побагровело. Вытаращив глаза, он уставился на человека в постели.

— Да уж, надо было пустить. Что ты творишь? Чего добиваешься? Послушай, в городе полно народу, а завтра будет еще больше. Люди приезжают отовсюду, чтобы воздать последние почести Жо за его необычайное мужество, за его достижение. Крестьяне из горных деревень пешком приходят, стоят на площади, чтобы проводить героя в последний путь. Посмотри на их лица и устыдись! Пойми, что такое подвиг. Люди всю жизнь трудятся, не разгибая спины, жертвуя всем ради

будущего своих детей. И вот среди них, среди этих благодарных паломников ты… Задохлик несчастный! — Хлопнув дверью, Уаймен вышел из палаты.

* * *

Огромные толпы сделали город похожим на деревню. Люди в траурных одеждах заполнили улицы. В дверях домов стояли скорбные женщины, придерживали детей, чтобы они не выбежали к траурной процессии, не нарушили ее торжественную медлительность. Из окон и с балконов свисали черные стяги и трехцветные знамена с траурными лентами. Ярко светило солнце. Опустели все улицы, по которым не проходил кортеж, закрылись лавки, магазинчики и конторы. Над городом звучали гулкие, протяжные удары колоколов — звук стихал в напряженной тишине, и за ним следовал новый. Даже в аркадах на рыночной площади, откуда не было видно ни неба, ни гор, царило странное уединение. Повсюду стоял сильный запах лошадей и кожи — крестьяне, приехавшие в город из окрестных деревень, оставили свои телеги и повозки у рынка и шли за гробом.

Начальник вокзала в фуражке с золотым кан-

том и длинном сюртуке еще раз критически взглянул на свое отражение в стеклянных дверях вокзального зала ожидания — не из тщеславия, а осознавая важность момента; так актер смотрит в зеркало перед выходом на сцену. К вокзальному телефону выстроилась очередь европейских репортеров, ждущих связи со столичными редакциями газет.

У больницы городской оркестр грянул траурный марш. Похоронная процессия медленно двинулась с места. Перед четверкой лошадей шли девочки в белых вуалях, усыпая булыжную мостовую лепестками тубероз. Мальчишки сновали по улице, поднося девочкам корзины цветов. Мэр объявил, что похороны организованы за счет городской управы. Одна малышка, сосредоточенно закусив нижнюю губу, рассыпала лепестки перед кортежем, будто забрасывала невод в быструю реку, и с робкой улыбкой смотрела на подруг.

За катафалком шли бабушка, брат, невеста и друзья героя. Невеста шествовала с высоко поднятой головой, словно жена, сопровождающая мужа-еретика к месту казни. Она бросала вызов силам стихии, погубившим жениха. Брат Жо, молодой банкир, шел понурившись, глядя под ноги

на еще не растоптанные лепестки. Бабушка шагала, гневно втыкая клюку в цветочные бутоны на мостовой.

Следом за родственниками устремились дипломаты, сенаторы, летчики, мэр города, репортеры, производители авиационной техники и коммерсанты. Чуть поодаль двигалась многотысячная процессия горожан, многие из которых видели, как над склоном горы появился аэроплан Шавеза, как он летел к посадочной площадке, на которой Дюрей выложил крест из белого полотна. Люди радовались знаменательной победе, одержанной с кажущейся легкостью. Невозможное стало возможным. Всех охватил восторг. Газеты провозгласили неосуществимую мечту претворенной в жизнь. Многие задавались вопросом, почему не все добиваются желаемого. На этот гипотетический вопрос им с готовностью предоставили привычный ответ: надо свергнуть богачей и уничтожить собственность, объединить страну, вернуть Триест и расширить колониальные владения — вот тогда устроиться судьба Италии. Впрочем, для вопрошавших эти ответы мало что значили. Вопрос оставался открытым.

Неожиданная смерть Шавеза стала однозначным и ясным ответом: верно говорят, что легких

подвигов не бывает. За все нужно платить. Настоящие герои погибают. Чрезмерные желания удовлетворяются лишь в смерти. Выбирайте сами: жизнь как она есть или геройская гибель.

У собора начались речи. Толпа согласно внимала ораторам. Юноши, поставленные перед выбором, по обыкновению, воображали себе героическую смерть. Старики вспоминали прожитые годы с затаенной гордостью, будто собственных детей; пытались отыскать доказательства того, что хитростью и умеренностью можно добиться от жизни большего. В конце концов, жизнь всегда лучше смерти, хотя наивная храбрость погибшего героя глубоко затрагивала сердца — ведь старики тоже когда-то были молодыми и наивными, однако суровая школа жизни значительно умерила юношескую восторженность. Итак, молодежь с ликованием превозносила героическую гибель, а старики вспоминали, какой ценой досталось им выживание.

— О Шавез, мой великий соотечественник! — воскликнул перуанский посол. — Родина гордится тобой и в моем лице склоняется над твоим гробом, воздавая тебе почести. И пусть родные оросят могилу слезами, однако нациям не пристало рыдать и жаловаться на судьбу; твоя отчизна

славит тебя, ее знаменитого сына, пожертвовавшего жизнью ради светлых идеалов…

Люди, собравшиеся полукругом вокруг катафалка и на ступенях собора, расступились, пропуская группу обмороженных горных проводников с носилками, заваленными венками из альпийских цветов — эдельвейсов, арники, незабудок и рододендронов. Носилки установили по обе стороны у входа в собор.

— Мы увидимся с тобой там, за облаками, — произнес один из проводников, хлопая себя по обмороженным щекам.

— С самого раннего детства ты отличался неукротимой энергией, — продолжил посол, — и твоя смерть служит тому ярким примером. Сильный и смелый, ты пролетел над вечными снегами высочайших вершин на хрупком аэроплане, как символ отваги и гениальности человеческого разума.

Мэр объявил, что именем погибшего героя назовут городскую площадь.

На панихиде присутствовали родственники авиатора и высокопоставленные зарубежные гости. Все стояли, устремив глаза в сумрак собора, где не блестела даже золотая утварь. От плит пола веяло холодом; здесь, в церкви, а не на усы-

панных цветами улицах, благочестивая паства пыталась отказаться от желания жить.

— Шавез, отчаянный смельчак, неукротимый храбрец, увидевший Альпы с высоты птичьего полета и покоривший их, — возвестил каноник, — гордый, отважный юноша, быстрее орла пронесшийся над горами и долинами; Шавез, триумф которого заставил нас трепетать в восхищении… Шавез покинул наш бренный мир.

В соборе Дж., стоя рядом с мсье Шувеем и Матильдой ле Дирезон, размышлял об Эннекенах. Камилла готова была стать его любовницей. Мсье Эннекен не осмелится стрелять в Дж. еще раз — супруга наставила ему рога, однако отомстить за себя он так и не смог, а потому последующая измена значения не имела. Ему придется признать право жены завести любовника — разумеется, с соблюдением всех правил приличия, — при условии, что ему самому это обеспечит определенную свободу и не доставит дальнейших неудобств. Камилла проникнется к нему благодарностью и будет обожать и любовника, и супруга — впрочем, по-разному. Изредка выполняя супружеский долг, она будет искренне считать, что по-настоящему принадлежит только своему возлюбленному, ради которого и терпит

домогательства мужа.

В соборе горели сотни свечей; в потоках нагретого воздуха пламя мерцало и колыхалось; огоньки по соседству тянулись друг к другу, будто совещаясь между собой; пламя вспыхивало; одни язычки пламени вздымались ввысь, а другие, наоборот, пригибались, распластывались вокруг фитиля, словно в поисках воздуха.

Чтобы не раздражать мужа, Камилла потребует от любовника скрытности, пунктуальности и определенной финансовой поддержки. Чтение Малларме она забросит, потому что его стихи будут слишком живо напоминать ей о том, как она — единственный раз в жизни — осталась наедине с собой. Впрочем, она найдет утешение в творчестве другого, более приземленного поэта. Со временем всё устроится, все будут довольны. От скуки или повинуясь сентиментальному порыву, Камилла с несвойственной ей пылкостью разделит супружеское ложе с мсье Эннекеном и решит, что на самом деле принадлежит только мужу. Эта мысль незамедлительно вернет ее в объятия любовника, и Камилла начнет убеждать себя, что желает принадлежать исключительно ему. Достигнув желаемого,

она воспользуется удобным случаем (в ожидании которого посвятит себя детям и знакомым) и проверит крепость своих уз, снова предложив себя супругу. Эти метания, сопровождаемые необъяснимым возбуждением, могут продолжаться бесконечно. Поначалу она с нетерпением будет возвращаться к любовнику, но постепенно (особенно в умиротворенном настроении) осознает, что принадлежит им обоим, а еще больше — подросшим детям. После чего Камилла поймет, что в любовнике ее привлекает не страсть, а интеллект. Лет через десять, если ей повезет, она обзаведется вторым любовником, а первый — с некоторыми ограничениями — станет исполнять роль супруга. Если же ей не улыбнется удача, то Камилла удовольствуется встречами мужа (который к тому времени займет пост в совете директоров «Пежо») с любовником, дабы в беседе и воспоминаниях ощутить себя принадлежащей им обоим. В старости, мельком взглянув в зеркало, она увидит, что осталась одна и никому не принадлежит, но к тому времени уже будет думать только о смерти, не оставляющей иного выбора. Перед смертью все одиноки.

— Он поднялся в небеса, совершив знаменательную победу на пути к покорению мира, —

продолжал каноник. — Он был бесстрашным первопроходцем, обеспечившим прогресс человечества. Его доблестное достижение открывает перед нами сияющее будущее — границы, разделяющие страны и нации, исчезнут навсегда, блага цивилизации проникнут в самые отдаленные уголки земного шара…

Матильда ле Дирезон, заметив Дж. неподалеку, с любопытством окинула взглядом его руку на черной перевязи. Подруги успели обсудить случившееся до отъезда Камиллы в Париж и решили, что Джи — заправский донжуан, в жизни которого были сотни любовниц. Впрочем, Камилла заявила, что это не имеет никакого значения.

Матильду занимали два вопроса. Во-первых, что именно заставило Камиллу так быстро поддаться его обаянию? Второй вопрос относился к ней самой. Почему Дж., у которого были сотни женщин, не попытался ее обольстить? Вопросы переплетались, как нити красного шелкового ограждения на конце скамьи. Матильда, слушая панихиду, рассеянно раскачивала канат.

Лицо у нее было глуповатым, как у человека недалекого, не желающего или не способного предаваться глубоким чувствам и играм воображения. На ее лице отчетливо читалось: «Все,

что происходит, происходит со мной. Со мной. Со мной!»

Дж. глядел на покачивающийся красный канат ограждения и обдумывал план действий. Он поедет в Париж, нанесет визит Эннекенам, демонстративно проигнорирует Камиллу, успокоит супруга и завяжет бурный роман с Матильдой ле Дирезон. Таким образом он отомстит Эннекену, представив все произошедшее как нелепое недоразумение, вызванное неумелым флиртом супруги; потом объяснит Камилле, что страсть по натуре своей неконтролируема, а любовник — не супруг. Интрижка с Матильдой будет непродолжительна, после чего он исчезнет из их круга. Жаль, конечно, что между мсье Шувеем и Матильдой ле Дирезон отношения сугубо практические, но самолюбие Шувея наверняка будет уязвлено, в этом Дж. не сомневался.

— …Он погиб, но погиб геройски, совершив невероятный подвиг. Честь ему и слава!

Приглашенные выходили из собора, щурясь на солнце, и склоняли головы с видом людей, причастившихся к тайне, делиться которой они не собирались. Для толпы торжественность момента развеялась. Мальчишки все так же сновали

с корзинами тубероз, но девочки в белых одеяниях уже хихикали и лукаво переглядывались. Оркестр затянул очередной похоронный марш, и вся процессия медленно двинулась к вокзалу.

Как объяснил директор школы, горный проводник из Формаццы, хлопавший себя по щекам, имел в виду, что дух Шавеза будет жить в воздухе гор, овевая лица альпинистов на вершинах, как ветер или жар солнечных лучей.

Состав стоял на путях. Вот уже дважды поезд останавливался в Домодоссоле специально для Шавеза. Гроб, снятый с катафалка, несли авиаторы, среди них был и приятель Шавеза, Луи Полан. Начальник вокзала отдал им честь. Репортеры бросились к телефону. Девочки в белых одеяниях выстроились вдоль перрона. Внезапно паровоз дал пронзительный, длинный гудок.

Дж. снова подумал о Камилле — не о той, которая ждала его в Париже, а о Камилле, которая предложила приехать к ней под угрозой смерти. Сейчас ему уже ничего не угрожало, но в тот момент опасность существовала. Дерзкий вызов прозвучал как приглашение. Никогда прежде женщина не обращалась к Дж. с такой властной решимостью, с поразительной уверенностью сивиллы. Если бы ее пророчество в отношении

супруга оказалось верным, то Дж. немедленно принял бы приглашение.

Гудок паровоза, по замыслу начальника вокзала и машиниста, должен был стать прощанием с героем. Ровный, однотонный, ни на что не похожий звук не отдавался эхом. Он был бессмысленным, бездушным — словно пронзительно визжала свинья — и длился бесконечно, вызывая у всех присутствующих лишь одно желание: скорее бы он прекратился. Хватит!

Бабушка Шавеза застучала тростью по перрону — то ли от досады на нелепый гудок, то ли от бессильного, всеобъемлющего горя.

Часть IV

7

Нуша решила, что Дж. не такой, как все мужчины. Даже видя, что она одна, без спутника, он не обратился к ней как к проститутке. Он представился итальянцем, но был с ней очень вежлив. («Наверное, он итальянец откуда-то издалека», — подумала она.) Он был хорошо одет и все же присел на грязные камни, объяснив, что каменной скамье больше двух тысяч лет. Он вежливо предложил Нуше руку, помогая взойти по ступенькам, и больше к ней не прикасался. (Она была готова позвать на помощь, как только они сели на скамью, но в этом не оказалось нужды.)

— Я сюда каждый день прихожу, — сказал он. — А вы зачем здесь?

Нуша хотела ответить, что пришла сюда с братом, но внезапно испугалась, что незнакомец — полицейский агент.

— Я прихожу сюда, потому что ненавижу христианские гробницы, — продолжил он.

Нуша удивленно уставилась на него.

Он невозмутимо заговорил о погоде, о Триесте и войне.

Чуть позже он спросил, откуда Нуша родом. Вопрос не таил в себе опасности, и Нуша ответила, что родилась в Карсте.

— Скажите что-нибудь по-словенски, — попросил он.

Нуша сказала на словенском, что день выдался солнечный. Он попросил ее продолжать. Она подумала и громко, с вызовом заявила, что итальянцы презирают словенцев. Ей стало интересно, понял ли он, однако он продолжал улыбаться.

— Прошу вас, поговорите по-словенски. Расскажите мне какую-нибудь историю, что в голову придет.

Нуша спросила, понимает ли он по-словенски.

— Ни слова, — ответил он и снова улыбнулся. — Я не раскрою ваших тайн.

Ей ничего не приходило в голову. Он немного подождал, а потом посмотрел на Нушу, вопросительно приподняв бровь.

— Видите кошку, вон там, в траве? — произнесла Нуша по-словенски.

Она умолкла и положила ладонь себе на плечо. Руки у нее были крупные, мощные. Посадка

головы и разворот плеч создавали впечатление, что тело слегка отклонено назад. В иной ситуации это придавало бы ей надменную статность.

— Мне здесь не нравится. Сама бы я сюда ни за что не пришла. — Нуша осеклась, испугавшись, что невольно выдала присутствие брата, но тут же вспомнила, что говорит по-словенски. — Если б я нашла эти гадкие каменные обломки на дядюшкином поле, я бы их выбросила. Говорят, за них можно выручить хорошие деньги. Но если они такие ценные, почему валяются здесь, в траве? Их бы давно в Вену увезли… Вон там, у арки, растут сливы, — продолжила она. — Говорят, если война не закончится, то в городе начнется голод. Все продовольствие увезут в Вену.

— У вас очень выразительная речь, — заметил Дж.

— Это мой родной язык, — ответила Нуша по-итальянски.

— Где вы работаете?

— На фабрике.

— А что за фабрика?

— Текстильная, джутовая.

— И давно вы там работаете?

— Три месяца. Рыбой воняет, противно.

— Почему рыбой?

— Рыбьим жиром джутовое волокно умягчают.

У нее снова возникли подозрения: он наверняка сыскной агент австрийцев. Или сумасшедший. (О безумии ей напомнил сад.) Или предложит ей место служанки. (На это она ни за что не согласится.) Или он — «зарубежный друг», который ждет встречи с ее братом.

Ее брат, Боян, был где-то неподалеку, в саду камней Музея истории и искусств. Боян приходил сюда каждое воскресенье, встречаться с друзьями: по воскресеньям сад посещали редко, а вход был бесплатным. Брат объяснил ей, что сад носит имя Гёльдерлина — немецкого поэта, который любил Грецию и написал поэму о великом греческом герое-патриоте, участнике восстания против турков, совсем как сербы. К концу жизни Гёльдерлин сошел с ума. О безумии немецкого поэта Нуше напоминал обломок каменной ступни в траве и детский торс без рук, прислоненный к стене.

Когда люди начинают осознавать важность независимости нации, в неразвитых или колонизированных сообществах, в одной семье и даже в одном поколении обнаруживаются огромные различия в познаниях, хотя они

и не представляют непреодолимого барьера. Тот, кто получил образование в имперской системе (иного образования получить невозможно), понимает, что народу не позволяют ознакомиться с собственной историей и культурой, а потому ценит культурные ценности и традиции, бережно сохраненные семьей, а его родственники воспринимают его как вождя в борьбе против иностранных завоевателей, которых прежде затравленно опасались. Образованные люди и невежды стремятся к одним и тем же идеалам. Разница между ними служит доказательством несправедливого обращения и единомыслия. Идеи становятся неотделимы от чаяний.

Брат, на два года старше Нуши, научил ее читать, когда ей было двенадцать. Тогда она жила в деревне. Их отец был крестьянином.

Карст — известняковое плато со скудной растительностью. Земледелие там практически невозможно. Местность открыта небу, ее ничего не защищает. В пористой горной породе много пещер. Нуша помнит, как брат обозначил все известные ему пещеры на карте, назвал их именами приятелей: Каэтан, Эдвард, Руди, Томаз. Расселины, овраги и валуны Карста напоминают развалины города, созданного по особой геомет-

рии. На побережье, там, где утесы обрываются в море, расположен Триест. Здесь в 1840-е годы по велению барона фон Брука, австрийского министра финансов, развернулось строительство крупного порта для немецкоязычной «семидесятимиллионной империи». Между горных кряжей и склонов, поросших редким кустарником, прячутся долины и котловины с плодородной почвой, где разбиты поля и виноградники.

У Нушиного отца было три коровы; он поставлял цветы и фрукты на рынки Триеста. Директор школы помог Бояну получить место в городской гимназии. Когда Нуше исполнилось шестнадцать, умерла ее мать. Безутешный отец считал дочь болтушкой и бездельницей. (Брат, в отличие от остальных жителей деревни, поощрял ее говорливость и любовь к чтению.) Год спустя отец тоже умер, и Нуша переехала в Триест, где нашла место служанки в семье итальянцев.

После 1920 года, когда Триест перешел к Италии, фашисты запретили словенский язык. Одного врача-итальянца спросили: «Как же крестьяне, не знающие итальянского, объясняют вам свои недомогания?» Врач ответил, что коровам не требуется объяснять ветеринару, где у них болит.

Нуша выучилась говорить по-итальянски и стала работать на складе в порту. Боян уехал в Любляну, днем работал официантом, а по вечерам учился в торговом училище. Получив диплом, он отправился в Вену и устроился на службу в компании по импорту цветных металлов. В торговом училище он вместе со своими приятелями — студентами училища и старшеклассниками — организовал подпольный кружок, связанный с организацией «Молодая Босния».

В марте тысяча девятьсот пятнадцатого года Боян вернулся в триестский филиал своей фирмы.

Он с изумлением разглядывал сестру, восседающую на каменной скамье, как на троне, рядом с хорошо одетым незнакомцем. Боян не ожидал, что в саду будет кто-то еще. Он воображал, что сестра в одиночестве бродит по саду, среди фруктовых деревьев. С виду незнакомец был невзрачным. Может быть, австрияк. (Издалека Боян не слышал, как он говорит по-итальянски.) Очевидно, не бедный. Лицо хитрое, разочарованное. Он сидел рядом с Нушей на резной каменной скамье, установленной на пьедестале, под смоковницей. Сцена выглядела иллюстрацией из дешевого венского журнальчика. Разница

в социальном положении навевала подозрения о намерениях незнакомца. Мужчина и женщина, наедине в саду… Элегантность и аккуратность его одежды свидетельствовали о порочности, точно так же, как юбка и блузка сестры, вкупе с косынкой, невольно заявляли о доступности. Боян попытался убедить себя, что у сестры имелась причина вступить в невинную беседу, однако незнакомец так красноречиво смотрел на нее, что не заметить этого было нельзя. Бояна раздражало то, что сестра привлекает подобные взгляды. Он не раз задавался вопросом, как она жила, пока он был в отлучке. Он считал ее слишком крупной — одежда до неприличия подчеркивала ее формы. Почему Нуша такая дебелая? Почему она дороднее обычных девушек? Он подозревал, что ей не хватает силы воли. Участники организации «Млада Босна» закаляли волю, воздерживались от интимных связей. Похоже, Нуша не горела желанием сохранить невинность. Для Бояна сестра по-прежнему была наивной двенадцатилетней девочкой, которую он учил читать. Разъяренный и в то же время охваченный нежностью к памяти сестры (вряд ли душа ее изменилась), он бросился к этой отвратительной, дешевой, бездушной иллюстра-

ции. Он бежал легко, как гонец в начале своего пути. У ступеней он замер, вытянулся по стойке смирно и чинно обратился к незнакомцу по-итальянски:

— Прошу прощения, но мы с сестрой торопимся.

Потом посмотрел на Нушу и сказал ей на словенском:

— Пойдем скорее.

Она встала и последовала за братом.

Подпольную группировку «Млада Босна» — «Молодая Босния» — назвали в честь организации «Молодая Италия», основанной Джованни Мадзини в 1831 году для борьбы за независимость итальянской республики. Целью «Молодой Боснии» было освобождение южных славян (на территории современной Югославии) от господства Габсбургов. Особенно активно организация действовала в Боснии и Герцоговине после их аннексии Австро-Венгерской империей в 1908 году, но ее группы также существовали в Далмации, Хорватии и Словении. Убийства стали основным политическим орудием этой террористической подпольной организации.

Убийство иноземного тирана или его представителя служило двоякой цели. Во-первых,

оно подчеркивало естественное правосудие. Во-вторых, оно доказывало, что не останутся безнаказанными даже преступления, совершаемые во имя прогресса и правопорядка: принуждение, эксплуатация народных масс, притеснения, лжесвидетельство, запугивание, равнодушие властей. И самое гнусное преступление — запрет на формирование национального самосознания. Навязанные угнетателями критерии национальной самооценки выставляли людей ущербными, беспомощными и неприспособленными к самостоятельному существованию. Естественное правосудие требовало искупления за бесчисленные жертвы этих преступлений. Политическое убийство воодушевляло живущих и заставляло их осознать, что смерть во имя справедливости оспаривает имперскую власть, лишает ее абсолютности. Убийца личным примером поднимал народные массы на борьбу с иноземными угнетателями. Свержение гнета делалось таким же возможным, как публичное убийство тирана.

«Заговорщик, который, горя желанием отомстить за человечество, становится поборником естественного правосудия, тем самым исполняет священный долг», — писал Мадзини.

Второго июня тысяча девятьсот четырнадцато-

го года девятнадцатилетний Гаврило Принцип, участник «Молодой Боснии», застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгерской империи Габсбургов и его супругу, графиню Хотек, которые ехали по улицам Сараево в открытом автомобиле.

В толпе находились еще шесть младобосний-цев, надеявшихся убить эрцгерцога. По разным причинам пятерым это не удалось. Шестой, Неделько Чабринович, бросил гранату, но промахнулся, и она взорвалась за автомобилем Франца Фердинанда. Несколько человек получили ранения, однако эрцгерцог не пострадал. Чабринович проглотил пилюлю с ядом и прыгнул в реку. Доза яда оказалась слишком мала, и юношу вытащили из реки живым. На вопрос, кто он, Чабринович ответил: «Я — сербский герой».

Тем утром Чабринович отправился в ателье фотографа, где снялся вместе со своим школьным приятелем и заказал шесть копий фотографии. Заказ обещали выполнить через час. Чабринович попросил приятеля отослать снимки по шести адресам. Впоследствии на заседании суда, где рассматривали дело двадцати пяти обвиняемых, судья поинтересовался, для чего были нужны фотографии. Чабринович объяснил, что хотел

оставить свидетельство для будущих поколений.

Одну из фотографий получил Вузин Рунич в Триесте. Чабринович работал в триестской типографии до октября 1913 года. Уезжая из города, он заявил: «Когда в Сараево приедут типы с красными лампасами и в шлемах с перьями, вы обо мне услышите».

После возвращения в Триест Боян показал снимок Нуше и спросил, знает ли она, кто это. Она помотала головой. Брат рассказал ей о Чабриновиче.

— А теперь он, закованный в кандалы, умирает в тюрьме от холода, голода и сырости, — продолжил он. — Даже тюремщики там не выдерживают. Цепи кандалов весят десять килограммов. По ночам камера покрывается льдом. Гаврило тоже в тюрьме. Всех заключенных держат в одиночных камерах. Неделько был готов умереть. Мы все к этому готовы. Его нарочно не казнят. Его императорское величество предпочитает, чтобы преступники умирали медленно и в страшных мучениях.

На фотографии были изображены два молодых человека в темных костюмах и белых рубашках с жесткими воротничками. Брат Нуши одевался так же. Неделько стоял слева — черноволосый,

с темными бровями и усами. Приятель приобнимал его за плечи.

— Неделько сфотографировался, думая, что не проживет дольше трех часов, — вздохнул Боян. — Операцию плохо подготовили, даже яд подвел.

Слова брата пугали Нушу; он слишком много и часто говорил о жутких вещах.

Лицо Чабриновича сурово и спокойно. На лице его приятеля застыло напряженное выражение, а Чабринович уже все решил (во всяком случае, так он считает, глядя в объектив, — этот миг воплощает всю его жизнь). Он избрал свою судьбу. А если — в ближайшие часы — у него возникнут сомнения, то черно-белый снимок не позволит ему изменить сделанное решение.

«Я презираю тот прах, из которого состою и который говорит с вами; его можно преследовать и предать смерти, этот прах! Но меня нельзя лишить той независимой жизни, которую я создал себе в веках и на небесах…»[17]

Нуше казалось, что снимок похож на фотографии покойных на могильных камнях — не на де-

---

[17] Сноски: 17
Луи Антуан Сен-Жюст, трактат «Республиканские установления».

ревенском кладбище, а на кладбище святой Анны в Триесте. Только на надгробиях фотографии выцвели. Разглядывая снимок, она поняла, что сделает все, о чем попросит брат или его друзья, потому что они — герои. В ее дородном теле, в ее крови было что-то неизменное, то, что они любили — не в ней, но само по себе, — и за это каждый из них был готов умереть.

Гаврило Принцип и его сообщники своим решительным поступком хотели привлечь внимание к неоспоримому факту прозябания южных славян под властью Габсбургов. Однако этот поступок был истолкован с помощью фантасмагорических ухищрений великодержавной дипломатии. Австрия безосновательно утверждала, что в заговоре принимало участие правительство Сербии. Россия, Германия, Франция и Великобритания заняли свои позиции. Заявления министров и приказы, отдаваемые с точки зрения национальных интересов, не имели ничего общего с действительностью. Никто не учитывал самых очевидных фактов, связанных с предстоящими военными действиями. Как заявил Мольтке, руководитель Германского генерального штаба, «ничего невозможно предугадать».

— Ты когда-нибудь слышала артиллерийскую подготовку? — спросил Боян.

— Я никуда из Триеста не уезжала.

— От грохота барабанные перепонки лопаются.

— Ты о чем?

— Знаешь, когда начинается артиллерийский обстрел, кажется, что вот-вот все грешники из ада восстанут. На самом деле грохот снарядов — это храп спящих государств. Поэты и революционеры страдают бессонницей. Нуша, мы живем в небывалое время.

— И что теперь будет? — встревоженно спросила она.

— Цветные металлы не спасут от призыва. Так что я, пожалуй, скоро уеду в Париж.

— В Париж?!

— Да, там сейчас Владимир Гачинович. Мы с ним встретимся, обсудим, как исправить ошибки. Надо подготовиться к окончанию войны.

— Во Франции тебя арестуют.

— Я раздобуду итальянский паспорт. Итальянцы все время нелегально переходят границу, спасаются от призыва. А если у меня будет итальянский паспорт, то мне ничего не страшно.

Музей истории и искусств расположен рядом с замком на горе Сан-Джусто, откуда открывается вид на Триестский залив. С вершины горы на юго-запад сбегают узкие улочки. Нуша шагает широко, размахивает на ходу массивными руками, топает по булыжникам мостовой, чуть откинувшись назад. Юбки развеваются, как тяжелое полотнище флага. «Вот доберусь до центра, пойду как городская, а не как крестьянка какая-нибудь», — думает она.

Нуша считает брата дальновидным; он понимает то, что ей понять не дано. Бояну с друзьями уже известна та правда, которую весь мир признает только завтра; они уже обличают то зло, на которое мир сегодня закрывает глаза, но обязательно обрушит свой гнев в будущем. Еще она верит, что Боян — человек праведный, готовый умереть за правое дело.

Она проходит мимо траттории, откуда раздаются шумные голоса и тянет запахом жареного. Нуша заглядывает в открытую дверь. В дальнем углу за большим круглым столом собрались итальянцы. Стол уставлен тарелками и полупустыми графинами вина, повсюду валяются хлебные корки — странный, застывший беспорядок, когда обед затягивается на целый день,

но расходиться никто не собирается. «Если бы я зашла и начала петь, — думает Нуша, — мне бы наверняка дали денег, потому что все сытые и довольные, да и воскресенье сегодня. Жаль, петь пришлось бы на итальянском…» Пока она набирается смелости, один из посетителей машет ей, приглашает войти. Нуша торопливо проходит мимо.

Нуша не знает, почерпнул ли Боян из книг свою любовь к справедливости и способность к рассуждениям, или его способность к рассуждениям позволила ему найти нужные книги. Она восхищается терпением брата и его друзей. Они часами сидят над книгами, не обращая ни на кого внимания, неподвижно, будто деревья, вросшие в половицы. Внезапно кто-нибудь вздрагивает, словно громом пораженный, отбрасывает книгу и вскакивает с криком: «Надо действовать! Нельзя терять ни минуты!» Следом поднимаются остальные, возбужденно переглядываются, молча надевают куртки, нахлобучивают кепки и выходят. Однажды Нуша из любопытства заглянула в книгу — текст оказался на немецком, а по-немецки Нуша не читала.

За поворотом улица становится похожа на мост — с одной ее стороны открывается

вид с горы, на здания в центре города, вокруг биржи. Большинство зданий цвета сепии, светло-коричневые, как деревянные коробки из-под сигар. Дома украшены коринфскими колоннами и фризами, карнизами и кариатидами. Немецкоговорящая «империя семидесяти миллионов», намереваясь сохранить наследие Древней Греции, оставила свой отпечаток на фасадах особняков.

Нуша запевает про себя любимую песню — из тех, что не осмелилась бы спеть в траттории. В песне говорится о юноше, который преодолевает горные перевалы и обещает матери вернуться в родной дом. Мелодия неудержимо рвется наружу, и вот уже Нуша распевает во все горло. Ее походка становится легкой, грациозной. Одна рука сжата в кулак и отбивает ритм; ладонь другой руки помахивает в такт напеву. Нуше представляется ручеек, бегущий среди камней. Прозрачная горная река, серебрящаяся под лучами солнца, как миллионы серебряных булавок, заколотых в подол юбки, — вот что воображает Нуша, когда ворочает в чане джутовое волокно, пропитанное вонючим рыбьим жиром. Мимо нее медленно проходит пожилая супружеская пара. Старуха цепляется за руку мужа, а он держится

поближе к стене. Существует какая-то странная связь между тем, как они ходят и как мало едят. В деревне Нуша никогда не встречала таких древних стариков: там они либо больны и не выходят из дома, либо крепки и ни в чьей помощи не нуждаются.

— Молодец, деточка, — говорит старуха Нуше по-словенски. — Сегодня же воскресенье!

Нуша вспоминает упреки Бояна. Брат начал ее ругать, как только они вышли из музея: за то, что Нуша себя не уважает, что позволяет себе стать жертвой, что такие типы, как этот итальянец, только и ждут случая, чтобы толкнуть ее на путь разврата.

— Ты же знаешь, как они нас называют! — гневно воскликнул он. — *Sc'iavi*![18] И смеются, довольные своей шуточкой.

— Ты согласилась присесть с ним рядом и тем самым показала, что готова стать рабыней, — не унимался Боян. — Помнишь, я летом приезжал, мы с тобой читали Франце Прешерена? Ты еще сказала, что хочешь жить так, как он описывает. Ведь душа твоя не изменилась. Да, тогда ты жила в деревне, а теперь живешь в городе…

---

[18] Сноски: 18
По-итальянски *sc'iavi* — рабы; *schiavi* — славяне.

У Триеста нет души, это город с немецким рассудком и итальянским желудком. Здесь надо ко всему подходить с осторожностью. Только так ты сможешь жить достойно, как современный человек, как современная женщина, во всем равная мужчине. А сидеть и смеяться над шуточками итальянца… Нет, Прешерен бы этого не одобрил.

Чуть позже Боян успокоился и, отведя Нушу в тень крепостных стен, подальше от приятелей, спросил, не собирается ли она замуж. Нуша покачала головой. Боян умолк, удовлетворенный ответом, и уставился вдаль, на три холма, окруженные морем, — на их склонах построен Триест. Дул легкий ветерок, колыхал кроны деревьев. Тени листьев метались по земле, будто рассыпались монеты. Ветви не шевелились.

Нуша, смущенная гневной отповедью брата, всего этого не замечала, но ощутила прохладное дыхание ветерка на щеке.

— Придет время, и мы избавимся от этого анахронизма, — заявил Боян.

Нуша не знала слова «анахронизм».

— Мы освободимся, — продолжил он, — и вот тогда наступит время создавать семью, рожать детей, свободных сынов и дочерей отчизны. Заводить детей сейчас — преступление; они станут

рабами и пушечным мясом тиранов.

В центре Триеста царит унылое запустение. С началом войны торговля в городе пришла в упадок, люди остались без работы. Некогда оживленный порт замер. Нуша останавливается у витрины, разглядывает крепдешиновое платье. Светлые, медового цвета волосы скрыты косынкой.

«Будут ли у меня и у подруг такие платья, когда придет время создать семью и заводить детей?» — смущенно думает Нуша, зная, что Бояна спрашивать об этом бесполезно. Для него это слишком легкомысленный вопрос. Она недовольно морщится, разглядывая свое отражение в витрине: мощные плечи, крутые бедра. Нижняя челюсть, подбородок и груди тяжелые, округлые. Лоб широкий. Она твердо стоит на ногах. Выражения глаз не разобрать, но легкомысленным его не назовешь. Нет, она ничем не заслужила упреков брата. «Он и представить себе не может, что я задумала», — говорит Нуша своему отражению в стекле, и тут ей в голову приходит новая мысль. Нуша внезапно понимает, как доказать свою преданность делу брата.

По узким улочкам она возвращается к себе домой, на виа дель'Индустрия. «Может быть, ита-

льянец не соврал… может быть, он каждый день приходит в сад Гёльдерлина», — думает она.

* * *

Из музея Дж. и Нуша ушли в противоположных направлениях: его путь лежал на северо-запад, ее — на юго-восток.

Эти ориентиры очень важны для географии города. Триест считался последним оплотом современной Европы. На юго-востоке начинались Балканы, Ближний Восток и Азия — жители Западной Европы считали, что путь на юго-восток незаметно ведет от невежества к жестокости, от варварства к голоду. Триест был последним — или первым, в зависимости от того, в какую сторону направлялся путник или беглец — городом, где, по мнению и австрийцев, и итальянцев, придерживались европейских понятий чести, достоинства и прогресса. Об этом и свидетельствовало разделение города на две части. Северо-западные районы и порт походили на современную Венецию. На восточной окраине города жили славяне, магометане, турки, персы и арабы. Говорили, что там мальчишек с юных лет обучают мастерски владеть клинком. Даже деревья, лужайки и дороги в разных частях

города отличались друг от друга: в восточной части разбитые мостовые покрывали колдобины и пыль, тут и там виднелись свалки, заборы перекосились, на обочинах паслись лошади, а каждое лето до 1914 года там разбивали палатки эмигранты из Галиции, Сербии и Македонии в ожидании корабля в Южную или Северную Америку.

Дж. вот уже несколько месяцев наездами обитал в Триесте.

Лицо его постарело. Процесс взросления, а позднее — старения состоит в постепенном, все увеличивающемся удалении сущности с внешней поверхности тела. На первый взгляд Дж. казался сорокалетним, а не тридцатилетним. Темные глаза оставались проницательными (его знакомая в Варшаве назвала их «агатовыми»), но лицо — особенно в уголках рта — избороздили морщины. Интерес вспыхивал во взгляде, хотя отражался на лице с усилием, словно подпитываемый какими-то внутренними запасами энергии. За прошедшие пять лет Дж. располнел, стал больше похож на отца. Впрочем, трудно сказать, было это сходство естественным или нарочно культивируемым, потому что в Триест он приехал под личиной богатого ливорнского

торговца, желающего открыть консервный завод для переработки фруктов из Карниолы. Дж. представлялся законным сыном Умберто.

В августе 1914 года он жил в Лондоне и с удовольствием воспринял известие о начале войны. В Великобритании десятки тысяч мужчин выразили желание вступить в армию и отправиться на французский фронт. Все были уверены, что к Рождеству война окончится — разумеется, победой союзных войск, — и жаждали принять участие в сражениях. Сложившаяся ситуация в перспективе означала множество женщин, оставшихся на время военных действий без мужей, женихов и братьев — или овдовевших. Перед Дж. открывался широкий выбор женщин. Мужчины уходили на войну, как в свое время капитан Патрик Бирс, и для Дж. оставалось много Беатрис.

Характер его воспоминаний о Беатрисе потребовал бы написания отдельной книги, с особым, уникальным набором слов и фраз (книги воспоминаний Дж., а не ваших и не моих). Он покинул ферму и больше ни разу не пытался связаться или увидеться с Беатрисой. В июле 1914 года Дж. вернулся в Англию после пятилетнего отсутствия, однако ему не пришло в голову поинтересовать-

ся, что стало с Беатрисой, хотя воспоминания о ней были неискоренимы. Он не сравнивал с ней других женщин, но, будучи первой, она представляла собой совокупность всех остальных. Прочие женщины в его жизни лишь увеличивали значимость и ценность Беатрисы — точнее, увеличивали в его памяти значимость интимной связи с ней.

Вскоре его отношение к войне изменилось. Для него не существовало разницы между женщинами вообще и женщинами, которые ему отдались, — ведь на его предложение могла откликнуться любая. Однако в это время в Лондоне он познакомился с женщинами, поведение которых разительно отличалось от привычного и знакомого Дж. Эти женщины не принадлежали мужчинам; они принадлежали… точнее, их породила идея. Дж. встречал фанатичных женщин, но прежде фанатичная приверженность концентрировалась на вере или идее, составлявшей ядро их существования; они ею жили, и идея — неизменная, абсолютная — пульсировала у них в крови. Подобный фанатизм был понятен Дж. Однако женщины в Лондоне оказались охвачены идеей ненависти, которая существовала вовне. Им были неведомы и жар, и сам предмет

ненависти.

Скорбящая вдова убеждена, что способна любить только покойного мужа, память о нем. В отличие от замужней женщины вдова гнушается оставшимся ей временем. В определенном возрасте замужняя женщина словно попадает в тиски времени: ее прежняя жизнь с мужем остается в прошлом, а неумолимое будущее все с тем же с мужем до самой смерти наваливается неподъемным грузом, замуровывает ее в себе под монолитной плитой. Поэтому замужняя женщина решает изменить мужу, пытаясь доказать себе, что он не сможет отобрать у нее все часы, дни, годы и десятилетия жизни.

Вдова, напротив, смиряется с неизбежностью и принимает смерть мужа как окончательную и бесповоротную. Она возвращается в прошлое, переживает его заново. Будущее представляется ей без событий. Она отказывается от повторного брака, отказывается от своей женской сущности (в сексуальном смысле), но тем самым выражает не постоянную и абсурдную верность, а свое искреннее убеждение, что в ее жизни больше не произойдет ничего важного. Она уверена, что ее жизнь полна отсутствием мужа и что это событие будет вечно повторяться до тех пор,

пока она живет воспоминаниями о прошлом. Она пытается сделать свою жизнь безвременной. Течение времени для нее — пустяк. Ее муж слился с вечностью. (И это — точное определение, даже если женщина не религиозна.)

Объятия другого мужчины она не воспринимает как событие. Она считает, что ее покорность значит не больше, чем покорность ребенка, прильнувшего к коленям отца. Она уверена, что в пустоте ее жизни, которую она воспринимает как доказательство глубины своей утраты, не имеют значения ни мужские ласки, ни ее собственная реакция на них. Все это лишь подтверждает ее скорбь.

Замужняя женщина ценит оставшееся ей время и отчаянно стремится заполнить его новыми впечатлениями.

Вдова гнушается оставшимся ей временем и уверена, что новые впечатления для нее невозможны.

Обе заблуждаются.

В Лондоне Дж. познакомился со вдовами, уверенность которых была иной.

Миссис Кристина Фентон

— Шесть недель назад мой муж погиб во Франции. Он служил под началом генерала Губерта Гафа. Генерал прислал мне письмо, где описывалось, как под огнем немецких пулеметчиков мой муж повел в атаку…

— Примите мои глубокие соболезнования.

— С самого начала военных действий мой муж рвался на фронт. В своем последнем письме он упомянул, что приложит все усилия, чтобы не допустить проклятых бошей в Париж. Он был непоколебим.

— Да, колебания смертельно опасны.

— Мужчины всегда ведут себя так, чтобы вызвать восхищение женщин.

— А что вызывает ваше — именно ваше — восхищение?

— Всех нас восхищает готовность отдать жизнь за короля и на благо империи. Да, я восхищаюсь мужем и заявляю об этом открыто, без стеснения. Он умер так, как и полагается мужчине, удостоившемуся моей любви. Я не предполагала, что его убьют. Я не предполагала, что меня ждет вот это… — Она рассеянно касается края траурной шали. — Но я не предполагала также, что мы

будем жить в такое восхитительное время.

— Вы мечтаете стать Жанной д'Арк?

— Нет, что вы! Вести людей в битву — не женское дело. Наш долг — подавать пример. Вы не чистокровный англичанин…

— Подавать пример в чем?

— Надеюсь, немецкой крови в вас нет. Да я и сама вижу, что нет. По-моему, у кого-то из ваших родителей — персидские корни.

— У персов самая быстрая кавалерия.

— Определенно среди ваших предков были персы. И вы, наверное, авиатор.

— Как вы догадались?

— Вы разбираетесь в аэропланах.

— Да.

— Я так и знала. У вас лицо авиатора. А вы видели бошей с воздуха?

— Они похожи на кенгуру.

— Почему это?

— Мне просто захотелось вас удивить.

— Я их ненавижу. К весне мы возьмем Берлин.

— Обмундирование делает их похожими на кенгуру.

— Вы обязаны прийти к нам на собрание общества Пенелоп-патриоток. Нет-нет, не отказывайтесь, это ваш священный долг. А когда вас

убьют, мы проведем торжественные поминки. Завтра вечером я пришлю за вами машину, своими глазами увидите, какой пример мы подаем.

— Кто это — мы?

— Мы называем себя Пенелопы-патриотки. Мы — вдовы или сестры, чьи мужья и братья отдали свои жизни на благо отечества. Больше в наше общество никого не принимают. — Она глядит на него светло-серыми глазами. На лице восторженное выражение, будто она восхищается садом. — Мы собираемся организовать еще одно общество, для матерей, чьи сыновья погибли на фронте. Видите ли, мы с самого начала решили, что в нашем обществе матерям не место — слишком велика разница в возрасте. Мы, Пенелопы, — молодые женщины и девушки. Нет, конечно, материнское горе не менее велико, хотя нашу скорбь матери понять не в силах. Конечно, мы приглашаем их на заседания нашего общества, но держимся особняком. Нам, молодым вдовам, важно заявить о себе публично — это лучше позволяет людям осознать горькую правду. Все началось со встречи двух вдов. Их мужья погибли во Франции, незадолго до того, как убили моего мужа. Одна из них, вдова полковника Джоунса… в газете «Сфера» опуб-

ликовали статью о его подвиге. Вы наверняка видели его фотографию. Его наградили крестом Виктории за выдающуюся доблесть. Оказалось, горе перенести легче, если есть с кем поделиться своими переживаниями. К сожалению, родственники не понимают всей глубины нашей скорби; их чувства окрашены излишней сентиментальностью. При известии, что кто-то из близких убит на фронте, необходимо не забывать, что сам погибший с готовностью смотрел в лицо смерти и отправился навстречу врагу сознательно, ради высших идеалов, зная, что мы сражаемся за мир… — Она заговорила, словно оратор с трибуны. — Без нас Бельгия не смогла бы защититься от немцев, которые с нечеловеческой жестокостью отрубали женские груди и детские ручонки. Погибшие отдали свои жизни за свободу нашей империи, за счастье и покой женщин и детей, за мир, в котором слабые не страшатся сильных. Если помнить об этом, то сразу становится ясно, в чем заключается наш долг. Необходимо делать все возможное, чтобы продолжить эту борьбу — до тех пор, пока мы не добьемся того, за что погибшие отдали жизнь. Знаете, мы преуспеваем в своих начинаниях. В нашем обществе сейчас двадцать человек, и мы намерены организовать

отделения во всех городах страны. Разумеется, мы не просто утешаем друг друга. Мы участвуем в патриотическом движении. Мы овладеваем ораторским искусством и не стесняемся выступать с трибуны, на публике. Мы призываем женщин работать на военных заводах, проводим беседы среди санитарок и медицинских сестер, посещаем учебные армейские лагеря — парами, а не всей группой, — чтобы выразить нашу глубокую благодарность добровольцам. Это очень трогательно и волнующе: взрослые мужчины внимают тебе, как дети. Им предстоит уйти на фронт, и многие не вернутся домой, но скромные напутственные слова молодых вдов поддержат усталого, израненного бойца на поле сражения. Мы, англичане, стесняемся открыто выражать свои чувства. И все же кто-то должен сказать нашим доблестным воинам, что они совершают благородный поступок. Ах, если бы вы слышали, как они приветствуют наши слова!

— Вы помните, что ткала Пенелопа?

— По-моему, какое-то полотно.

— Не совсем.

— Мы назвали наше общество ее именем, потому что Пенелопа осталась дома и хранила верность мужу. — Она опускает взгляд, сжимает

руки на коленях. — Наша задача — собирать факты, сведения о том, что происходит на фронте, оказывать посильную помощь мобилизации и обороне страны. Для этого мы приглашаем лекторов и почетных гостей. Вы ведь придете?

— Давайте сначала днем встретимся.

— Когда? Ах, у нас еще не было авиаторов! Мы почти ничего не знаем о войне в воздухе. Прошу вас, приходите в мундире, — говорит она и умолкает. — А что ткала Пенелопа?

— Вы в три пополудни где будете?

— Дома.

— Саван.

— Простите, что? Так мне вас ждать?

Его охватило желание покинуть Лондон — впрочем, это с ним случалось в любом городе. Однако на этот раз его одолевала непривычная — легкая, но непрестанная — тревога. Дж. хотелось не просто куда-нибудь уехать из города; нет, в Лондоне ему было неспокойно. Вдобавок война резко ограничила количество стран и городов, пригодных для переезда.

Было ли его беспокойство отчасти результатом предвидения огромных исторических перемен, которые грозили преобразить общественную и частную жизнь в Европе так, что сам

Дж. изменился бы до неузнаваемости? Не знаю. Его не интересовали ни история, ни политика. Из уже написанного становится ясно, что будущее его страшило, но не в личном смысле.

«Как только один из вас исчезает, на его месте возникает другой, и ваше число постоянно увеличивается. Все в мире исчезнет, останетесь одни вы. К чему мне вас бояться? Это вы говорите о будущем и верите в него. Мне это безразлично».

В начале декабря Дж. отправился из Лондона в Триест. Мысль о поездке на вражескую территорию возникла следующим образом. Один из школьных приятелей Дж., Энтони Уилмот-Смит, служил в министерстве иностранных дел и был авиатором-любителем. Они часто встречались на публичных представлениях полетов. Однажды Дж. мельком заметил, что устал от Англии. Такое отсутствие патриотизма должно было шокировать Уилмот-Смита, но он еще со школьной скамьи привык считать Дж. иностранцем — недаром в школе его прозвали Гарибальди.

Несколько дней спустя он позвонил Дж.

— Как твой итальянский?

— Как у итальянца, — ответил Дж.

Они договорились встретиться тем же вечером. Уилмот-Смит объяснил, что служит в итальянском отделе министерства иностранных дел и готов оказать старому приятелю услугу личного характера. Дж. выдадут итальянский паспорт на фамилию отца. С этим паспортом он сможет выехать из Англии и отправиться куда пожелает, при условии, что заедет в Триест и встретится там с итальянцами, которые сообщат ему некоторые сведения для дальнейшей передачи в Великобританию. Уилмот-Смит заверил Дж., что ему ничего не угрожает — во всяком случае, его поездка будет не опаснее переворота через крыло на «Блерио». К удивлению и огорчению Уилмот-Смита, Дж. сразу же согласился на предложение, не требуя дальнейших объяснений.

Уилмот-Смит заявил, что выполнение этой просьбы чрезвычайно важно для интересов Италии и Англии. Итальянцы в Триесте пытались сбросить иго Австро-Венгерской империи, но их сопротивление приводило к ужесточению репрессий. Правительство Великобритании, заключив альянс с союзниками, вело переговоры с итальянским правительством о признании итальянскими всех италоязычных территорий

на побережье Адриатики. Уилмот-Смит надеялся, что цель британских властей в Триесте будет достигнута: если итальянские националисты устроят демонстрацию протеста, австрийцы их жестоко подавят, что вызовет в народе желание поддержать милитаристскую политику Италии. Дж. равнодушно оборвал Уилмот-Смита и сказал, что ему нужно только имя связного в Триесте.

— Я не служу высоким идеалам, — добавил он.

Поезд пересек австрийскую границу и, после череды глубоких ущелий и туннелей, выехал на холм, откуда открывался вид на Триестский залив. Дж. не считал, что находится на вражеской территории. Стояла зима, замерзший город выглядел уныло. Отопление в поезде не работало. В заливе не было кораблей. Дж. выглянул из окна вагона на переплетение улиц, полукольцом огибающих залив, и ощутил сдержанное возбуждение — или напряжение — само по себе приятное. Подобное чувство возникало у Дж. при входе в дом, хозяин которого в данный момент был в отлучке. В доме вся мебель и предметы обихода — шторы и комоды, безделушки на столах, двери, ковры, кровати, книги, лампы и портреты — выстроились в ряд, будто толпа (ни на волосок не сдвигаясь с места), и мимо них

Дж. шествовал к ожидающей его женщине.

После встречи с Нушей Дж. вышел из сада и медленно направился к бирже на пьяцца делла Борса. На перекрестке он остановился проверить, нет ли за ним слежки. На пустынных улицах невозможно незаметно следить за одиноким прохожим. Он дошел до конца улицы, на которой жил австрийский банкир по имени Вольфганг фон Хартман со своей женой-мадьяркой. С фон Хартманом Дж. вел переговоры о консервном заводе. Дж. повернулся и пошел назад, мимо особняка. За окнами, закрытыми парчовыми портьерами, все предметы уже выстроились в ряд, ожидая его появления, — но день и час его визита пока не был назначен. Чтобы вызвать в памяти облик Марики, супруги фон Хартмана, Дж. представил себе ее необыкновенный нос и рот.

В кафе на пьяцца Понтероссо Дж. нетерпеливо дожидались двое.

— Вечно он опаздывает, — проворчал Рафаэль.

— Посмотрим, нет ли за ним хвоста, — предложил доктор Донато, пожилой человек лет шестидесяти, с седой бородкой на узком лице.

Они скрылись за дверью подсобки.

— Вот он! — прошептал доктор Донато.

— Пусть теперь объяснится, — сказал Рафаэль.

— Ты слишком горяч, мой юный друг, — возразил доктор Донато.

Оконце в двери подсобки занавешено шторкой. Донато чуть приоткрыл ее и выглянул в зал.

— Я часто замечал, — продолжил он, — что стороннему наблюдателю открывается многое. У жестов свой язык. Осведомитель пьет кофе иначе, чем обычный посетитель. Это не выдумка. На то есть свои причины. К примеру, осведомитель, привыкший к интригам и заговорам, может заподозрить, что его кофе отравлен, и это сказывается на том, как он берет в руки чашку.

Ее нос нарушает все установленные нормы. Он настолько асимметричен и неправилен, что выглядит бесформенным. Снятый с него слепок выглядел бы частью странного корня, клубня с крошечными бугорками и вмятинами, как те части растения, что уходят вниз, под землю, к воде, а не вверх, к солнцу. О перевернутой ориентации невнятно говорил весь центр ее лица. Края губ казались внутренней частью рта, ноздри — горлом. Она сидела, будто бежала.

— Глянь, он сел за столик у окна, смотрит на улицу. Сдвинул занавеску, притворяется,

что ему солнце в глаза светит. Какой хитрец! Тянет время, выжидает. Вот, официантку позвал — всего лишь чуть наклонил голову, а любопытная простушка уже спешит к нему. Между прочим, ты никогда так официантку не подзовешь. — Доктор Донато опустил шторку и коснулся плеча Рафаэля. — К примеру, ты все делаешь уверенно, размашисто. А почему? Потому что хочешь, чтобы тебя заметили.

Рафаэль подозрительно покосился на собеседника.

— Тебе же нечего скрывать, — пояснил доктор Донато, юрист.

В его глазах светился ум, в тонком, пронзительном голосе слышались уверенные нотки. Доктор Донато любил все объяснять и гордился тем, что он атеист и республиканец. Больше всего ему нравилось истолковывать пылкие чувства других. Излишества его восхищали, потому что для их понимания требовалась стройная работа Рассудка. Вот уже двадцать лет он был членом подпольного комитета итальянской партии ирредентистов в Триесте; ходили слухи, что он был одним из тех, кто задумал и осуществил знаменитое происшествие на пьяцца Гранде.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот третьего

года, как только часы на пьяцца Гранде пробили полдень, с флагштока над муниципалитетом развернулся трехцветный итальянский флаг. Полицейские ворвались в здание, но оказалось, что дверь в башню заперта и заколочена. Итальянцы собрались на площади, разглядывая флаг, гордо реющий в синем небе. «Когда Триест станет итальянским, этот флаг будет осенять город каждый день», — думали они. Дата была выбрана не случайно: именно двадцатого сентября Рим объявили столицей Италии. Флаг был виден даже с кораблей на рейде.

Впрочем, когда доктора Донато спрашивали об этом инциденте, он пожимал худыми плечами и загадочно отвечал:

— Мы, итальянцы, славимся не только музыкальными талантами, но и изобретательностью.

Доктор Донато снова приподнял шторку.

— Он что-то увидел, — сказал он.

— Что?

— Точнее, кого-то.

— Кого?

— Не знаю. Но выглядит он довольным. Я не заметил, кого он увидел. Может быть, знак какой-нибудь подал — неизвестно. Его мотивы пока неясны. Интересно, он действительно предпри-

ниматель или притворяется? Кто он на самом деле? Когда мы это установим, то…

— Надо предъявить ему факты, — нетерпеливо заявил Рафаэль и решительно направился к столику у окна. Он двигался с уверенностью человека, которого с детства холили и лелеяли (вполне возможно, что на самом деле все обстояло иначе). Посетители кафе провожали его взглядами. Рафаэль прославился патриотическими статьями в газете «Иль пикколо», хитроумно обходящими австрийскую цензуру. Он шел по кафе с таким видом, словно за ним следовал не худощавый седобородый старик, а целая толпа соратников.

Все трое склонились над столом. Рафаэль, выпятив подбородок и наморщив лоб, спросил Дж. о новостях из Рима. Говорил он тихо, чтобы его не подслушали.

— Не знаю, я в Риме не был.

— А подарок для матери?

— Должны были привезти.

— Вы доверили его постороннему?!

— Да.

— Кому?

— Если вы связаны с матерью, то чем меньше имен вам известно, тем лучше, — наигранным заговорщицким шепотом заявил Дж. — Вы же

помните основное правило подпольной организации.

— Две недели назад вы обещали нам съездить в Рим! — воскликнул Рафаэль, откидываясь на стуле.

Посетители кафе с интересом поглядели в их сторону.

— Я передумал.

— Передумывают предатели!

Рафаэль двигался шумно. Конспирации он не придавал особого значения, считая своим долгом поднять народ на борьбу, и полагал, что тысячи итальянцев в Триесте последуют примеру человека, которого невозможно запугать.

— Не волнуйтесь, мать пришлет вам весточку, — шепотом ответил Джи. — Она обязательно получит наш подарок.

— Вы предатель и трус! И бесчувственный к тому же. Все будущее нашей семьи поставлено на карту, а вы носитесь со своими засахаренными фруктами… — Рафаэль понизил голос, будто желая показать, что лучше понимает, какие именно слова заслуживают шепота. — И с врагами сделки заключаете! Кто знает, что вы им рассказываете. Может быть, вы и о матери им доложили?

— Рафаэль, дорогой мой, — вмешался доктор Донато. — Давайте не будем обвинять друг друга. Он с нами, а не против нас. Он уже не раз нам помогал. Он собирался поехать в Рим, но не смог и попросил об одолжении своего… ну, допустим, кузена. Не надо делать поспешных выводов. Я убежден… — Он повернулся к Дж. и оперся ладонями о стол. — Так вот, я убежден, что мы можем и должны на вас рассчитывать. Вы мечтатель, как и все мы, и стремитесь претворить мечту в реальность. Вопрос в другом — мечтаем ли мы с вами об одном и том же. Но это вскоре выяснится, — тихо закончил он. Дыхание со свистом вырывалось сквозь зубы, будто он притворялся спящим. За стеклами пенсне веки опустились на глаза.

— Нет, я не мечтатель, — заметил Дж.

— Все мужчины — мечтатели.

— Что ж, некоторые мечтают меньше.

— Мы мечтаем о том дне, когда наша отчизна вернет себе былое величие и мощь, — заявил Рафаэль, многозначительно подняв палец в излюбленном жесте ирредентистов, означавшем объединение Италии. — Об этом мечтают сорок миллионов человек.

Дж. мысленно обратился к доктору Донато:

«У ваших ног сидят двенадцать юных дев, которым вы рассказываете о том, как Триест перешел к Италии. Вы выбираете одну из них, касаетесь ее грудей, и она восхищенно восклицает: “Папа! Папочка!” Вот она, ваша мечта!»

— У вас есть дочери, доктор Донато?

— Увы, нет. А почему вы спрашиваете?

— Имя мне смутно знакомо.

Рафаэль решительно сжал столешницу. Пришла пора говорить напрямую: Дж. следует предупредить, что ему не поздоровится, если его поведение сочтут подозрительным. Рафаэль не доверял уклончивым обсуждениям, связывая их с коварством и интригами, характерными для итальянской политики. Для него интриги означали коридоры власти, в противоположность имперским просторам и полям сражений. Италия должна вспомнить о своем прошлом и возродить былое достоинство Римской империи. Рафаэль мнил себя новым Гарибальди, ратовал за суровый праведный патриотизм и считал Донато новоявленным воплощением вероломного Кавура. Рафаэль уважал его проницательность, но твердо верил, что на этот раз доблестный генерал не попадет под влияние лицемерного политика. Однажды в гимнастиче-

ском зале он взял в руки саблю и рассек клинком воздух над головой Донато. Старый адвокат и впрямь воображал, что у него с Кавуром много общего, а потому спокойно наблюдал за пылким юношей, вспоминая, что Гарибальди своей детской непосредственностью часто испытывал терпение Кавура.

— Послушайте, нас не устраивают ваши объяснения, — заявил Рафаэль. — Вы обещали съездить к матери и не сдержали слова. Что вам помешало?

— Дела сердечные.

— А почему вы нас не известили?

— Вы знакомы с дамой, — ответил Дж.

Рафаэль глубокомысленно откинулся на спинку стула.

— Позвольте узнать, с кем именно? — небрежно спросил он.

— Вот у них и спросите, — рассмеялся Дж.

Рафаэль раздраженно заметил, что доктор Донато тоже улыбается.

— Видите ли, нам очень нужна ваша помощь, — сказал Донато. — Вы итальянец, из Италии, приехали в Триест заключить крупную сделку… Вы наверняка встречаетесь с влиятельными австрийцами, среди которых есть люди, знако-

мые с губернатором или епископом. На прошлой неделе арестовали одного юношу — его зовут Марко — при попытке пересечь границу. Может быть, вы попросите ваших знакомых австрийцев о снисхождении к бедняге? Или даже о его освобождении?

— Сейчас, когда обе страны вот-вот перейдут к военным действиям?

— Понимаете, здесь особый случай. Юноша серьезно болен, у него туберкулез. Его отец при смерти, в Венеции. Марко освобожден от военной службы по нездоровью, в политических связях не замешан. Он пытался перейти границу, чтобы попрощаться с отцом.

— Как-то подозрительно звучит.

— Вот потому это и особый случай. У меня с собой все документы… — Доктор Донато аккуратно выложил на стол черную кожаную папку. — Мы будем добиваться помилования из соображений гуманности и человеколюбия. Приличное общество везде, а особенно в Австрии, обожает добрые деяния. И женщин это привлекает. Можно развернуть кампанию за его освобождение — разумеется, не для широкой огласки, а среди влиятельных людей. Все, что потребуется, — замолвить словечко в частной

беседе, за ужином с нужным человеком.

— Я вам не доверяю, — встрял Рафаэль. — Вы же понимаете, что сейчас нам нельзя ошибиться. Или вы немедленно докажете, что вам можно верить, или… — Он медленно опустил кулак на раскрытую ладонь. — У нас повсюду глаза и уши.

— По-моему, это прекрасное дело, — продолжил доктор Донато, не обращая внимания на Рафаэля. — Больной туберкулезом юноша с юридической точки зрения нарушает закон, но из обычного человеколюбия суровость наказания следует умерить — ведь Марко хотел исполнить свой сыновний долг, навестить умирающего отца. Тут даже полицейский инспектор расчувствуется. К тому же губернатору наверняка придется по нраву мысль о помиловании, что даст возможность сделать весьма драматическую, хотя по сути незначительную уступку итальянскому общественному мнению. Той же ночью арестовали еще несколько человек. Да, кое-кто из них направлялся к матери — вот пусть суд и разбирается с ними по всей строгости закона. Но с точки зрения австрийских властей помилование Марко будет весьма разумным тактическим ходом.

— Тактическим ходом! — воскликнул Рафаэль.

— Почему вы так печетесь о его спасении? — спросил Дж.

Донато прижал руки к груди, будто говоря: «Так и быть, я открою вам душу».

— Я адвокат, — произнес он. — Я забочусь о своих клиентах. Разумеется, вы никому ничем не обязаны, но если вашими стараниями Марко помилуют, мы будем вам очень благодарны. Вот и все. Прошу вас, ознакомьтесь с документами в досье.

Все трое вышли из кафе. Доктор Донато взял Дж. за руку.

— Наш друг Рафаэль вчера перебрал токая, — доверительно сообщил он. — Можете на меня положиться. Я буду чрезвычайно признателен за любую помощь в деле Марко. — Он многозначительно понизил голос. — И все-таки вы мечтатель, не отпирайтесь.

На углу они расстались.

— Вас насмешили его шутки? — укоризненно осведомился Рафаэль. — И зачем вы рассказали ему про Марко?

— Дорогой мой, не волнуйтесь, — ответил Донато. — Он понятия не имеет, кто такой Марко. Вряд ли он чего-нибудь добьется, но нам терять

нечего. Вдруг он работает на австрийцев? Если они ничего не заподозрят, то выпустят Марко для того, чтобы тем самым дать возможность нашему ливорнскому другу втереться к нам в доверие. Но мы же не вчера родились! Если его стараниями Марко выпустят на свободу, мы получим доказательство его связи с австрийскими властями, то есть решим сразу две задачи: во-первых, Марко освободят — а это важнее всего, и, во-вторых, поймем, кто на самом деле наш ливорнский друг. Если австрийцы знают, кто такой Марко — а в этом случае ему не на что надеяться, — то наш друг своими попытками освободить заключенного навлечет на себя подозрения в связях с нами и в Триесте надолго не задержится. Разумеется, есть крохотный шанс, что он невольно окажет нам услугу. Повторяю, нам нечего терять, — сказал он и прикрыл глаза рукой от яркого солнца.

Дж. лежал на кровати. На окнах висели белые тюлевые занавески. Вытканные на них кружевные листья были белее и плотнее окружающего их фона. Сквозь занавески виднелся особняк на противоположной стороне улицы: волюты классического ордера и лепные карнизы четко выделялись в лучах закатного солнца. Дом был

построен из светло-коричневого камня цвета сигарных коробок. Какая-то женщина в домашнем халате, вымыв голову, обмотала влажные волосы синим полотенцем и уселась у окна разглядывать прохожих. В этот час юноши из приличных семей отправлялись на прогулку — *caminada* — по освященному традициями маршруту, навстречу девушкам из не менее приличных семей.

В конце улицы широкий канал выходил в море, неподалеку от пьяцца Гранде и порта, где на рейде стояли лайнеры. До войны почти каждый день корабль — огромный, как здание муниципалитета, — пришвартовывался в порту, будто создавая четвертую сторону площади. Вход в канал был широк, но сам канал не достроили; в двухстах метрах от причала русло превращалось в док. Женщина с мокрыми волосами зевала уже полминуты. Дж. решил, что это жена местного лавочника. Она не подозревала, что за ней наблюдают, — для нее окно, закрытое кружевными занавесками, казалось темным как ночь. Она поднялась, хотела уйти в комнату, замешкалась, снова облокотилась о подоконник и зевнула. Дальний гудок парохода прозвучал как длинный рев тюленя. На тюлевых занавесях застыли кружевные листья аканта.

По слухам, Марика, супруга Вольфганга фон Хартмана, недавно рассталась с любовником, которого заставили уехать из города. Любовник был дирижером оркестра городской консерватории. На одном из его концертов первые слоги названий музыкальных произведений в программе складывались в антиавстрийский лозунг. Слушатели, в большинстве своем итальянцы, быстро сообразили, в чем дело, и встретили дирижера овацией, а к окончанию концерта стали скандировать «Verdi! Верди!», что означало *Vittorio Emmanuele Re d'Italia*, Виктор Эммануил, король Италии. Дирижера уволили.

Дж. лежал на кровати и с улыбкой представлял, как в присутствии Марики будет просить фон Хартмана походатайствовать за Марко.

8

Каждый день по городу разлетались все новые слухи: Италия вот-вот объявит войну Австрии. Италия больше не могла сохранять нейтралитет — не потому, что произошел международный инцидент или правительство предъявило ноту протеста. Нет, население крупных итальянских городов требовало немедленного начала военных действий. Люди хотели войны.

Ирредентисты в Триесте решили, что настал их звездный час. Молодые итальянцы из тех, что часто выражали желание тайно перейти границу и присоединиться к итальянской армии, но постоянно откладывали отъезд в Горицию, внезапно сообразили, что другого случая им не представится. Вечером они в последний раз вышли на прогулку; даже самые неловкие набрались смелости заговорить с девушками, которые прежде не удостаивали их внимания. Юноши робко бормотали: «Если завтра мы не увидимся, вспоминай обо мне», — и девичьи глаза блестели от слез. Привлекательные и уверенные в себе парни, прозрачно намекнув на задуманное, продолжали прогулку горделиво, будто знаменосцы, несущие трехцветный флаг Италии, а девушки провожали их восхищенными взглядами и крепко держали друг друга за руки, чтобы не броситься к ногам смельчаков. Ирредентисты расхаживали по городу, воображая сияющее будущее Триеста, и надеялись, что победа будет одержана до конца года.

Итальянские рабочие, служащие и мелкие лавочники с сомнением воспринимали и слухи, и газетные репортажи. Им было чего опасаться. Что предпримут австрийские власти в случае

войны? Что, если в городе начнутся бои? Что, если под властью итальянцев экономическое положение Триеста пошатнется? (Ни у кого не возникало ни малейших сомнений, что итальянские войска победят австрийцев.) Однако даже язык, на котором итальянцы выражали свои опасения, делал эти страхи постыдными, словно порицал их.

В четверг газеты сообщили о событии, которого все ожидали, — открытии памятника в честь отплытия Гарибальди и его тысячи бойцов из Генуи. Говорили, что на церемонию открытия прибудет сам король, но в последний момент его величество прислал телеграмму с извинениями за отсутствие и своим благословением.

В Генуе с пламенной речью выступил Габриэле д'Аннунцио, самопровозглашенный певец итальянского национализма. Он походил на старого голодного лиса, восседающего верхом на невидимом скакуне и способного убедить гончих, что именно он возглавляет охоту. Д'Аннунцио считал, что авиатор — идеал героя современности, и даже задумал написать поэму о Шавезе. Толпа встретила его продолжительными аплодисментами. Изнуренное лицо подчеркивало глубокомысленные слова поэта.

«Блаженны имущие, ибо они много отдадут;

блаженны презирающие бездушную любовь, ибо в своей невинности они обретут свою первую и последнюю любовь; блаженны противники предложенного (здесь цензура вычеркнула прямое упоминание войны), ибо они в молчании приемлют неизбежное и возжелают быть не последними, но первыми; блаженны молодые, счастливые и жаждущие славы, ибо они насытятся; блаженны милосердные, ибо им доведется утереть чистейшую кровь и утешить сияющую боль; блаженны те, кто вернется с победой, ибо они увидят новый Рим…»

Казалось, что Италия вступает в войну по воле своего народа. Но на деле все обстояло несколько иначе[19]. Двадцать шестого апреля тысяча девятьсот пятнадцатого года король и премьер-министр подписали тайный договор, обязывающий Италию через месяц вступить в войну на стороне Антанты. Парламент в то время был распущен, но для официального объявления войны его требовалось созвать, хотя против вооруженного вмешательства выступало подавляющее большинство депутатов, а также представители

[19] Сноски: 19

В описании событий на Западном фронте (в частности, сражения у Оберс-Ридж) я использовал сведения и цитаты из книги Алана Кларка «Ослы».

крестьянства, левое крыло партии социалистов, многие профсоюзы и Ватикан. За месяц всю страну, особенно городское население, нужно было склонить к войне — так, чтобы антивоенная оппозиция не справилась с настроениями народа. О секретном соглашении знал только король и два его министра, поэтому сторонники вооруженного вмешательства, политические деятели и агитаторы старались возбудить воинственный дух в народных массах.

Пока Великобритания, Франция и Россия обсуждали с Италией условия тайного пакта, Германия и Австрия пытались добиться от итальянского правительства соблюдения нейтралитета. Обе враждующие стороны сделали королю и его доверенным министрам предложения в отношении территориальных претензий Италии. В отличие от стран центрального блока, которые обязались предоставить Триесту статус вольного города, члены Антанты обещали передать его Италии.

К концу недели прошел слух, что князь фон Бюлов, посол кайзера Вильгельма в Италии, неожиданно вернулся в Германию вместе со всем посольством. Жители Триеста с итальянскими паспортами поспешно покидали город. Австрий-

цы уезжали из Италии. Несмотря на всеобщее беспокойство, Дж. продолжал заниматься своими делами. Покидать Триест он не собирался. Вольфганг фон Хартман с супругой должны были вернуться из Вены к выходным. В сложившихся обстоятельствах были абсурдны и бесполезны любые просьбы о снисхождении к юноше, арестованному при попытке незаконно пересечь границу. Дж. решил ни с кем это не обсуждать, дождаться возвращения фон Хартмана из Вены и лишь тогда обратиться к нему с нелепой просьбой.

* * *

Воскресенье, девятое мая тысяча девятьсот пятнадцатого года, выдалось солнечным во всей Европе. Вольфганг фон Хартман привык просыпаться рано, а поскольку он взял за правило ни из чего не делать исключения, он и в воскресенье поднялся на рассвете. К семи утра он был одет.

К тому времени на двухмильном участке Западного фронта уже погибли четыре тысячи человек. В пять утра британская артиллерия открыла огонь по позициям германских войск.

В двадцать минут шестого сильные порывы ветра разогнали клубы дыма и пыли над южной оконечностью поля битвы, и стало ясно, что германские брустверы почти не пострадали. Через десять минут первые подразделения трех пехотных дивизий поднялись из окопов и выдвинулись на нейтральную полосу. В оперативных боевых сводках противника атака была описана так: «Цепи британских и индийских солдат представляли собой прекрасную мишень. Разумеется, был отдан приказ стрелять непрерывно». Немецкие пулеметы косили наступающих пехотинцев, которые пытались снова залечь в траншеи, но за ними следовали ударные батальоны.

Супруга Вольфганга фон Хартмана делила с ним спальню, несмотря на многочисленные безуспешные попытки убедить мужа, что ему лучше будет отдыхать от тягот службы в своих собственных апартаментах.

— Ты же знаешь, я всегда тебе рада, — говорила она с заискивающей улыбкой.

— Нет, спасибо, — отвечал фон Хартман. — Я не для этого на тебе женился. Отдельные спальни — не для супругов, а для любовников.

Солдаты продолжали атаку, уже не осозна-

вая, кто они: если бы их окликнули поименно, они бы не ответили. Перед самым передним краем противника тянулась траншея, в которой они собирались укрыться, но она оказалась завалена колючей проволокой. Некоторые в отчаянии бросились на ограждение, остальные были убиты пулеметным огнем. Вторая атака была назначена на семь утра. Ей предшествовала сорокапятиминутная артиллерийская подготовка, причем было приказано сконцентрировать огневой удар на ограждениях перед немецкими позициями. На нейтральной полосе уцелевшие английские и индийские пехотинцы искали укрытия в воронках и спешно вырытых окопах, но несли тяжелые потери под огнем своих.

Фон Хартман разглядывал спящую Марику. Она больше не распускала волосы перед сном. Он с гордостью смотрел на жену. На ее безмятежном лице застыло алчное выражение — не вульгарное, а скупое. Они были женаты уже восемь лет, и фон Хартман гордился тем, что удовлетворял нужды супруги (Марика, дочь обнищавшего мадьярского землевладельца, вышла замуж в двадцать семь лет). Другая на ее месте уже привыкла бы к его достатку и власти, как его первая жена, которая доверяла фон Хартману во всем.

Марика не позволяла себе подобного благодушия, ведь ее требования в любой момент могли счесть чрезмерными. Вольфганг наклонился над женой и прижал большой палец к ее полураскрытым во сне губам. Создавалось впечатление, что ребенок закусил палец, чтобы не расплакаться.

На соседнем участке фронта уцелевшие солдаты Ирландского стрелкового полка под мощным огнем противника пробивались к своему расположению. По английским траншеям пронесся слух, что немцы, переодетые в британское обмундирование, начали контратаку. По возвращавшимся ирландским стрелкам открыли огонь.

На вокзале в Риме сотни юношей ждали поезда из Турина. Все напряженно вглядывались в рельсы, сверкавшие под утренним солнцем, как зубцы серебряных вилок. В поезде ехал Джолитти. За год до того он ушел в отставку с поста премьер-министра, но счел нужным вернуться в Рим, считая, что правительство еще не приняло решения о вступлении в войну (он не подозревал о тайном договоре). Он собирался призвать кабинет к соблюдению нейтралитета. Четыре года назад он предпринял захват Ливии, но сейчас опасался, что вступление в европейские воен-

ные действия стране слишком дорого обойдется. Известие о приезде Джолитти опубликовали в газетах. Как только поезд подошел к перрону, отовсюду раздались крики: «Долой Джолитти! Никаких компромиссов! Да здравствует война!» Юноши пытались забраться на поезд. Джолитти, который двенадцать лет правил Италией, обратился к ним со ступеней вагона, но его освистали. «Триест должен быть итальянским! Долой австрийцев! Мы хотим войны!» Старый политик оставил всякую надежду произнести речь. Он проснулся всего час назад, ему хотелось кофе. Помощник предложил ему незаметно покинуть поезд и уйти с вокзала по путям, чтобы избежать разгневанной толпы. Джолитти отказался, не в силах оторвать глаз от воинственной молодежи. «Они не понимают, что это не Ливия, — вздохнул он. — Нет, не Ливия».

Всякий раз, когда Вольфганг фон Хартман заканчивал обдумывать какую-нибудь проблему, его мысли возвращались к жене. Он задался вопросом, насколько важна недавняя победа австрийцев на русском фронте в Галиции, и решил, что это не имеет значения. Он не думал о жене, спящей в их постели, а представлял, как она сегодня вечером выйдет к Дж. Потом спросил

себя, сможет ли посол его императорского величества убедить Папу римского уехать из Италии в Испанию в случае вступления Италии в войну, и решил, что это тоже неважно. Интерес Марики к Дж. он заметил при их первой встрече три месяца назад. С тех пор Дж. регулярно приходил к ним с визитами, и Марика не скрывала своих чувств. Затем фон Хартман задумался, чем чревата гибель «Лузитании» четыре дня назад. Скорее всего, немцы допустили ошибку; они разбирались в подводных лодках, а больше их ничего не интересовало. Лицемерные протесты Антанты чрезвычайно раздражали фон Хартмана: лайнер вез боеприпасы, хотя англичан предупреждали, что если они не прекратят использовать пассажирские суда для перевозки вооружения, то сами будут отвечать за последствия. И все же потопление создавало прецедент, расширяло сферу военных действий и существенно ущемляло интересы международной торговли, страхования и финансирования, пусть даже и между враждующими сторонами. Фон Хартман понимал, что Дж., в отличие от прошлогоднего дирижера, сможет быстро и окончательно уехать из Триеста.

В полдень Нуша отправилась в сад Гёльдерли-

на, надеясь застать там Дж., но напрасно.

Фон Хартман считал, что бесполезно тратить силы на поиски абсолютных ответов на сиюминутные вопросы. Он полагал, что каждый вопрос следует рассматривать в соответствии с его временны́ми рамками, и в качестве иллюстрации приводил такой пример: «Как долго мы ощущаем смерть?»

Солдаты битком набились в траншею и прислушивались, нет ли сигнала к атаке — пронзительного свистка, который криком безумного попугая звучал сквозь грохот артобстрела. Батальоны замерли в ожидании. Вокруг рвались немецкие снаряды, но спрятаться от них было негде. Бойцы стояли, зажмурившись и прижавшись друг к другу, — в тесноте нельзя было ни броситься на землю, ни даже закрыть лицо руками. Тела живых поддерживали раненых и убитых. Осколки насквозь пронзали одного бойца — а то и двух — и вонзались в следующего. За сорок пять минут, с четверти второго до двух часов пополудни, в передовой траншее были убиты и ранены еще две тысячи человек.

Фон Хартман настаивал, что экстравагантные похождения жены следует рассматривать

в рамках особых отношений между супругами. Он тщательно отмерял свою снисходительность, чтобы Марика пользовалась его уступчивостью до тех пор, пока не перестанет представлять интерес для мужчин. Подобную стратегию он разработал для целей более изощренных, чем простое сохранение брака. Фон Хартман не сомневался, что, если Марика уйдет от него, он быстро подыщет ей достойную замену. У него не было причин бояться одинокой старости. (Он поглядел в зеркало над камином: богат, чуть полноват, но не облысел.) Вольфганг фон Хартман намеревался установить и поддерживать контроль над аппетитами супруги, потому что не верил ни в абсолютную ненасытность, ни в бесконечность. Итак, аппетиты супруги следовало поощрять, но не удовлетворять полностью. Таким образом ее кажущуюся ненасытность можно сохранить, но в то же время контролировать. Он любил, когда Марика делала вид, что проигралась в карты или устроила свидание с любовником. Она была плохой актрисой. Если он устремлял на нее серьезный, скептический взгляд, она прекращала ломать комедию и молча, одними глазами спрашивала его позволения. Если он соглашался, едва заметно меняя выра-

жение лица (в подобных ситуациях они никогда не обменивались ни единым словом), она продолжала спектакль, наигранно пытаясь скрыть от него свои приключения. Если он отказывал ей в разрешении, то она покидала комнату, грозя ему отомстить, — впрочем, на деле никакой мести не следовало. При виде немой мольбы в глазах супруги Вольфганг фон Хартман проникался убеждением, что любит ее. Умоляющее выражение напоминало ему детские представления о взгляде бессловесного животного, однако являлось плодом сложных и необычных супружеских отношений, которые он выстроил со всем тщанием и которые были бы невозможны с любой другой женщиной.

В четыре часа пополудни пехотинцы снова пошли в наступление по нейтральной полосе, сопровождаемые безумным завыванием волынок и пронзительным звуком офицерских свистков. Подкошенные пулеметными очередями, солдаты падали не рядами, а кучно, потому что перед смертью пытались подползти друг к другу. Казалось, что поле сжатой пшеницы само собирается в стога.

Измены Марики не волновали Вольфганга фон

Хартмана, потому что половой акт (основной компонент измены), равно как и ощущение смерти, сам по себе чрезвычайно непродолжителен, с той лишь разницей, что смерть можно испытать единожды. В общем, оценивая интрижки супруги, следовало признать, что в них согласие или отказ целиком и полностью зависели не от Марики, а от фон Хартмана. Любовники умоляли Марику о снисхождении, а она, в свою очередь, умоляла о нем супруга. То же относилось и к карточным проигрышам. Марика считала себя невоздержанным, увлекающимся игроком, хотя на самом деле ее траты были вполне осмотрительны. Фон Хартману сообщали обо всех снятиях денег со счета в банке «Кредитанштальт» (где он был одним из директоров). Итак, установленный им контроль во всех областях — и любовной, и финансовой — основывался на одних и тех же принципах. Жена постоянно получала надбавки, но их размер, первоначальный взнос и сумма окончательной выплаты были рассчитаны таким образом, что заставляли ее ожидать большего, хотя ее требования никогда не выходили за пределы его, казалось бы, неисчерпаемых возможностей.

С начала сражения у хребта Оверс-Ридж рас-

стались с жизнью одиннадцать тысяч солдат и около пятисот офицеров. Немногие были убиты наповал. Большинство умирало в страшных мучениях. Впрочем, несмотря на ужас и боль, смерть освобождала солдат от ощущения невозможности выполнения полученного приказа — они послушно поднимались в атаку и погибали.

Вольфганг фон Хартман с неизменной вежливостью принял Дж. после ужина, в гостиной. В торце просторной комнаты возвышался камин в форме греческого храма, облицованный белой плиткой. На стенах висели картины и зеркала в тяжелых рамах. Под зеркалами стояли канделябры со стеклянными абажурами — колпачками размером чуть больше медицинской банки, но с зубчатыми краями. Огоньки отражались в стекле и мерцали, будто рыбья чешуя. Абажур защищал пламя от сквозняков, и оно не колыхалось, как пламя свечей в соборе Домодоссолы. В углах комнаты было сумрачно, но зеркала и стекло создавали впечатление тысячи горящих светильников.

Марика появилась через пять минут после прихода Дж. Она шла, как зверь. Мне трудно описать ее походку, напоминавшую сразу нескольких зверей. Марика фон Хартман выглядела составленной из многих частей, как единорог,

но не мифической фигурой, вытканной на шпалере среди цветов и листьев. Иногда казалось, что ее длинные, ширококостные ноги начинаются от плеч — трехсуставные, точно ноги лошади. При ходьбе Марика держала голову неподвижно, закинув ее на крепкой, мускулистой шее, будто олень; легко было представить невидимые разветвленные рога над волосами цвета оленьей шерстки. И все же ступала она неуверенно, покачиваясь из стороны в сторону, и этим напоминала верблюда.

— Очень приятно, что вы пришли нас навестить в первый же день после нашего возвращения.

— По слухам, ваша поездка была долгой и утомительной.

— В этом проклятом городе совершенно нечем заняться. Впрочем, здесь есть вы… Но вы, наверное, скоро уедете.

— Я решил пока не уезжать.

— Мы так редко с вами видимся.

— Если вы не поторопитесь, вас интернируют, — флегматично, беззлобно заметил фон Хартман. — Будем надеяться, что этого не случится.

Обыденность угрозы напомнила Дж. слова док-

тора Донато: «Вопрос в другом — мечтаем ли мы с вами об одном и том же».

— Можно подумать, ты каждый день говоришь об интернировании, — заметила Марика.

— По-немецки это *internieren*, — пояснил фон Хартман, глядя на Джи. — Как интернат. Вы учились в Великобритании, вы должны знать, что такое интернат. Школа-пансион. Так что, если вас интернируют, вам это будет привычно.

— Знаете, в интернате меня прозвали Гарибальди.

— Мне совершенно непонятно, почему англичане возвели его в статус легенды. По слухам, в Лондоне Гарибальди встречали огромные толпы. Он был популярнее королевы. Скорее всего, это потому, что англичане обожают первопроходцев — костер в ночи, звездное небо над головой, одиночество. Наверное, они ненавидят свои ужасные города. Мы совсем другие. Все ценности империи Габсбургов, рассудочность и порядок созданы именно в наших городах. А сами города — Вена, Прага, Будапешт! Вы что-нибудь выпьете?

— Ах, я буду ежедневно навещать вас в тюрьме! — воскликнула Марика.

Покачиваясь на длинных ногах, она проде-

монстрировала, как открывает дверь тюремной камеры. Играла она бессознательно, хотя театр ее утомлял. «Притворство» происходило оттого, что для нее не было различия между мыслью о действии и самим действием; слова, отражающие мысль, немедленно превращались в движения тела.

— Наши города — острова в океане варварства.

— Я помогу вам сбежать, — продолжала Марика. — Вы переоденетесь в мое платье.

— Весьма неразумное предложение, — заметил фон Хартман. — Даже я не смогу оградить тебя от последующего наказания.

— Но он же силой заставит меня раздеться.

— В таком случае надо позвать на помощь охранника.

— Не забывай, кто мой отец!

— По-твоему, высокое происхождение не допускает измены?

— Да, именно так. А еще я восхищаюсь Гарибальди. Он прекрасно ездил верхом! И вообще, я — патриотка.

Марика не злилась и с каждым новым заявлением улыбалась все шире. Потом захохотала, погладила мужа по плечу и села в кресло.

— Боюсь, ваши соотечественники сглупят

и объявят нам войну, — сказал фон Хартман.

— Видите ли, я не политик.

— А если бы и были, то не признались бы в этом моему мужу, — пробормотала Марика.

— И все же, с вашего позволения, мне хотелось бы попросить вас обоих о помощи в одном деле.

Дж. не сомневался, что фон Хартман ответит на его просьбу категорическим отказом, а Марика воспримет ее с воодушевлением. Дело Марко позволит женщине, которую желал Дж., проявить интерес к предмету и, возможно, затеять интригу против супруга.

Австрийский банкир сделал вид, что внимательно и вдумчиво слушает Дж. Он откинулся в кресле, время от времени прикрывая глаза и медленно качая головой. Обычно фон Хартман скользил по окружающим взглядом, не способный обращать внимания ни на что другое, кроме своих мыслей.

Дж. говорил о деле, в которое не верил сам. Впрочем, фон Хартман был чужд снисхождения к любым, даже самым отчаянным мольбам, точно так же, как был равнодушен к угрозам. Просьбы и угрозы проникают в сознание человека примерно таким же образом, как распространяются

слухи. Просьбу или угрозу шепчут и передают дальше, но каждый истолковывает их по-своему. В итоге один слух порождает целый ряд слухов, и все они разделяют одну и ту же тревогу или надежду. Кто составляет толпу? Кто распространяет и нашептывает просьбы и угрозы рассудку до тех пор, пока не принимается решение? Толпа — собрание всех возможных ипостасей человека, обсуждающих его доминирующую личность, которую они считают узурпатором. Все эти ипостаси — порождения прошлого; они не сумели пробиться к власти, но не исчезли, а продолжают существовать.

Фон Хартман был человеком, уничтожившим свои возможные ипостаси; от его прошлого остались лишь устаревшие варианты одной и той же личности. Он походил на изображение, оттиснутое на почтовой марке.

Разумеется, он инстинктивно отреагировал бы на грубую силу. Если бы его жизни грозила опасность, он, может, захныкал бы, как ребенок, хотя, скорее всего, остался бы невозмутим. Молчание смерти служит всего лишь продолжением молчания субъективной жизни подобного индивида. Фон Хартман был человеком, которого можно устранить, но которому невозможно бросить

вызов, — именно это и делало его идеальным чиновником.

Марика выслушала рассказ об арестованном юноше, и для нее он стал неразрывно связан с Гарибальди и Дж. в лагере для интернированных лиц, откуда она помогла бы ему сбежать. Она тут же решила, что юношу следует освободить и для этой цели ей лучше самой обратиться к губернатору. Все решения Марики были немедленными, потому что ей не требовалось подтверждение их правомерности. Если стрелка ее воли указывала на север, то Марика отправлялась в путь; она не понимала, зачем сверять показания своего внутреннего компаса с другими. Тем не менее она была женщиной, склонной к размышлениям, с той лишь разницей, что ее размышления относились исключительно к прошлому и принимали форму легенд и сказок. В некоторых ей отводилась роль, но те, в которых она не участвовала, интересовали ее не меньше. Когда исчезала необходимость, определявшая события, они становились для Марики легендами и сказками, будто лодка, выброшенная на берег приливом, или кольцо, забытое в шкатулке. Иногда от событий оставалось отсутствие, как в случае с подругой Марики, которая сломала

руку во время прогулки верхом. Подруга случайно наткнулась в лесу на своего любовника и его новую пассию, развернула лошадь и понеслась прочь. До того как ампутировали руку, пока кольцо носили, пока лодка плыла, жизнь была слишком полна событий, и в ней не оставалось места размышлениям.

«Марика, я так тебя люблю! Твоя улыбка — как приговор в день Страшного суда. Когда ты снимаешь одежды, ты — воплощение воли. Друг с другом мы бестелесны. Все остальные — болтуны и сластолюбцы. Марика!» Когда Дж. это скажет?

— Его обязательно надо освободить! — воскликнула Марика, как только Дж. закончил рассказ.

Ее супруг согласно кивнул. Он всегда кивал, когда собирался в чем-либо отказать.

— Вы покорили ее сердце своим красноречием, — сказал он. — К сожалению, в нынешних обстоятельствах вмешательство в дело вашего юного друга не представляется возможным. Вдобавок это опасно. Предположим, он ни в чем не виноват. Сам по себе он опасности не представляет, но какой эффект помилование окажет на настроения в городе? Границу захотят перейти

другие, их число многократно возрастет. Чем это закончится? Пограничникам отдан приказ стрелять на поражение в любого, кто не останавливается и не предъявляет документы. Помилование вашего юного друга станет причиной смерти множества юношей. И к чему это приведет? Политические и дипломатические последствия пограничных инцидентов непредсказуемы. Скорее всего, начнутся военные действия. Моя жена в политике не разбирается. В политике все взаимосвязано. Ваш итальянский юноша пересек границу незаконно, и ему грозит длительное тюремное заключение, но помилование в этом случае приведет к войне, в которой погибнут десятки тысяч сыновей и отцов семейств.

Где-то в особняке зазвенел телефон. Банкир встал, подошел к жене и коснулся ее руки, лежащей на подлокотнике кресла.

— Вот поэтому беднягу невозможно освободить.

Марика не выказала ни малейшего возмущения. Она никогда не приводила доводов, равно как и не прислушивалась к ним. Она вела себя как зверек — или как человек, выбежавший по тропе на берег широкой быстрой реки: нетерпение или досада были бы напрасны. Она сидела

невозмутимо и спокойно, будто оглядывая реку и решая, в какую сторону побежать по берегу. Марика ни о чем не задумывалась, зная, что живет по особому разрешению и иначе жить уже не может. Она ощущала это, как ощущают простор равнины или близость невидимого моря. Без Вольфганга Марика превратилась бы в бродягу, а бродяг она презирала. К тому же она чувствовала, что все события мира, все остающиеся от них легенды и сказки переходят во владение таких людей, как ее муж.

В дверях возник лакей и объявил, что телефонируют из Вены. Фон Хартман извинился и вышел из гостиной.

— Я хочу танцевать, — произнесла Марика, встала и медленным кругом двинулась по паркету к Джи. — Кто вы? — спросила она. — Вы не тот, кем представляетесь. — По-итальянски она говорила плохо. — Нет, правда, кто вы на самом деле?

— Дон Жуан.

— Многие мужчины считают себя донжуанами, но настоящих я не встречала.

— Да, это имя многие себе присваивают.

— И вы тоже?

— Я?

— Да, вы правы. Я сама вас спросила и поверила вашему ответу. — Марика отошла в сторону и тусклым голосом поинтересовалась: — Помните, вы предложили нам съездить в Верону? Вы когда собираетесь?

— Я тебя люблю.

Странно неподвижное пламя свечей подчеркивает туго натянутую кожу на ее скулах.

— Если бы мы были дома, то поехали бы в лес на прогулку. Прямо сейчас, пока он не вернулся в гостиную.

— Повернись ко мне.

Он накрывает ладонью ее нос и рот. Теплая рука ощущает нос как нежную гланду. Глаза Марики смеются. Ладонью, чуть влажной от дыхания, он проводит по туго натянутой коже щеки, к покрасневшей раковине уха.

— Я не такая, как все, — шепчет она.

Фон Хартман замер на пороге, окинул внимательным взглядом две фигуры у камина и задумчиво вошел в гостиную. Ни Дж., ни Марику не интересовало, как долго он за ними наблюдал.

— Похоже, правительство в Риме решило вступить в войну, — заявил фон Хартман и положил руку на плечо Дж. — Это вопрос времени. Боюсь,

вам придется выбирать: мы или лагерь для интернированных.

— У меня есть время, — ответил Джи. — Не обязательно быть политиком, чтобы услышать, как надвигается лавина войны. Я пока ее не слышу.

— Нам лучше съездить в Верону сейчас, пока война не началась, — сказала Марика. — Давайте завтра отправимся.

— Ох, ты как ребенок, — вздохнул фон Хартман. — Зачем тебе в Верону?

— Я хочу путешествовать.

— Там лошадей нет. Там есть театр.

— Ненавижу этот город! — воскликнула Марика и направилась к дальней стене гостиной, где блестел белый кафель греческого храма и на полках до потолка теснились книги. — Здесь все интересуются только страхованием. Если война начнется через неделю, в Верону надо ехать немедленно.

— Нет, сейчас поездка невозможна. — Фон Хартман сел и взглянул на Джи. — Итак, война неизбежна, но, скорее всего, через две недели.

— Это тебе по телефону сказали? — крикнула Марика с противоположного конца гостиной, метрах в двадцати от мужа.

— Нет, но я сделал выводы из сказанного.

Она взобралась на верхнюю ступеньку библиотечной лесенки рядом с книжным шкафом; волосы почти касались потолка, лицо скрывала тень, свет падал на складки платья. Снизу казалось, что юбка начинается от самых плеч.

— Предлагаю пари! — объявила Марика. — Ставлю тысячу крон на то, что война начнется через неделю.

— Глупости! — сказал фон Хартман.

— Вот и прекрасно! — воскликнула она. — На кону тысяча крон. Нет, лучше так: если я выиграю, то итальянского юношу освободят из-под стражи. Я сама попрошу об этом губернатора. А если к следующему воскресенью война не начнется, я заплачу тебе тысячу крон.

— По-моему, этот итальянский юноша — твой любовник, — рассмеялся фон Хартман.

— Ты груб, как все немцы, — пробормотала Марика по-немецки, отвернувшись к книжным полкам.

— Не сердись, — на мелодичном итальянском ответил фон Хартман. — Я прекрасно понимаю твои чувства. Юноша пытался покинуть страну и возвращаться не собирался. Следовательно, твой интерес к нему беспристрастен и беско-

рыстен.

Последующее происшествие каждый из троих в гостиной вспоминал по-своему, однако все сходились на том, что Марика спрыгнула с лестницы. Никому и в голову не пришло, что она могла упасть, — нет, она именно спрыгнула. Возможно, она хотела запрыгнуть в глубокое кожаное кресло у книжного шкафа; во всяком случае, кресло перевернулось. Несмотря на стремительность случившегося и невозможность зафиксировать точную последовательность событий, миг, на который Марика зависла в воздухе, казался бесконечным.

На следующее утро Дж. встретится с доктором Донато и Рафаэлем (он никогда не встречался с ними поодиночке) в кафе на пьяцца Понтероссо. Его спросят о судьбе Марко. Если он скажет им, что Марко выпустят через неделю, его заподозрят в сотрудничестве с австрийцами. Если Дж. признается, что просьбы ни к чему не привели, его заставят уехать из Триеста. А если он намекнет, что Марко могут выпустить к двадцатому числу, то ему возразят, что это слишком поздно и к тому времени Италия вступит в войну. В таком случае он поинтересуется, как они

себе представляют вмешательство итальянского предпринимателя в вопросы австро-венгерского права. Рафаэль, раздосадованный намеком на свое безрассудное поведение, начнет кричать, что Дж. — австрийский шпион, потому что иначе он не добился бы освобождения Марко к двадцатому. Доктор Донато вмешается (для него главное — удержать Рафаэля от опрометчивых поступков в деликатной ситуации) и предложит прогуляться по набережной. Они пройдут мимо недостроенного канала к пирсу. Адвокат заведет разговор о Вольтере. По набережной, у пьяцца Гранде, навстречу им медленно поедет товарный состав. «Давайте посмотрим», — скажет доктор Донато. Колеса локомотива выше человеческого роста. К локомотиву прицеплены черные грузовые платформы. В сравнении с величием локомотива колеса вагонов кажутся расшатанными. В коротких промежутках между платформами, над ржавыми сцепными устройствами виднеется море. Доктор Донато умолкнет и внезапно обеими руками возьмет Дж. под локоть. Рафаэль обхватит Дж. за пояс, и вдвоем они вытолкнут его вперед, к почерневшему борту платформы. Дж. попытается отшатнуться. Доктор Донато начнет пинать его ботинки к рельсам:

сначала правый, потом левый. Через секунду Дж. позволят вырваться.

— Вы чуть не споткнулись, — скажет Рафаэль. — Будьте осмотрительнее, в Триесте много несчастных случаев.

— Понимаете, у нас очень мало времени, — вздохнет адвокат.

Представьте, что Марика не падает, а возносится. Вместе с ней возносится и пол, и вся обстановка гостиной, но скорость их вознесения различна; пол поднимается быстрее Марики. Так все это выглядело. Она подскочила вверх, и казалось, вниз она не движется. Она будто зависла в воздухе, как бело-лиловая фуксия. Платье слегка приподнялось, открывая белые чулки и колени. Губы ее приоткрылись, но из них не вырвалось ни звука. Возможно, стремительность движения не позволяла слышать звуки. Тишина делала миг вечным. Однако, застыв в воздухе, как фуксия, Марика оставалась собой — спящей женщиной, на которую утром смотрел Вольфганг; женщиной, плоть которой вожделел Дж. Ее материальность, застывшая в воздухе, была важнее любой идеи. Потом она свалилась на пол.

Никто не двинулся с места. Марика издала какой-то звук, будто сдавленный смех. Муж бросил-

ся к ней, встревоженный возможным увечьем, но подбежал к ней, когда она уже встала и отряхнула платье.

— Что ты наделала! — сказал он. Если бы он задал вопрос: «Зачем ты это сделала?», то она получила бы преимущество.

— Расстояние не рассчитала, — ответила она. — Я даже не ушиблась. Ну что, принимаешь пари?

— Принесите коньяк, — распорядился фон Хартман.

Дж. заметил, что Марика чуть прихрамывает.

— Ваша супруга подвернула ногу, — сообщил он. — С вашего позволения, я ей помогу.

Не дожидаясь ответа фон Хартмана, Дж. с ухмылкой взял Марику на руки. Фрау фон Хартман не стала протестовать и прижалась щекой к груди своего будущего любовника.

Все трое прошли через гостиную.

Когда подали коньяк, фон Хартман заговорил тихо, но отчетливо, не сводя глаз с жены, которую уложили на диван.

— Парой я вас не назову, но вы прекрасно смотритесь вместе. Надеюсь, вы поймете меня правильно. — Он откинулся на спинку кресла, держа в руках бокал, словно чашу. — Помните «Анну Каренину»? Мне всегда казалось, что Каре-

нин вовсе не был выдающимся государственным деятелем: слишком нарочит контраст между его общественной и личной жизнью. Каренину недоставало последовательности и ясности ума, необходимых любому преуспевающему чиновнику. Мало того что он выбрал себе неподходящую жену, он еще и обращался с ней неправильно. Он слишком долго отказывался поверить в ее измену, потому что слишком серьезно к этому относился, считая, что супружеская неверность означает конец света, и раз за разом откладывал объяснение. И что же он сделал, когда ему пришлось взглянуть правде в глаза? Помнишь, Марика? После скачек Анна во всем ему признается.

Он поднял бокал к глазам, всмотрелся вдаль сквозь стекло.

— Помнишь? После долгих раздумий Каренин решает, что необходимо соблюсти приличия и продолжать жить, как прежде. Конец света наступает робко, будто шепотом, чтобы о нем никто не догадался. Оба страдают в молчании. Каренин сам создал трагедию там, где для этого не было нужды. Анне следовало уйти от него, хотя она и знала, что это ее погубит. Если бы она осталась, они оба сошли бы с ума. Понимаете,

я — не Каренин.

Банкир поставил бокал на стол и приложил к губам сложенный платок с вышитой монограммой.

— В личной жизни я реалистичен так же, как и в жизни общественной. Мне уже давно ясно, что вы намерены соблазнить мою жену, а она хочет стать вашей любовницей. В обычных обстоятельствах это случилось бы без моего предупреждения. Но сейчас обстоятельства необычные. Времени у нас не осталось, и потому я хочу с вами это обсудить. Я ни в коей мере не собираюсь вам препятствовать. — Он помолчал, перевел взгляд с Дж. на Марику и кивнул. — Двадцатого мая, через четыре дня после того, как истечет время твоего пари, Марика… Кстати, я отказываюсь его принять. Так вот, двадцатого мая в Оперном театре состоится благотворительный бал в пользу Красного Креста. Мы с тобой… — Он отсалютовал супруге бокалом. — Мы с тобой его посетим, если, конечно, твой ушиб пройдет. Вы… — Он поглядел на Джи. — Вы приобретете еще два билета — между прочим, по двести пятьдесят крон каждый, но ради Красного Креста скупиться не стоит — и придете на бал. Ради приличия обзаведитесь спутницей. На балу вы можете танцевать с моей

супругой столько танцев, сколько она сочтет нужным. Потом я уеду ночным поездом в Вену и вернусь в Триест в субботу. Обещаю, что целые сутки вам никто не помешает.

Это напомнило Дж. слова доктора Донато: «Я убежден, что мы можем и должны на вас рассчитывать».

— Вопрос о вашем интернировании вряд ли возникнет. По моему глубокому убеждению, военные действия начнутся не раньше двадцать девятого мая. Я мог бы побиться об заклад, но делать этого не стану, потому что слишком уверен в своей правоте. Итак, вы успеете вернуться в Ливорно до начала войны.

Фон Хартман никогда прежде не делал таких предложений, но Марику это не удивило. Это стало началом новой легенды: ее супруг открыто заявил, что ей следует завести любовника. Разумеется, она отметила, что муж полагает интрижку короткой — с началом военных действий она расстанется с возлюбленным. Впрочем, Вольфганг в душе был немцем и считал, что все заканчивается так, как начиналось. В данном случае в конце уверенности не было. Перед началом войны Марика с любовником уедет в Верону и, возможно, не вернется к му-

жу до окончания военных действий. Кто знает, может быть, они погибнут. Она готова умереть с человеком, который час назад прикрыл ей рот рукой. С мужем она умирать не согласна — это похоже на смерть в кресле.

Марика не сомневалась, что если Дж. — донжуан, то он ее бросит. Однако ей хотелось только начала.

Вольфганг фон Хартман с улыбкой следил за ними. Марика преисполнилась благодарности за его позволение и в то же время торжествовала: ведь никому не известно, чем все это кончится. Она опустила ноги на пол, стараясь скрыть припухшую лодыжку, встала с дивана и медленно закружилась по гостиной, направляясь к тому месту, где упала.

— Видишь, мне совсем не больно! — смеясь, воскликнула она. — Мы пойдем на бал!

Дж. достал из кармана конверт.

— Благодарю вас за приглашение, — сказал он. — Я обязательно приду на бал. Вот информация по делу Марко. Прошу вас, взгляните. Теперь, когда война неизбежна, освобождение юноши не представляет неразрешимой проблемы.

Через несколько минут Дж. собрался уходить.

— Как нам дождаться четверга? — спросила Марика и, наслаждаясь полученным позволением, дерзко подставила Дж. щеку для поцелуя.

Вольфганг стоял рядом.

Дж. церемонно взял ее руку, поднес к губам и склонил голову.

— До встречи в Оперном театре, — произнес он.

Только сейчас мне стал понятен случай из детства Дж., пророческий характер которого оставался неясен во время написания.

— Смотри, раз тебе говорят, — замечает он.

Человек с бутылкой подходит к голове первой лошади, наклоняется и ударяет. Мальчику не видно, чем он ее бьет. Может, бутылкой. То же происходит у головы второй лошади. Громадные конские туши даже не вздрагивают от ударов. Мужчина разгибается. В руках у него ничего нет.

— Ну вот, я их забил. Видел?

Мальчик понимает, что надо соврать.

— Да, — отвечает он.

Мужчина подходит к нему, поощрительно хлопает по плечу. На ладони, пахнущей керосином, темнеют пятна крови.

— Значит, видел, — говорит он.

— Да, видел, — кивает мальчик. — Ты забил двух лошадей.

Он осознает, что разговаривает с незнакомцем, как взрослый с ребенком.

— Молодец, одним ударом забил, — добавляет он.

Все ужасы меркнут перед мерзким отвращением, которое он испытывает к человеку перед ним. Еще чуть-чуть, и от запаха керосина его стошнит.

— Так я пойду, — повторяет он.

— Гляди, не забудь, что я сделал.

Они расходятся. Свет фонаря исчезает. Запах керосина витает навязчивым воспоминанием. Дж. ощупью пробирается между деревьев.

Он переборол свои страхи: и страх за себя, и страх неизвестности (это совсем другой страх). Однако совладал он с ними не силой воли и не храбростью — эти отвлеченные нравственные принципы редко срабатывают в действительности. Нет, со страхами ему помогло справиться совсем другое. Этому чувству омерзения трудно подобрать определение — слова его упрощают. Оно никак не связано ни с забоем лошадей, ни с видом крови. Подобное отвращение часто возникает и у детей, и у взрослых, но если

не обращать на него внимания, то оно быстро забывается. Дж. его хорошо запомнил, и оно пересилило его страхи.

Дж. спускается по парадной лестнице особняка фон Хартманов, выходит в просторный сводчатый вестибюль, где одна из дверей ведет в крыло прислуги. В холодной темноте витает запах керосина — наверное, светильник протек.

9

На следующее утро, после встречи с Рафаэлем и доктором Донато в кафе, после прогулки мимо товарного состава и последующей угрозы, Дж. направился в сад Гёльдерлина и присел на скамью в тени сливового дерева.

Почему он не уехал из Триеста? Он вполне мог вернуться в Ливорно или в Лондон, а еще лучше — сесть на корабль в Нью-Йорк. После потопления «Лузитании» многие отказывались от океанского путешествия. Неужели он сделал это из упрямства? Нет, он не был упрямым; упрямство — защитная реакция постоянства, а постоянством Дж. не отличался. Может быть, в нем затаилось желание умереть? Пять лет назад он заигрывал со смертью. Камилла бы-

ла права: возможно, их связь продлилась бы, если бы супруг постоянно и всерьез угрожал пристрелить любовника. Однако заигрывать со смертью — не то же самое, что ее искать. Дж., как и Шавез, не стремился умереть, хотя их обоих отличало безрассудство. Что удерживало его в Триесте? Благотворительный бал в Оперном театре. В четверг он отомстит фон Хартману, а что будет дальше — Дж. не знал. Мы не можем стать на его место, а потому не в состоянии ни предполагать, ни заглядывать в его будущее, хотя кое-что следует добавить. То, что Дж. задумал сделать в Оперном театре, было полной противоположностью всему тому, что он совершил с тех пор, как впервые поцеловал грудь Беатрисы и сжал губами ее сосок. Он наверняка осознавал пагубность своих намерений, равно как и обреченность, нависшую над Триестом, хотя и воспринимал ее сопутствующим обстоятельством, не задевающим его напрямую.

Нуша заметила его сразу, едва войдя в сад. За вход пришлось заплатить, и она сжимала в кулаке билет, позволявший пройти по музейным галереям, уставленным классическими скульптурами. Она не отрывала взгляд от мужчины, сидящего на каменной скамье под сливовыми

деревьями.

Вчера она отчаялась снова встретиться с ним, хотя и утешала себя мыслью, что он, наверное, приходит в сад каждый день, кроме воскресенья. Впрочем, Нуша прекрасно понимала, что это не так, потому что впервые увиделась с ним именно в воскресенье — в прошлое воскресенье. Тем не менее она твердо помнила, что никогда раньше по воскресеньям его здесь не замечала. Если он не солгал, то воскресная встреча была исключением из исключений. Разумеется, Нуша не рассуждала в подобных парадоксальных выражениях, но цепь ее логических рассуждений привела к неожиданному выводу. На следующий день, в понедельник, она решила не пойти на фабрику, сказавшись больной, и отправиться в сад Гёльдерлина, хотя ей и пришлось бы купить входной билет. Вдобавок за прогул ее могли уволить. Однако всю прошлую неделю она слышала разговоры о войне с Италией и понимала, что ее брат должен как можно скорее уехать из Триеста.

Она направилась к Дж., который сидел спиной к ней. Если бы он наблюдал, как она приближается, ей было бы неловко, а так она шла к нему, как к груде щебня, которую надо сдвинуть.

Дж. с удивлением следит за уверенным приближением женщины и решает, что это жена хранителя музея, которая собирается сказать ему, что под деревьями сидеть запрещено. Она подходит ближе. Он узнает ее и поднимается со скамьи.

— Словенка, которая поведала мне свои тайны! — говорит Дж.

— Значит, вы приходите сюда днем.

— Да, я часто сюда прихожу.

— Но не по воскресеньям.

— Вчера меня здесь не было. А вы приходили?

— Я вас искала.

— Помнится, в прошлый раз за вами пришел брат. Человек, который назвался вашим братом.

— У меня к вам есть просьба, — неловко заявляет она с прямотой, похожей на приказ.

Дж. осеняет, что она поможет решить его проблему.

— Спрашивайте.

— Вы сказали, что вы итальянец из Италии.

Дж. кивает и предлагает ей присесть на скамью.

— Я лучше на траве посижу, — отвечает Нуша. — Если вы приехали из-за рубежа, то наверняка у вас есть паспорт. Дайте его мне, — с легко-

стью произносит она, хотя всю неделю боялась, что ей не представится возможности это сказать.

— Вы никогда не видели паспорта? В нем нет ничего особенного, только фотография.

С удивленной улыбкой он достает из кармана фальшивый итальянский паспорт и протягивает ей. Она перелистывает страницы, рассматривает фотографию. Лицо на фотографии белое, почти такое же, как воротничок. Черный костюм и галстук. Нуша вспоминает фотографию Чабриновича, сделанную в утро убийства эрцгерцога. Лица на снимках не похожи друг на друга, но серо-бело-черный бумажный квадратик такой же, как выцветшие фотографии на кладбищенских памятниках.

— Мне нужен ваш паспорт. Насовсем.

— В таком случае нам с вами придется остаться здесь насовсем. Без паспорта я не смогу отсюда уехать.

— Мне очень срочно нужен паспорт.

Рядом с ее ладонью из травы взлетает бабочка. В полете крылья раскрываются, замирают, потом робко трепещут в чуждом ритме, относительно которого Дж. и Нуша кажутся застывшими статуями.

— Зачем?

— Не скажу.

— А почему вы меня просите?

— Я не знаю других итальянцев.

— В Триесте много итальянцев.

— У них нет паспортов.

— Хорошо, я отдам вам паспорт, но с одним условием: вы пойдете со мной на бал в Оперный театр.

— Боян прав, — бормочет она по-словенски, уставившись на ствол сливы. Нуше кажется, что она вернулась в нищету деревни. Перед глазами у нее неумолимый мир. Боян сказал, что итальянец хочет толкнуть ее на путь разврата. Бал в Оперном театре — первый шаг.

— Дайте мне ваш паспорт, — упрямо повторяет она, не отводя глаз от дерева. — Что вы за это хотите?

— В конце бала, когда объявят последний вальс, я отдам вам паспорт. Не бойтесь, я больше ничего от вас не хочу. Даю слово.

— Бал в Оперном театре?

— Да.

— Меня туда не пустят.

— Мы вам все купим — бальное платье, шаль, сумочку, туфли, перчатки, жемчуга. Вы будете моей гостьей.

— Вы не понимаете… — удивленно говорит Нуша, но больше не хмурится. — Меня выгонят. Скажут, что вы уличную девку на бал привели.

— Возможно, мы с вами оба не понимаем, чего просим, — отвечает Дж. — Но если вы согласитесь пойти со мной, то я отдам вам паспорт.

— А когда бал?

— В четверг на следующей неделе.

— Нет, это слишком поздно. Дайте мне паспорт сейчас.

У неуклюжих ботинок Нуши вьются две бабочки. В воздухе пахнет неподвижной зеленой травой. В зелени прячутся белые и лиловые цветы. Нуша наконец-то понимает, что итальянец не намерен толкнуть ее на путь порока. Она неожиданно смелеет и, коснувшись его руки, умоляюще глядит на него.

— Дайте мне паспорт.

— Если я отдам паспорт, вы не придете на бал.

— А я и так не смогу. Я работаю.

— Но сегодня же вы не на работе.

— Сегодня я пришла, чтобы ваш паспорт попросить.

— Я вам заплачу.

— Дайте мне паспорт и пригласите на бал еще кого-нибудь. Зачем я вам нужна? Там будет много

важных дам.

— Война с Италией до следующего четверга не начнется.

— Не умею я ваши танцы танцевать.

— К черту танцы!

— Тогда зачем вы меня приглашаете?

Дж. знает, что прямая лесть вызовет у нее подозрения.

— Когда бал закончится, на ступенях Оперного театра вы вручите мне свою бальную карточку, а я вам отдам вот это, — говорит он, похлопывая себя по карману.

— Ладно, — недовольно соглашается она. — Я пойду с вами.

Пустынный сад с разросшимися деревьями окружают стены, увитые плющом. Из длинной травы выглядывают обломки древних статуй. По лужайке бродит кот, в воздухе зависли стрекозы. Нуше все это кажется безумным. Она собирается уйти, но сегодняшний разговор в саду скажется на жизни за оградой.

Дж. целует ей руку.

— Приходите сюда завтра, к одиннадцати утра. Я договорюсь с портнихой.

«Наверное, он — призрак», — думает Нуша, полагая это не более вероятным, чем то, на что

она согласилась, и лихорадочно размышляет, не представится ли случая выкрасть паспорт.

— Знаете, как называется это место? — спрашивает она.

— Мне здесь очень нравится, — отвечает он. — *Il giardino del Museo Lapidario*.

Я пишу это и вспоминаю сад.

* * *

Вольфганг сообщил Марике, что из чистого любопытства навел справки об арестованном Марко и кое-что выяснил. Как оказалось, вся история, рассказанная Дж., — совершеннейшая выдумка. Юношу поймали с поддельными документами. Никакого умирающего отца в Венеции не существовало. «Марко» пытался пробраться в Италию, чтобы выступать с речами на демонстрациях, организуемых по всей стране. Австрийские власти давно взяли его на заметку: он прослыл прекрасным оратором и принадлежал к экстремистской фракции ирредентистов. Марика спросила супруга, известно ли об этом Дж. Вольфганг заявил, что это неважно и он все равно сдержит свое обещание. Загадочность происходящего разожгла нетерпение Марики. Сначала она отдастся чело-

веку, который был донжуаном, а потом узнает, чего он от нее хотел.

* * *

Дж. нашел лучшую портниху в городе, пожилую парижскую модистку, и обсудил с ней бальный наряд Нуши. Он попросил, чтобы девушке сшили поистине королевское одеяние. Модистка заметила, что Нуша очень молода и чересчур пышное платье ее состарит. Дж. возразил, что Нуша в любом наряде будет выглядеть молодо, но одеяние должно быть величественным, как у царицы Савской.

Нуша пришла на первую примерку и стояла, как новобранец, понуро глядя перед собой и раздумывая о своей жизни. Если бы ее деревенских подруг подвергли такому же испытанию, она бы подбодрила их улыбкой и вызывающим замечанием. Она была совершенно одна в незнакомом, чуждом для нее мире. Впрочем, это ее не пугало. Она заметила свое отражение в зеркале, представила, как бы на нее поглядела мать или девушки с фабрики, и густо покраснела. Шея и грудь пошли пятнами — не от стыда, а от того, что бы о ней сказали. Прежде она воображала себя женой, матерью или старухой на смертном од-

ре, но никогда не предполагала, что окажется в центре внимания. Нуша знала, что поступает правильно — и не просто правильно, а ради великой, праведной цели. И все же, оказавшись главной героиней, она чувствовала себя преступницей. Ей не с кем было поделиться своими впечатлениями, некому рассказать, что с ней происходит. Она ощущала себя одинокой заговорщицей, злоумышленницей. Пока итальянка с мерной лентой диктовала размеры своей помощнице, записывающей цифры в бархатную книжечку, Нуша вспоминала о Принципе и Чабриновиче, томящихся в застенках богемской тюрьмы.

Дж. встречался с ней каждый день: сначала в саду Гёльдерлина, потом в магазинах, где покупал ей очередной предмет туалета. Каждый день Нуша относила новый сверток домой, в комнату рядом с оружейными складами, запирала дверь, разворачивала бумагу и прятала вещи в нижнем ящике буфета, который служил ей одновременно кладовой и гардеробом. На второй день она обнаружила в туфле пачку банкнот и не обиделась: это были не деньги, полученные от мужчины, а часть суммы, полагающейся Нуше за эту странную неделю, после чего ей придется вернуться

на фабрику или искать новую работу. Ей так и не представилось случая выкрасть паспорт.

Продавцы и лавочники — ювелиры, перчаточники, сапожники, галантерейщики — ошеломленно обслуживали богатого итальянца и словенскую деваху-простушку («Она как ломовая лошадь», — говорили они), не задавая лишних вопросов. Некоторые пытались сообразить, что все-таки связывает эту парочку. Странные покупатели обращались друг к другу почтительно и чинно, разговаривали мало, смотрели друг на друга без ненависти, но и без любви. Между ними не было ни притворства, ни заигрываний проститутки с клиентом. Впрочем, близость их тоже не связывала; словенка не была ни женой, ни любовницей итальянца. Почему же он так старательно выбирал ей экстравагантные подарки? Почему она не выказывала ни благодарности, ни разочарования? Иногда она выглядела растерянной, но чаще всего исполняла все, что от нее требовалось, — терпеливо и с медлительной природной грацией. Лавочники пришли к двоякому выводу: либо словенка туповата, а итальянец каким-то загадочным образом пытается этим воспользоваться, либо итальянец не в себе, а она — его верная служанка.

* * *

Нуша со страхом и надеждой ожидала встречи с братом. Она хотела выведать его планы и как-то намекнуть, что раздобудет паспорт, хотя и опасалась, что Боян захочет узнать, почему она бросила работу и чем занимается.

Боян пришел к ней в пятницу вечером. Страхи оказались напрасны: он был так встревожен сложившейся политической ситуацией и неизбежностью военных действий, что не стал расспрашивать сестру и решил, что она по-прежнему работает на фабрике.

— Тебе надо есть поменьше, — заявил он. — Похудеть не помешает.

— Я летом мало ем, — возразила она.

— Империю разгромят, это неизбежно. А когда она развалится, в городах начнется голод.

— Ты когда во Францию уезжаешь?

— У нас еще не все готово. Надо подпольную сеть организовать.

— Но ты не уедешь до следующей недели?

— Я пока тебе ничего говорить не буду, но обещаю, что перед отъездом обязательно зайду попрощаться.

— Через неделю я смогу тебе помочь. Тебе будет

безопаснее.

— Ты о чем?

— Увидишь.

Он вздохнул и посмотрел из окошка на верфь, где разгружали товарное судно. Люди казались крошечными, будто кнопки, а лошади с подводами на причале были не больше жуков.

Нуше очень хотелось подробнее объяснить брату, как она собирается ему помочь.

— Помнишь, в прошлое воскресенье, когда ты меня в саду отругал…

— Когда я застал тебя с этим мерзким Казановой? Помню, конечно. Именно этого мы и опасаемся: если итальянцы отберут Триест, то одна тирания сменится другой, которая будет хуже первой, потому что лишит нас шансов на свободу. Итальянцы будут хуже австрийцев.

— Ну, ты тогда еще мне кое-что показал…

Он продолжал хмуро смотреть в окно. Крошечные фигурки, снующие по причалу, усугубляли пессимизм Бояна.

— Если вспомнить, о какой Италии мечтал Мадзини, если вспомнить Гарибальди, а потом взглянуть, какой стала страна…

— В Париже ты обязательно увидишься с приятелем, — сказала Нуша, не зная, как подбодрить

брата.

— Да, мы с Гасиновичем обязательно увидимся. Моя жизнь — как лебедь в тумане, летящий к далекому неугасимому свету. Это Гасинович написал.

Нуша подошла к брату, обняла и прильнула щекой к его плечу. Сомкнув головы, они смотрели из крошечного окна на корабль с открытыми люками. Боян медленно потерся щекой о щеку сестры. Обычно он не терпел подобных проявлений нежности, но сейчас вспомнил о том, как они были близки в детстве, и представил далекий свет, мерцающий в тумане. Для них с сестрой этот огонек не служил символом надежды. Они не в состоянии были обсудить, что именно он означает, но различать далекое мерцание начали с тех самых пор, как Боян научил сестру читать.

* * *

Во вторник Нуша явилась к модистке на последнюю примерку бального платья. Через три дня с Нушей расплатятся — паспорт еще не был заработан. Она стояла перед трюмо и рассматривала свой необычный наряд.

Черную шелковую юбку украшала вышивка

в индийском стиле: восемь или девять красных пионов, несколько серебристо-зеленых листьев роз и три-четыре веточки загадочного растения с синими ягодами, похожими на терн. Листья роз были размером с Нушину ладонь. Муслиновый корсаж цветом напоминал Нушину кожу. Короткие широкие рукава были обшиты жемчугом. Она поглядела на свои плечи и грудь, прикрытые тонким муслином, округлые и плотные, и подумала: «На балу мне ничего не грозит, итальянец ко мне не притронется». Потом ее осенило: «В пятницу утром в этом наряде я приду к Бояну, разбужу его, отдам ему заработанный паспорт, и он сможет уехать». Впрочем, она тут же изменила свое решение: «Нет, это привлечет ко мне внимание. Прежде чем идти к Бояну, надо переодеться».

Ей совсем не хотелось думать о том, что после отъезда брата придется возвращаться на фабрику, где Нуша работала мяльщицей. Волокна джута надо было смачивать смесью китового жира и воды, а потом подавать их в мяльную машину. Когда верхние вальцы опускались на пропитанные эмульсией джутовые волокна, придавливая их к нижним, неподвижно закрепленным вальцам, вонючая смесь брызгала

Нуше в лицо. В брезентовом халате, который обычно надевали мяльщицы, ей было неудобно. Она перетаскивала охапки волокна от мяльной машины к тачке, и эмульсия впитывалась в одежду. Поначалу Нуше казалось, что она никогда не избавится от запаха китового жира. Нет, на джутовую фабрику возвращаться не хотелось. Надо бы подыскать другую работу.

Пожилая модистка поправила на Нуше высокий пояс из красного шелка и нечаянно задела костяшками пальцев грудь девушки. Нуша провела ладонью по огромному вышитому цветку. Юбка облегала ей бедра. Часто вальцы мяльной машины вытягивали у Нуши из рук джутовые волокна; жесткие пряди застревали у нее между пальцами, цеплялись за ногти. Итальянец купил Нуше крем для рук, похожий на молоко, и каждый день придирчиво осматривал ее кожу.

Модистка внимательно оглядела боковые швы юбки.

— Здесь надо ушить, — сказала она своей помощнице, к запястью которой была привязана подушечка для булавок, похожая на головку чертополоха.

Нуша чувствовала легкие прикосновения рук к бедрам. Еще одна портниха возилась с за-

стежкой на спине. Невесомые, осторожные касания невидимых пальцев — Нуша даже голову повернуть не смела — оказывали странный, гипнотический эффект.

В детстве, когда Нуша болела, то представляла себе, что к ней прилетает лебедь и устраивается у нее на животе, как на поверхности озера. Ей даже чудились прикосновения перепончатых лап к бедрам. Лебедь вытягивал длинную шею, опускал голову — словно ловил что-то в озерной глубине — и ласково кормил Нушу из клюва. У еды не было привкуса рыбы или затхлости, и джутом она не пахла. Лебедь кормил Нушу малюсенькими — не больше вишни — коржиками. Вкус у них был вишневый.

Модистка отступила на шаг и залюбовалась своим творением.

– *Ça présente drôlement bien*, — сипло сказала она. — Хорошо сидит.

Две ее помощницы, присев, расправили шлейф платья.

— Пройдитесь, — велела модистка.

Нуша медленно и осторожно, как в темноте, сделала несколько шагов к зеркалу. Одна из помощниц попросила ее подобрать шлейф, будто в танце. Нуша понятия не имела, как это делается.

Обычно Дж., заметив ее растерянность, помогал ей разобраться, но сейчас он ждал в приемной. Подойдя к зеркалу, она удивленно поглядела на свое сияющее отражение, окутанное нежно-лососевым туманом муслина, разочарованно вздохнула — жаль, что в пятницу утром брат не увидит ее наряд — и решительно произнесла:

— Покажите, как это сделать.

* * *

С десяти часов вечера 20 мая 1915 года к ступеням Оперного театра подъезжали кареты и автомобили. Лакеи в сине-золотых камзолах встречали гостей. На бал был приглашен весь высший свет. Никто не ожидал такого роскошного празднества перед самой войной. Впрочем, гости с сожалением отмечали отсутствие ярко освещенных пассажирских лайнеров в порту. С набережной открывался вид на темный залив без единого огонька. На бал явились все приглашенные, понимая, что это последнее празднество перед долгой войной.

Среди гостей было примерно поровну австрийцев и итальянцев. Обычно в светской жизни Триеста преобладали австрийцы, но бал давали в честь австро-венгерского общества Красного

Креста, а потому появление на нем служило доказательством верности его императорскому величеству Францу-Иосифу II, войска которого мужественно терпели поражения — отсюда и срочная потребность в медикаментах. Престарелые австрийцы считали своим патриотическим долгом станцевать мазурку.

Итальянцы — в основном старинные торговые семейства и представители торгового флота — полагали необходимым выразить поддержку империи и уверить власти в своих верноподданнических настроениях. В Триесте ирредентисты вербовали сторонников из интеллигенции, но итальянские предприниматели и коммерсанты отчетливо понимали, что без поддержки Австрии Триест утратит статус преуспевающего торгового порта — недаром их венецианские конкуренты оказывали финансовую помощь партии ирредентистов. На балу итальянцам было неловко и тревожно. Всякий раз, подходя к окну за глотком свежего воздуха, они ожидали увидеть над заливом артиллерийские залпы.

Вольфганг фон Хартман с супругой приехали в карете. Марика облачилась в лиловое бальное платье с бледно-зеленой отделкой. Темно-рыжие волосы были гладко зачесаны. Дышала она,

полуоткрыв рот. День казался ей бесконечным. Она разложила пасьянс и приняла ванну. Парикмахер дважды укладывал ей волосы. Она прошлась по гостиной и вспомнила свои слова: «Если бы мы были дома, мы бы поехали в лес на прогулку. Прямо сейчас, пока он не вернулся в гостиную». На паркетном полу она прочертила лесную тропинку и вздохнула. Десятидневное ожидание состарило ее; в молодости она ни за что бы не ждала. Карета подъехала к площади у ступеней театра. Вольфганг взял жену под руку и сказал, что Марика прекрасно выглядит. Она безмолвно склонила голову. Макушка слегка фосфоресцировала, как морская вода.

— Помни, что я — не Каренин, — сказал он. — Желаю тебе хорошо провести время.

Гладкая прическа внушала ему уверенность в своей власти над супругой.

Карета отъехала. На ступенях кто-то заметил по-немецки, что, хотя будущее за автомобилем, на бал следует приезжать только в карете. Марика откинула голову и посмотрела в небо, где едва светился Млечный Путь. В первой бальной зале играли вальс.

Они здоровались с приятелями, пожимали руки, улыбались, принимали комплименты.

Марика вглядывалась в толпу гостей, пытаясь отыскать Дж. Один из директоров триестского отделения австрийской Южной железной дороги, энергичный старик с постоянно опущенным веком, попросил фрау фон Хартман оказать ему честь и принять приглашение на первую мазурку. Марика опустила бальную карточку в сумочку, давая понять, что первая мазурка уже обещана, но внезапно передумала: лучше, если к появлению Дж. она будет танцевать мазурку с господином директором. Старик рассыпался в благодарностях. Марика, прикрывшись веером, поглядела на широкую лестницу, устланную красным ковром, которая вела во вторую бальную залу.

В ближайшие часы гости хотели забыть о том, что случится в ближайшие дни и месяцы, но все, о чем они беседовали, неумолимо напоминало о неминуемой войне, грозящей провинциальному городу. Облегчение приносила только музыка — знакомая и неизменная. Как только оркестр начинал играть, гости приободрялись; у них возникало ощущение, что они танцуют на балу в привычном, незыблемом мире.

Однако на пустынном пирсе для одинокого слушателя отдаленная музыка звучала иначе — она

казалась не совсем знакомой.

Музыканты военного оркестра, одетые в синеалые мундиры австрийской армии, еще недавно воевали на Восточном фронте. Их полк перевели в Триест в преддверии войны с Италией. Оркестранты больше не верили в эпоху вальсов. Они играли вальсы, как горькое напоминание о прошлом. Венская танцевальная музыка всегда звучала ностальгически, но сейчас в ней сквозило не смутное сожаление об ушедших днях, а горечь семи ужасных месяцев, о которых музыкантам хотелось бы забыть. Неосознанно они играли вальс с подчеркнутой, шаржированной сентиментальностью.

Как только стихли звуки очередного вальса, в дверях возникли Дж. с Нушей. Они разглядывали танцующие пары. Нуша, одного роста с Дж., разительно отличалась от присутствующих на балу дам, что было ясно любому.

Дж. взял Нушу под руку и подвел ее к супругам фон Хартман. В углу бальной залы воцарилась тишина. Некоторые гости демонстративно отворачивались от проходящей пары. В нарушение правил приличия Дж. представил Нуше господина и фрау фон Хартман, громогласно поблагодарил австрийского банкира за пригла-

шение на бал и, едва музыканты заиграли вальс, закружил свою спутницу в танце. Фон Хартман с неподвижным, окаменевшим лицом посмотрел ему вслед и заговорил ровным, спокойным голосом. Степень его гнева выдавал только выбор слов — ему хотелось подобрать выражение такое же вульгарное, как женщина, которую Дж. посмел привести на бал.

— Он явился с прихлебательницей, — сказал он.

Его супруга улыбнулась. Она знала, кто такой Дж., и восхищалась его дерзостью.

Платье Нуши напоминало тугой, нераспустившийся бутон ириса, повернутый кончиками лепестков к полу. Однако же не наряд отличал Нушу от остальных женщин. Платье заставляло окружающих сравнивать ее с собой. Если бы Нуша пришла в своей повседневной одежде, такое сравнение сочли бы нелепым. Сразу же после появления Дж. с Нушей все начали обсуждать скандальное происшествие.

Итальянец привел на бал словенку — словенскую деревенщину, вызывающе одетую в индийские шелка, муслин и жемчуга. Она танцует вальс, как пьяная медведица, топая и прижимаясь к кавалеру.

Молодой офицер в синем мундире заявил седовласому господину, что готов вызвать на дуэль наглеца, осмелившегося оскорбить общество Красного Креста его императорского величества. Седовласый господин из Вены был генералом, участником битвы при Сольферино.

— Мальчик мой, если бы он говорил по-немецки, ваш вызов был бы справедлив, — вздохнул генерал. — Говорят, этот тип знает только итальянский, так что я запрещаю вам с ним связываться.

Вальс — круг, в котором вздымаются и опадают ленты чувств. Музыка распускает банты и снова их завязывает.

Высший свет Триеста умел давать пренебрежительные отповеди наглецам и выскочкам, и в обычных обстоятельствах Нуша бы пристыженно стушевалась. Сейчас ее сердце билось часто, затянутые в перчатки пальцы сдавило от восторга — она предвкушала исполнение своих желаний. Вдобавок на балу ей представилось весьма необычное преимущество: к ней не приставали с расспросами. Нуша и Дж. двигались от одной группы гостей к другой, как птицы среди стада коров. Музыка была сильнее; она за-

ставляла людей танцевать. Музыка была знакома Нуше. Да, мазурку она танцевать не умела, но знала вальс и польку. Танцуя с Дж., девушка чувствовала себя в безопасности, хотя и не доверяла ему. В своем невероятном положении она искала одобрения в знакомых вещах: в музыке и в Дж. Нуша не задумывалась, почему он ее сюда привел, хотя четко осознавала, что пришла с ним для того, чтобы заполучить его паспорт. Она исподтишка наблюдала за Дж. десять дней и была уверена, что он не оставит ее в беде. Вдобавок зал был полон роскошных туалетов, драгоценных украшений, цветов и лент — все это ограничивало разряженных гостей. Бальное платье самой Нуши тоже служило защитой. Враждебные взгляды разбивались о ее тюрбан и шлейф; Нуша отворачивалась, прежде чем на лицах возникали негодующие, презрительные улыбки.

Один танец они начали первыми. Как Дж. и предполагал, к ним не осмеливались присоединиться, и они вальсировали в одиночестве. Но для девушек на балу невозможна сама мысль о том, чтобы отказаться от долгожданного танца. Почему им приходится стоять рядом с кавалерами, тупо уставившимися на дуру-словенку? Одна девушка решительно положила руку на плечо

своему будущему жениху. Он послушно взял даму за талию. За ними последовали остальные.

Вальс — круг, в котором вздымаются и опадают ленты чувств. Музыка распускает банты и снова их завязывает.

От Дж. не ускользало ничего из происходящего в бальной зале. Отвращение, поначалу испытываемое им к фон Хартману, мало-помалу распространилось на всех присутствующих на балу. Дж. хотел открыто выразить это отвращение, но слишком хорошо знал, что оскорбительный вызов, выкрик или выстрел лишь развлечет присутствующих и убедит их в своей правоте. Они обожали мелодраму. Нет, вызов должен быть изощренным и обобщенным. К такому выводу Дж. пришел десять дней назад и сейчас полностью погрузился в исполнение своего плана, как авиатор в полете. Дж. больше не занимали причины, побудившие его на подобный поступок. Он думал только о результате. Каждый миг на балу был мигом напряжения и триумфа. С Нушей он говорил почтительно и нежно, словно взывал к своему неповиновению.

Фон Хартман покинул бальную залу, зная, что нет смысла запрещать супруге свидание

с Дж. — она немедленно нарушила бы повеление мужа. К тому же своим примитивным и недалеким умом она не могла осознать расчетливое оскорбление, заложенное в вызывающем поведении Дж. Своим поступком итальянец публично объявил следующее: «После прихлебательницы — твоя жена».

Мазурка — одновременно и скачки, и триумфальный марш победителя. Пока звучит музыка, каждая пара — победители.

Марика танцует с молодым офицером и воображает, как будет танцевать с Дж. после того, как уйдет с бала ее муж. И пусть мелкие чиновники, евреи и страховые агенты укоризненно качают головами, глядя на жену банкира, танцующую с итальянцем, который привел на бал вульгарную словенку. Ах, Марика покажет им, что такое настоящее высокомерное презрение.

Вольфганг отводит к окну начальника полиции и пересказывает ему дело Марко.

— Его необходимо немедленно задержать и допросить, — говорит он о Дж.

— Нет, это вряд ли. — Начальник полиции, давний друг Вольфганга, качает головой. — Подпольщики так открыто не действуют.

— Он очень хитер. Рассчитывает, что все так и подумают.

— Да он просто сумасшедший. — Начальник полиции, несмотря на свой парадный мундир, блеском не уступающий генеральскому, считает себя знатоком человеческой натуры. — Он наверняка страдает мономанией: его неотвязно преследует какая-то мысль. Вы заметили выражение его лица? А его ухмылка? Он улыбается не кому-то или чему-то; он улыбается потому, что его в миллионный раз осеняет одна и та же идея.

— Сумасшедшие польку не танцуют. Поговорите с ним, а еще лучше — немедленно допросите.

— Вы хотите, чтобы я арестовал его посреди бала?

— Нет, когда он будет уходить.

— Что вы! Я всю жизнь посвятил изучению психологии преступников. Если его разозлить, он вполне способен на убийство, но такие типы, как он, подпольной деятельностью не занимаются.

— А если его преследует мысль о свержении императора?

— Меня этим не напугаешь. Посмотрите на него! Его безумие совсем иного рода.

— Безумие?! Вы играете словами. Иногда мне кажется, что после нас не останется ничего, кроме словесных игр. Безумцы неуправляемы; их запирают в камеры. На самом деле безумцы относительно безвредны. Он не безумец. Он хитроумен, полон злобы, но рассудка не утратил. Вы называете безумием то, чему позволяете существовать, хотя и считаете нежелательным. Для вас безумие — то, что не заслуживает вашего контроля. Я не признаю и осуждаю подобное определение безумия. Привести сюда такую женщину — это не безумие, это умышленное оскорбление. Он нас презирает; его презрение основано на убеждении, что он со своими приятелями нас уничтожит.

— Презрение — не преступление. Повторяю, привести такую женщину на бал — не оскорбление. Вы же сами сказали, что оскорбления наносят с расчетом. Оскорбления по натуре своей рациональны. А это — своего рода безумие.

— Допросите его, пока не поздно.

— Друг мой, мы с вами знакомы много лет. Вы сами не верите своим словам. Неужели ваши с ним финансовые переговоры зашли в тупик? Я вам сочувствую. Догадываюсь, что с таким безумцем нелегко совершать сделки. — Началь-

ник полиции смеется. — Но давайте не будем устраивать мелодраму.

— Мне пора. Сегодня я уезжаю в Вену.

— Возможно, вы правы, хотя и не убедили меня. И все же я приму ваши слова к сведению. В последнее время меня трудно убедить — может быть, это потому, что я слегка оглох. Как бы то ни было, не волнуйтесь, к вашему возвращению все будет по-прежнему.

Вальс — круг, в котором вздымаются и опадают ленты чувств. Музыка распускает банты и снова их завязывает.

Бал продолжался. Итальянцы предпочитали бальную залу второго этажа, где играл театральный оркестр. В обеих залах живо обсуждали скандальное появление словенки в жемчугах. Итальянцев возмущало, что их соотечественник так опозорился. Некоторые не преминули заметить, что на такое способны только жители Ливорно. Вдобавок состояние свое он заработал засахаренными фруктами, а потому он не почтенный предприниматель, а мелкий лавочник. После того как первоначальное возбуждение улеглось, австрийцы склонны были рассматривать инцидент как напоминание о том, что задача

принести культуру цивилизованного общества в эти края пока не решена и, возможно, займет очень много времени; признаком того, как долго они пытались решить эту задачу, служило утомление, часть австрийского культурного наследия. Утешало лишь то, что до зари можно было танцевать под свою музыку. В первой бальной зале теперь звучала только немецкая речь.

После ухода Вольфганга Марика отказывала всем кавалерам, уверенная, что Дж. вот-вот ее отыщет. Он не появлялся. Она переходила от одной группы гостей к другой, переговариваясь со знакомыми. В бальной зале Дж. она не заметила. Своей неуверенной, раскачивающейся походкой, закинув неподвижные невидимые рога, Марика поднялась по парадной лестнице во вторую залу. Там его не было. У выхода из итальянской залы Марика столкнулась с приятельницей, которая чуть позже прошептала мужу: «Фрау фон Хартман не может успокоиться». Дж. нигде не было. Марика решила, что он провожает словенку к карете, и спустилась по лестнице, будто танцуя.

Мазурка — одновременно и скачки, и триумфальный марш победителя. Пока звучит музыка, каждая пара — победители.

После полуночи оркестры умолкли. Начался ужин. В просторном вестибюле стояли длинные столы, украшенные цветами и уставленные хрусталем и бутылками шампанского. К столам подошли гости; австрийцы и итальянцы, снова оказавшись вместе, наигранно смеялись и оживленно жестикулировали, как если бы после полуночи все стало больше и проще. Гостей обслуживали юноши, специально приглашенные на бал, — не официанты, а потенциальные женихи. Подавая даме бокал, они осведомлялись о ее дочери. Над бутылками шампанского вился дымок. Произносились заздравные тосты. Вокруг одного из столов гости расступились. В пустом пространстве Дж. и Нуша сидели друг напротив друга. Марика увидела, как Дж. салютует бокалом своей спутнице. Они выпили. Разговоры зазвучали громче, раздались взрывы смеха.

Гости еще пили шампанское, когда заиграл оркестр. Итальянец и его спутница с высокой грудью, в муслине и жемчугах, первыми начали танцевать. Итальянец и его спутница с шеей не толстой и не тонкой, а похожей на ногу, первыми начали танцевать. Итальянец и его спутница с узкими непроницаемыми глазами первыми начали танцевать. К ним никто не при-

соединился. Теперь на них смотрели не со злобой, а с высокомерным пренебрежением. Кто-то рассмеялся. Кто-то закричал: «Убирайтесь в свой цирк!»

Дж. привлек Нушу к себе и что-то ободрительно прошептал ей на ухо. Они танцевали, прижавшись щекой к щеке; так танцуют крестьяне.

Вальс — круг, в котором вздымаются и опадают ленты чувств. Музыка распускает банты и снова их завязывает.

Марика не удивилась, увидев, что он танцует обнаженным. Поразило ее то, что она заметила его пенис. Никогда прежде она не видела стоящего мужчину с напряженным членом. Дж. не стоял на полу; его тело, поднятое на ходулю, несмотря на вес, прочно оставалось в воздухе, меняя положение сообразно движениям женщины рядом с ним. На этой ходуле он приближался к ней, свесив ноги по обе стороны, удерживая равновесие поднятыми руками. В постели пенис — если рассматривать его сверху или сбоку — выглядит как предмет, как овощ, как рыба. Дж. вальсировал, и его член не поддавался определению. Он был багровым. Он устремлялся вперед. Его головка чуть покачивалась из стороны в сторону,

как голова галопирующей лошади. Иногда он так резко искажался, что становился невидимым. Марика видела только тьму с сияющим угольком у входа. Она решила, что ощущает запах серы. У нее закружилась голова.

Генерал, в молодости участник битвы при Сольферино, счел поведение окружающих неприличным — наверняка они слишком много выпили. Он взял за руку свою племянницу и повел ее танцевать.

Марика, скованно выпрямив спину на сиденье кареты, возвращалась домой. Ей казалось, что окна кареты занавешены черными шторами. «У сказки бывает только одна концовка», — подумала она. Музыка из театра слышалась даже у входа в особняк.

По дороге в Оперный театр Марика, скованно выпрямив спину на сиденье кареты, посмотрела в окно. В гавани все было тихо. От театра отъезжали кареты.

О случившемся часто вспоминали даже тридцать лет спустя. В тысяча девятьсот сорок пятом году Триест захватили югославские партизаны, и город впервые оказался в руках славянских

патриотов, а потому инцидент несколько померк и приобрел постыдный оттенок. Как бы то ни было, все утверждали, что рыжая мадьярка, жена австрийского банкира, выхватила из-под шали плетку и ударами погнала из театра словенку, чье появление на балу и без того вызвало скандал. Версии разнились лишь в одном: мадьярка пыталась или не пыталась отхлестать и спутника словенки.

Марика прекрасно ездила верхом, но хуже справлялась с плетью, а потому, если Дж. был рядом с Нушей, фрау фон Хартман могла задеть и его. Впрочем, следов плети на нем не осталось, а шею и плечи Нуши пересекли три багровые вздувшиеся полосы.

Нуша бросилась вниз по лестнице к выходу, Марика погналась следом, но Дж. подбежал к ней и схватил плеть. Они сцепились, Марика упала. К Дж. метнулись несколько гостей. Он замахнулся на них плетью, вырвался и выбежал к Нуше на улицу.

Нуша бежала, высоко подобрав подол и шлейф платья, так что открылись колени. Тюрбан она потеряла или выбросила. Дж. догнал ее. Издалека доносились крики и вопли. Юноши во фраках бросились за беглецами.

Чтобы Нуша не упала, Дж. подхватил ее под локоть, и они перебежали через площадь, от набережной к бирже. Нуша хотела добраться до узких темных улочек в конце канала. Они бежали, взявшись за руки и тяжело дыша, молча, сберегая дыхание. Дж. вспомнил, как в Милане цыганка вытянула его из-под вздыбившейся лошади и поволокла к городскому парку. «Ты купишь мне белые чулки и шляпку с шифоновой вуалью», — сказала она. Это было не похоже на воспоминание. Оба мига казались непрерывными: Дж. стремительно несся вперед; в то же время бегущая юная цыганка становилась девушкой, одетой в купленный им наряд, и быстро, но тяжело бежала рядом.

Они свернули в первый же переулок у площади на дальней стороне биржи. Нуша задыхалась. Ее ладонь в руке Дж. повлажнела, раскрасневшееся лицо исказила гримаса боли. По улочке навстречу им двигался австрийский полицейский патруль. Преследователи беглецов обогнули угол биржи. Дж. втолкнул Нушу на крыльцо особняка, пытаясь скрыть ее из виду, но их уже заметили.

В полицейском участке их разлучили. Оставшись один, Дж. вспоминал лицо Нуши и не мог

отделить его от лица девушки в миланском дворике, когда цыганка брызнула на него водой и велела напиться. Черты их были совершенно различны, но в выражении лиц крылось загадочное сходство. Для того чтобы разрушить это сходство, освободить место для всей его взрослой жизни между первым и вторым лицом, он должен был забыть их перепачканные лбы, губы и напряженные безмолвные глаза и помнить только о смысле их выражения. В тот раз было важно лишь то, что подтвердило выражение лица девушки, которое он до сих пор не мог облечь в слова: важно то, что он не умер. Теперь важно было то, что подтвердило выражение лица девушки, которое он до сих пор не мог облечь в слова: почему бы не умереть?

10

В пятницу днем Нушу выпустили из полицейского участка. На допросе у нее допытывались о Дж. Она сказала, что ничего о нем не знает. Ее спросили, почему он пригласил ее на бал. Она пожала плечами.

— Ты его любовница?

Она едва удержалась, чтобы не ответить «нет».

— Спросите его, — сказала она.

— Он упоминал при тебе своих итальянских знакомых в Триесте?

— Он совсем не похож на итальянца, — ответила она.

С ней обращались как со слабоумной. Когда Нуше объявили, что ее отпускают, она спросила:

— У вас есть ненужная оберточная бумага?

Охранники обменялись понимающими взглядами.

— Мне надо прикрыться, — пояснила она, показывая муслиновый, расшитый жемчугом верх платья.

Для нее отыскали кусок мешковины.

У оружейных складов она останавливалась на каждом углу и проверяла, не видит ли ее кто из знакомых или соседей, но днем улицы квартала были пустынны. Она шла, держась поближе к стенам домов, набросив мешковину на плечи. У себя в комнате она разделась и, усевшись на край кровати, протерла плечи и ступни прохладной водой из миски. Нуша дрожала, спрашивая себя: «Если его выпустят, он отдаст мне паспорт?»

* * *

Дж. подвергли длительной и нудной процедуре перекрестного допроса. Начальник полиции, ознакомившись с результатами допроса, утвердился во мнении, что его первое впечатление о Дж. было верным. На всякий случай он сам допросил пленника и в воскресенье утром отдал приказ о его освобождении. Дж. велели покинуть Триест не позже чем через тридцать шесть часов.

Каменный гость

Я пришел в гости к другу, посмотреть фотографии, сделанные им в Северной Африке. У друга я мимоходом поздоровался с его десятилетним сыном и чуть позже, рассматривая снимки, совсем забыл о его существовании.

Внезапно меня дернули за руку. Я обернулся. Крохотный старикашка в очках на громадном носу протянул мне лист бумаги. (Разгадка проста: десятилетний сынишка приятеля нацепил маску, но до меня это дошло только через полсекунды. Я вздрогнул от неожиданности. Мальчик, заметив мой испуг, рассмеялся, и я сообразил,

в чем дело.)

Меня ошеломило внезапное появление старикашки. Как он сюда попал? Кто он? Откуда? Почему он решил обратиться именно ко мне? Удовлетворительных ответов на эти вопросы не существовало, и меня испугало именно их отсутствие. Случилось необъяснимое, что предполагало возможность невероятного. Лишенный защиты причинно-следственных связей, я ничуть не удивился крохотному росту и воспринял его как часть хаоса, связанного с появлением старикашки.

Я не преувеличиваю ни сложность, ни компактность содержания этого краткого мига: в моменты сильного возбуждения память и воображение способны воссоздать целую жизнь.

Как только он меня испугал, как только причинно-следственные связи распались, я его узнал — нет, не десятилетнего сына приятеля, а именно лысого старикашку. Узнавание никоим образом не уменьшило моего страха, но изменило его, сделало знакомым, будто я с самого раннего детства знал и старикашку, и связанный с ним страх. У меня возникло ощущение, что я не могу вспомнить его имя. Часть сознания, в которой глубоко укоренились правила приличия,

рефлекторно устыдилась этого. Для меня теперь стало важным, не как и почему он меня нашел, а что ему сказать.

Где раньше я с ним встречался? Вот тут парадокса избежать невозможно, но если вспомнить детство, то выяснится, что это чрезвычайно распространенный парадокс. Я узнал старикашку как образ в бесконечном обществе непознаваемого. Это не я когда-то призвал его под свет моих знаний — это он однажды отыскал меня во мраке моего невежества.

Объективно сейчас в старикашке не было ничего зловещего, но в нем заключалась угроза, потому что он участвовал в заключенном мною договоре. Я позабыл об обстоятельствах, которые привели к заключению этого договора, отсюда и первоначальная загадочность появления старикашки. И все же я распознал — не будучи в состоянии вспомнить — одну из основных статей договора; потому человечек и показался мне знакомым. Крохотный старикашка, лысый, в нелепых круглых очках на огромном носу явился и потребовал обещанное по контракту.

* * *

Утро в начале лета — таким утром, если нечего делать, вечер кажется невообразимо далеким. Море слилось с небом над Триестом; небо и море скрыла одинаковая синева.

На севере Франции и во Фландрии тоже стояла ясная погода, но умирающие и раненые, лежа навзничь, не смотрели в синее небо, не ощущали его спокойную торжественность, как князь Андрей Болконский на поле Аустерлица. Чем яснее день, тем больше смятения вносила смерть в ряды бойцов на Западном фронте. Смерть утратила всякое значение; ее было легче воспринять как еще одно состояние, как грязь траншей или холод в суровом, враждебном человеку мире, а не в чудесное время года, обещающее прекрасное будущее.

Дж. вернулся домой и, прежде чем переодеться, лег навзничь на кровать. Листья аканта на тюлевых занавесках напомнили ему, как двадцать дней назад он предполагал соблазнить Марику. Он сжал зубы — не оттого, что вспомнил, а потому, что два дня только и делал, что вспоминал. Сами по себе воспоминания не вызывали в нем

сожалений. Дж. добился желаемого и свои желания менять не собирался, но ощущал тяжесть внезапно пробудившейся памяти — точнее, ее невероятную вместимость. Огромное количество воспоминаний подавляло его своим весом.

Для него оказалось невозможно отделить одно воспоминание от другого, так же, как было невозможно отличить лицо Нуши от лица цыганки. Его рассудок словно превратился в комнату смеха, где отражения в зеркалах двигались одновременно, но каждое представляло собой нечто иное. Это создавало впечатление, противоположное памяти. К примеру, вместо того чтобы приблизить детство, громада воспоминаний, накопленных с детских лет, делала это время невообразимо далеким. Перед ним проносились воспоминания о Беатрисе, о существовании которых он не подозревал: одно за другим, ясно и отчетливо, но каждое — неотделимо от воспоминаний о других женщинах, так что ему чудилось, будто он в последний раз видел Беатрису сто лет назад. Впрочем, я неточно объясняю. Поток непроизвольных, четких и связных воспоминаний, обрушившийся на Дж., словно растягивал прожитую жизнь — об этом я действительно сказал. Однако же из-за того, что ни одно из вос-

поминаний не могло быть выделено и отдельно зафиксировано в определенном времени, прожитая жизнь воспринималась чрезвычайно быстротечной и краткой. Память то растягивала, то сжимала жизнь, и эта пытка лишала время смысла.

Вчера вечером я узнал, что мой лондонский друг наложил на себя руки. Собрав воедино буквы его имени — ДЖИМ, я никак не смогу восстановить то, что рассыпалось на мелкие кусочки. Я не могу судить его поступок, называя его трагическим. Мне достаточно принять — принять, а не просто отметить — известие о его смерти.

Дж. должен покинуть город в течение тридцати шести часов. Но куда он отправится? Только в Италию. Оттуда он может уехать куда угодно. Возможно, он представлял, как вернется в Ливорно и будет жить в отцовском особняке. Наверняка он рассматривал и другие варианты, но любой из них был своего рода возвращением, а Дж. возвращаться не желал. Итак, он перестал думать о «куда» и сформулировал вопрос иначе: насколько дальше он может зайти? Как далеко он способен удалиться от прошлого? Время само по себе не уведет его дальше, потому что время

лишилось смысла. Осознав это, он решил пойти к Нуше и отдать свой паспорт. Такой поступок позволил бы ему продвинуться дальше.

На пьяцца Понтероссо была фруктовая лавка, где торговала женщина — судя по чертам лица, соотечественница Нуши, из Карста. Дж. купил вишни и направился на восток, к порту. По дороге он ел вишню и выплевывал косточки на мостовую.

В красном цвете вишни всегда присутствует бурый оттенок — гниющий, разлагающийся плод темнеет и становится мягким. В спелой вишне всегда ощущается вкус разложения.

Дж. прошел мимо людей, собравшихся группками и на разных языках обсуждавших неминуемое начало войны. Чем дальше на восток он уходил, тем оборваннее становилась одежда прохожих, тем закрытее их лица.

Из-за крохотности плода, из-за нежности мякоти, из-за тончайшей кожицы — она чуть плотнее пленки на поверхности жидкости — косточка в вишне кажется инородной. Вишенка должна быть целостным комочком. В ней не должно быть косточки. Косточка воспринимается во рту как некий осадок, загадочным образом воз-

никший во время поедания вишни, который приходится выплевывать.

Дважды Дж. останавливался и оборачивался, потому что у него возникало ощущение слежки. Он садился на парапет у магазинчиков и наблюдал за женщинами, стоявшими в очереди за хлебом и овощами. В этой части города с продуктами было плохо.

Мягкость и упругость еще не раскушенной вишни похожи на мягкость и упругость губы.

Он бросал вызов времени и поэтому не торопился.

Дом, в котором жила Нуша, стоял в ряду таких же домов. Их двери открывались прямо на улицу. Дж. постучал. Женщина с двумя детьми возникла на пороге и подозрительно взглянула на Дж. Он объяснил, что пришел к Нуше. Женщина на ломаном итальянском спросила, что ему надо. Он предложил детям вишню, но женщина торопливо прогнала их в дом.

— Ее комната на самом верху, — ответила она. — Через десять минут я мужа к ней пришлю.

На верхней площадке лестницы Нуша, с распу-

щенными по плечам волосами, открыла дверь.

— Вы? — прошептала она, взглянула в лестничный пролет, поманила Дж. в комнату и торопливо захлопнула за ним дверь. — Вы паспорт принесли!

Комната была маленькая, с косым нависшим потолком. У одной стены стояли кровать и буфет, у другой — стол и стул; из мансардного окошка виднелся порт. Дж. высыпал вишню из бумажного пакета на столешницу.

— Меня утром выпустили, — сказал он, достал из кармана паспорт и протянул Нуше.

Ей кажется, что все испытания окончились, цель достигнута. Нуша обеими руками сжимает его ладонь. Он обнимает девушку. Она, не сопротивляясь, льнет к нему. Нуша так взволнована достигнутым, что на миг ей чудится, будто они оба к этому стремились. Она грузно опирается на него. Будь он послабее, она бы его поддержала. Они оба словно бы сбежали от преследователей и теперь изнеможенно обмякли — утомленные, но в безопасности.

Они впервые остаются наедине в закрытом помещении.

— С распущенными волосами лучше, — замечает он, приподнимая прядь с ее плеча.

— Надо же вот это как-то прикрыть! — Нуша отступает на шаг, наклоняет голову, перекидывает волосы на лицо, открывая багровый рубец на шее. Он медленно протягивает руку. Нуша стоит неподвижно, как на осмотре у врача. Между волосами ярко белеет кожа головы. Волосы пахнут одеялом.

— Надо сырое мясо приложить, — говорит он.

Она выпрямляется. Кровь прилила к склоненной голове, и на щеках вспыхивают неровные пятна румянца; прожилки багровеют и набухают, как кровеносные сосуды в корне языка.

— Сырое мясо! — восклицает Нуша. — Скажете тоже! Я бы его съела.

— А как спина?

— Мне не рассмотреть.

— Я взгляну? — спрашивает он.

Только ему Нуша может показать следы плети — ими она заработала паспорт. Она поворачивается спиной к Дж., спускает с плеча блузку и сорочку.

На широких округлых белых плечах горят два набухших рубца, но кожа не рассечена. Поры кожи испускают странное сияние, неотличимое от ее запаха. Дж. кончиками пальцев прикасается к плечу Нуши.

— Я всю ночь спать не могла, больно было, как от ожога.

В окошко слышен какой-то далекий шум, похожий на человеческие голоса; не речь (слишком размеренный) и не музыка (слишком нестройный). Постоянно повторяются два-три звука. Один из них напоминает Дж. «Ать, ать!» из детства. Они с Нушей обмениваются взглядами и подходят к окну. Внизу люди бегут к толпе на пристани, машут руками. Кто-то несет черно-желтый австрийский флаг.

— Кто это? — спрашивает Джи.

— Не знаю, — невозмутимо отвечает Нуша. Грудь ее тяжело вздымается. — Похожи на наших докеров. — Она отходит вглубь комнаты, поправляет блузку, застегивает крошечные пуговички толстыми пальцами. — Мне пора, — говорит она, сжимая паспорт.

Дж. хочет проникнуть во все аспекты ее физической сущности — во вздымающуюся грудь, в густые волосы, пахнущие одеялами, в белую кожу головы, в крупные руки, в щеки, в поры кожи — встать между ее телом, замершим у окна, и ее осознанием себя. Он хочет занять место того, на что она смотрит. Он хочет предложить себя как дар, лишенный всякой добродетели. Он хочет

перенести этот дар на собственное тело, удовлетворить свое желание.

— Нуша, у нас нет времени, — говорит Джи.

Ее имя он произносит с отчаянием.

Нуша впервые задумалась, что он будет делать без паспорта.

— Нам пора, — отвечает она, повязывая косынку.

Они сбегают по темной лестнице.

«Нуша, у нас нет времени». Возможно, говоря это, Дж. имел в виду ее нетерпеливое желание отнести брату паспорт, или толпу на пристани, или мужа хозяйки, который вот-вот поднимется к Нуше в комнату, или тридцать шесть часов, за которые Дж. следовало покинуть Триест, но ничто из этого не представляло непреодолимых трудностей, и в прошлом он искусно находил сотни способов с ними справиться. Его заявление означало нечто иное.

Вот уже два дня его угнетала громада воспоминаний. Он ощущал себя приговоренным к жизни в прошлом. То, что еще не случилось, представлялось ему еще не раскрывшейся частью прошлого. Когда его выпустили из полицейского участка, Дж. казалось, что, куда бы он ни отправился, он возвращается к прошлому, к жизни, кото-

рую вел до того, как фон Хартман предложил ему Марику, до того, как решил пригласить Нушу на бал. Любой его поступок воспринимался как уже совершенный, приведший к определенным, известным последствиям. Все имевшиеся возможности были мнимыми. Время отказывалось его признавать. Его влечение к Нуше было неотличимо от отчаяния. Ой!

(Страсть обязательно набрасывается на время. Любовники совместно овладевают временем — так, что оно раскрывается, наступает, ретируется и отклоняется назад. Время циркулирует в их сердцах. Влагалище времени покрыто влагой вечности. Время изнуряет себя и извергает поколения.)

«Нуша, у нас нет времени», — сказал он.

Представьте, что герой легенды осознает себя живым. Созданную легенду невозможно изменить. Ее неизменность обеспечивает своего рода бессмертие. Но герой, живой и сознающий себя в легенде, которую раз за разом повторяют и пересказывают, ощущает себя похороненным заживо. Ему не хватает не воздуха, но времени.

Итак, Дж. с Нушей спустились по лестнице.

Из домов выходили люди, громко переговариваясь. Какой-то парень пробежал по улице

в одну сторону, потом в другую. Дж. не понимал ни слова — все говорили по-словенски. Парень помчался вниз по холму, к заливу. Нуша что-то спросила.

— Сегодня итальянцы объявили войну, — шепнула она Джи. — Война началась.

Он схватил ее за руку.

— Поздно, — сказала Нуша ему в лицо. — Надо было раньше мне паспорт отдать.

Он не стал ее удерживать, и она бегом спустилась с холма. На полпути она остановилась, с кем-то заговорила, показывая на Дж., и понеслась дальше, придерживая юбки одной рукой и гулко топая по булыжной мостовой.

К удивлению Нуши, брат только спросил, откуда у нее паспорт. Она сказала, что нашла. Боян решил, что с паспортом сможет уехать: на следующий день наверняка отправится последний поезд в Италию.

Боян добрался до Франции и несколько месяцев провел в Марселе, где им заинтересовалась французская полиция. Осенью 1915 года в марсельской розыскной сводке указаны его фамилия (фамилия Джи), место рождения (Ливорно), возраст и род занятий (Бояна). Там же приводится номер досье, в котором наверняка была фотография и прочие

приметы. Все перечисленные в розыскной сводке лица именуются одинаково — «подозреваемый». Их преступления не называются.

Министерство иностранных дел Великобритании не стало разыскивать человека, которому был выдан фальшивый паспорт. Дж. сочли пропавшим без вести, погибшим. Много лет спустя, в Югославии, Боян под фамилией Дж. (той самой фамилией, которую Дж. носил бы, если бы его воспитывал Умберто) принял участие в подготовке убийства короля Александра Карагеоргиевича.

Дж. спустился вниз по холму, к порту. Мужчина, с которым говорила Нуша, улыбнулся Дж. и, не таясь, пошел следом. Навстречу им поднималась толпа. Сзади люди выстроились в неровные шеренги и несли австрийское знамя. Передние ряды больше напоминали неустойчивую волну, которая то бормотала, то ревела, разбиваясь и опять сливаясь воедино. Люди в толпе не имели ничего общего между собой — ни одежды, ни возраста, ни лиц, ни головных уборов, ни телосложения, ни языка. Они родились в разных местах — в словенских и истрийских деревнях, в Сербии, Галиции, Греции, Турции и России, в Африке. Объединяла их только нищета — и место, куда они стремились.

Дж. снова ощутил нелепость вопроса «Куда идти?». Ему опять пришел в голову единственно возможный ответ: «Дальше». Он пошел вслед за толпой.

Толпа совсем не напоминала толпу в Лондоне в день объявления войны.

Лондонская толпа была статичной. Люди не знали, куда идти. Они ничего не требовали. Толпа выла и ревела, глядя пустыми глазами, горя нетерпением заполучить желаемое, хотя не знала, чего именно желает. Толпа ждала, чтобы ее впустили, чтобы ее куда-то направили. Толпа собралась на Даунинг-стрит, у Вестминстерского аббатства, у парламента, и беспокойно ожидала, когда ей объявят о будущем. Толпа разражалась одобрительными возгласами, бессознательно принося себя в жертву, — впоследствии эти возгласы станут фонтанами крови, взметнувшимися в небо и льющимися на невидящие воспаленные глаза толпы, а сгустки набьются в горло, и кровь стечет на живот, исколотый штыками, и каждая разверстая рана, пылая неутолимой жаждой, поглотит кровь, и лишь редкие капли ненароком скатятся с краев в поросль волос на лобке. Женщины в толпе пихали мужчин в спину, выталкивали их, будто преждевремен-

но разрешались от бремени, заливая кровью Стрэнд и Трафальгарскую площадь, и мостовые устилали мужчины-зародыши — гладкие, безволосые, неоперившиеся, кожа и кости. Лондонская толпа, собравшаяся в день объявления войны, расходилась спокойно; мужчины и женщины как ни в чем не бывало отправились по домам, преисполнившись необычайной гордости и не осознавая, что совершили.

В день объявления войны с Италией триестская толпа не была ни жизнерадостной, ни гордой, ни спокойной. Она раскачивалась, как пьянчужка, знающий, куда ему надо добраться, но не понимающий, как это лучше сделать.

Иногда люди забегали вперед, размахивая руками. Один звонил в колокольчик, как городской глашатай, но без ливреи; колокольчик был черный, покрытый ржавчиной — судовая рында. Из окон высовывались зеваки.

— Война! — кричали на улицах. — Выходите, присоединяйтесь! Мы тут такое затеяли!

Кое-где в толпе звучало пение, но быстро смолкало.

Дж. шел в середине толпы, чуть поодаль от первых рядов. Он снял фрак и остался в одной рубашке, но одежда все равно выделяла его среди

рабочих. Человек, с которым поговорила Нуша, не отставал ни на шаг и всякий раз, когда кто-то обращался к Дж., вмешивался и объяснял что-то на словенском. Дж. не понимал ни слова, но, видя, что его не оставляют в покое, решил во всем положиться на следующего за ним человека. Толпа направилась на северо-запад, к бирже, в итальянскую часть города. Настроение собравшихся изменилось; контраст между скоплением оборванцев и благоустроенными улочками стал разительным. Близ оружейных складов собрались бедняки и безработные, а к бирже подходила армия нищих.

Человек рядом с Дж. размахнулся и швырнул булыжник в витрину бакалейной лавки (камень он нес от самых оружейных складов). Стекло разбилось. Люди бросились выламывать осколки из рамы, обмотав ладони оторванными от рубах лоскутами. В толпу полетели головы сыра и круги колбасы. Полицейский патруль, игнорируя происходящее, прошел мимо. Перепуганный лавочник начал раздавать бутылки вина, приговаривая:

— Вино отличное, не сомневайтесь.

Толпа напирала, люди протискивались мимо бакалейной лавки и шли дальше. Случившее-

ся убедило их во временной безнаказанности. При виде хорошо одетых прохожих из толпы раздавались выкрики: «Долой итальянцев! Проклятые богачи! Воры!» Улицы опустели, и настроение толпы снова изменилось. В восточной части города люди присоединялись к толпе, а здесь, на западе Триеста, царила неопределенность. Толпа не собиралась, как во время миланских беспорядков 1898 года, захватить власть в городе. Люди просто стремились на опустевшие улицы и площади, где события происходили беспорядочно и сумбурно.

Человек, шедший следом за Дж., потрепал его по плечу и вручил ему початую бутылку вина. Дж. отхлебнул из горлышка, пролив вино на рубашку. Хаотичное, путаное движение толпы представлялось ему торжественным шествием. Дж. глядел на особняки, мимо которых его несло, как гроб в похоронной процессии. Кариатида за кариатидой тупо, безропотно держали на плечах фронтоны, служившие доказательством высокой интеллектуальности обитателей особняков.

Половой акт, как сон, не имеет внешнего облика; его ощущают извне; в нем преобладает содержание, а видимое становится невидимой

сердцевиной.

Там, в спальне наверху, Луиза лежала на спине. Он обхватил ее колени и языком коснулся влагалища. Он помнил только вкус выпитого вина. Бедро вздрогнуло, дрожь медленной волной передалась другому бедру, повернула, перетекла назад, вернулась. Чередующееся движение сместило песчинку в одну сторону, потом в другую. Песчинка и тепло между ног породили собачье ухо. Заостренное. Шерсть снаружи мягче и глаже ее кожи. Внутренняя поверхность уха прозрачно розовела. Из уха родился кувшин молока. Под поверхностью молока, невидимые в белизне, прячутся деревья — зимние деревья, без листвы. Молоко из кувшина пролилось ей на колени. Кое-где молоко собралось лужицами, кое-где стекло по коже; капли белыми ягодами застыли в волосах. Белые молочные разводы напомнили ему заснеженные ветви деревьев. Кто-то снова зазвонил в колокол. «Погляди на их дома! Дальше! Дальше!» — непроизвольно воскликнул Дж. и сам удивился. «Дальше, дальше!» — повторил он. Люди вокруг непонимающе переглянулись, а он двинулся вперед, закинув голову, глядя в синее небо.

Пьяцца Сан-Джованни заполнилась людьми. В центре площади, среди деревьев, стоял памятник — гигантская фигура удобно расположилась в мраморном кресле. На постаменте было написано «VERDI». Буквы складывались в имя автора «Риголетто», но в Триесте они также обозначали аббревиатуру фразы «Vittorio Emmanuele Re d'Italia» — «Виктор Эммануил, король Италии». Двое рабочих взобрались на колени статуи и начали колотить по мраморной голове железными брусьями. От сильных ударов их руки и плечи вздрагивали. Женщины обходили дома на площади, стучали в двери — все особняки были заперты. Редко где из-за ставни высовывалось испуганное лицо владельца, с ужасом глядящего на *i teppisti,* заполнивших площадь. Погромщики! Парни помоложе вскарабкались на деревья. Зазвенело разбитое стекло, словно прозвучал сигнал к решительным действиям. В окна полетели булыжники.

За окнами — владения тех, для кого существование Триеста было благом. Те, кто разбил мраморную голову Верди и окна между кариатидами, ненавидели город и хотели отомстить за свое насильственное пребывание в нем — украдкой, хитроумно, не подвергая себя риску.

Они мстили за свои страдания, за нищету, которая вынудила их или их предков переехать из деревни на окраину чуждого города. Триестом управляли австрийцы, но сам город был итальянским — и по названиям своих площадей и улиц, и по языку, на котором вершились торговые сделки. Люди в толпе не владели политической теорией, но хорошо знали то, о чем не ведали университетские преподаватели и студенты: то, что происходило с деревенскими жителями, переехавшими в Триест, продолжалось всю жизнь. Их единение было историческим. Возможно, теория объяснит это единение, но каждому из людей в толпе было ясно, что возникло оно из страдания.

— Расколоти ему голову!

— Отбей уши!

— Сорви ставни!

Взгляните на ваши дома! Я давно заметил эту особенность. Прогуляйтесь по зажиточным кварталам любого европейского города, по улицам, застроенным вашими особняками. Оконные рамы и ставни выкрашены свежей краской, неотличимой от цвета фасадов, которые вбирают солнечный свет и слабо, зернисто мерцают, словно крахмальные льняные скатерти. Окна

закрыты неподвижными шторами, будто высеченными из камня; кованые цветы и листья украшают решетки балконов; архитектурные излишества напоминают о прошлых эпохах и чужеземных городах; к широким отполированным дверям прибиты медные таблички, у входа висят колокольчики; безмолвие улиц нарушается чуть слышным отдаленным шумом города — где-то вдали множество людей заняты своими делами, отдельные вдохи и выдохи сливаются в непрерывное, непрекращающееся дыхание… и внезапно с изумлением понимаешь, что каждый тихий особняк совершенно гол: обнажен, ничем не прикрыт!

— Поджигай!

Пронесся слух, что уже подожгли здание Национальной лиги. Австрийский провокатор предложил двинуться к редакции газеты «Иль пикколо», куда отправились человек сто — и Дж. среди них.

В редакции «Иль пикколо» журналисты и печатники, заслышав крики на улице, бросились к окнам. К зданию редакции двигалась толпа людей с дубинками и канистрами в руках.

— Бич доков! — воскликнул Рафаэль. Это станет его излюбленной фразой для описания погром-

щиков. — Закройте ставни, — распорядился он, подбежал к телефону и попросил соединить его с полицейским управлением. — Побыстрее, пожалуйста, — сказал он, глядя сквозь щель в ставнях на приближающуюся толпу.

Послышались удары и звон разбитого стекла — погромщики расколотили фонарь у входа. Несколько человек взбежали на крыльцо типографии. Внезапно Рафаэль опустил телефонную трубку на рычаг и прижался носом к стеклу, будто не веря своим глазам. Перед зданием редакции стоял Дж., окруженный группой людей, и оживленно жестикулировал, указывая на окна второго этажа. Удивление Рафаэля сменилось странным удовлетворением; в необычной, непредсказуемой ситуации возникла определенность, подтвердившая проницательность репортера. Погромщики ворвались на первый этаж и начали с треском ломать мебель.

Рафаэль решил, что Дж. — австрийский провокатор, в задачу которого входило организовать мятеж среди славянского населения Триеста. Теперь Рафаэлю стало понятно, почему австрийцы стерпели дерзкое поведение Дж. на балу в Оперном театре. Вся загадочность Дж. исчезла. Определенность толкования привела к столь же

удовлетворительной определенности решения. Рафаэлю не требовалось ни с кем советоваться. Он велел своим коллегам немедленно покинуть здание редакции.

— Не мешкайте, — заявил он и достал из ящика стола револьвер. — Вот, возьмите. Защищать нас все равно некому.

С Дж. Рафаэль собрался покончить сам. Телефон по-прежнему молчал. Рафаэль нетерпеливо постучал по рычагам аппарата и потребовал соединить его с другим абонентом.

— Я жду вас у туннеля Монтуцца, — произнес он в трубку.

Затем он позвонил в полицейское управление, попросил к телефону майора Лонека и объяснил, что необходимо прислать полицейских к редакции «Иль пикколо», захваченной мятежниками, которые собираются поджечь здание. Майор Лонек попытался успокоить Рафаэля.

— Я не преувеличиваю, — заорал репортер. — В городе беспорядки!

В типографии поджигатели действовали быстро и умело. В одном из шкафов обнаружилась ветошь, перемазанная типографской краской. Кучу тряпья подтащили к печатному станку, облили керосином из канистры и завалили

обломками конторских столов и стульев. Дж. забросал груду газетной бумагой.

— Поджигайте! — велел он.

Керосиновые пары душили его. Человек, с которым говорила Нуша, стоял в дверях. Какой-то старик, возбужденно сверкая глазами, свернул трубкой листы бумаги, поджег и швырнул на тряпье. Все на миг замерли, ожидая, когда вспыхнет пламя.

Языки огня взметнулись в человеческий рост, готовые поглотить станки, печатавшие слова на языке города, на языке закона, оскорблений и требований, на языке надсмотрщика. Дыхание огня сопровождалось легким потрескиванием, будто шаги по валежнику. Человек в дверях одобрительно улыбнулся, глядя на пожар. Поначалу занимавшийся огонь напомнил поджигателям о родных деревнях. Позднее, когда пламя охватило здание типографии еще в трех местах, погромщики зачарованно смотрели на дело своих рук. Чем сильнее разгорался пожар, тем больше они гордились достигнутым, считая себя владыками огня. Дж. стоял ближе всех к языкам пламени и всем телом чувствовал жар.

— Скорее, пожарные приехали! — крикнул человек в дверях.

Поджигатели выбежали из здания, столкнувшись в коридоре с пожарными и солдатами, которые не стали задерживать погромщиков. Вокруг типографии выставили кордон, и пожар вскоре потушили.

На углу виа Нуова Рафаэль возмущенно препирался с майором Лонеком. Полицейский пытался объяснить репортеру, что защита необходима и другим зданиям города; как только толпа покинет площадь, охрана будет снята.

— Если солдаты уйдут, погромщики снова появятся, — настаивал Рафаэль. — Вы обязаны обеспечить безопасность жителей города.

— Жаль, что вчера в Риме этого не предусмотрели, — по-немецки ответил майор.

На противоположной стороне площади Дж. разговаривал с поджигателями.

— Видите, в соседнем здании пожарная колонка, оттуда шланг тянут, — объяснял он. — Ее надо было сломать.

Раздосадованный Рафаэль оставил в покое майора Лонека и направился к группе людей у входа в туннель Монтуцца, проложенный под горой, на которой стояли собор, крепость и Музей истории и искусств. Репортер указал на Дж., белая

рубашка которого выделяла его среди остальных погромщиков (фрак он давно потерял), и отдал какие-то распоряжения.

На площадь и прилегающие к ней улочки опустилась тишина. Повсюду бродили люди, но не из тех, кто обычно прогуливался по этой части города. Пожарные уехали. Толпа, разбившись на мелкие группы, дожидалась отхода солдат. Обитатели зажиточных кварталов на улицах не показывались.

Дж. направился к пьяцца Сан-Джованни. Перед ним шла смутно знакомая женщина, чем-то похожая на Нушу, но миниатюрнее. Он резко остановился.

— Дальше, дальше! — воскликнул он.

Человек в белой рубашке сутулился и нагибал голову, что делало его походку сродни решительной поступи быка. Внезапно он остановился и что-то громко произнес. Его преследователи окончательно уверились в том, что он — предатель.

Дж. двинулся к площади. Его любопытство усиливалось: он откуда-то знал шедшую впереди женщину. Между нею и собой он увидел себя прежнего, который торопливо догонял незнаком-

ку. Он увидит ее лицо, узнает и заговорит с ней.

Прежний Дж. возбудит в ней интерес. Впрочем, сам Дж. не ускорил шага, не стал выяснять, кто она такая. От себя прежнего Дж. отделяла случайная блажь, будто язык огня, пожиравшего типографию, все еще согревал его тело.

Если бы Дж. сопротивлялся схватившим его четверым незнакомцам, описание схватки заняло бы несколько страниц. Он не сопротивлялся.

Если бы он покорился без сопротивления, пришлось бы несколько страниц заполнить описанием его примирения со смертью. Он не покорился без сопротивления.

О случившемся лучше рассказать кратко, а об остальном скажет мое молчание.

Его вывели с площади, мимо церкви Святого Антония. По пути он краем глаза увидел смутно знакомое лицо женщины и вспомнил, что утром купил у нее вишню на пьяцца Понтероссо. Два человека держали Дж. за руки, прижимая их к его бокам, как ручонки нерожденного младенца, еще не отделившиеся от тела. Третий мужчина шел впереди, четвертый — позади. Его провели вдоль канала, к дамбе, затем свернули направо, к железнодорожным складам. На набережной

было пусто. Дж. порывался выдернуть руки, но тщетно. Его подвели к самой воде.

По-моему, до того самого момента Дж. не представлял, как именно умрет. Возможно, у него оставались какие-то сомнения или надежда. Может быть, приход смерти всегда выражается нарастающим удивлением, удивляющим самое себя до тех пор, пока не исчезают всякие точки отсчета — а следовательно, и самораспознавание.

Его ударили по затылку. Он потерял сознание. Вкус молока — облако неведения. Его поддержали, проволокли несколько шагов и сбросили ногами вперед в соленую воду.

В небе низко висит солнце; море спокойно. Как зеркало. Только оно совсем не похоже на зеркало. Волны, которые трудно назвать волнами, потому что они движутся в разных направлениях, незаметно поднимаются и опадают, состоят из бесчисленных крошечных поверхностей под разными углами друг к другу — те поверхности, которые отражают солнечные лучи, вспыхивают ярким белым светом в тот миг, когда относительно наблюдателя и солнца их угол меняется и они снова сливаются в темно-синее море. Каждая вспышка сверкает не дольше,

чем искра, вылетевшая из костра. По мере того как море отступает к солнцу, число сверкающих поверхностей увеличивается, пока вода и в самом деле не становится похожей на серебристое зеркало. Но поверхность зеркала неподвижна, а зернистая гладь моря находится в постоянном волнении. Чем дальше сталкивающиеся зерна — бóльшая их часть серебрится, а остальные наливаются темным свинцом, — тем выше их скорость. Море безостановочно отступает к солнцу, передача отражений убыстряется, но море не требует и не признает пределов. Горизонт — ровный нижний край занавеса, неожиданно опускающегося на сцену.

Женева – Париж – Боннье
1965–1971

От автора

Я благодарен Британскому совету искусств за помощь при написании этой книги.

Выражаю также глубокую признательность всем своим друзьям, поименное перечисление которых займет слишком много времени.

Об авторе

Джон Бёрджер родился в Лондоне в 1926 году. Среди его романов, смелых по форме и содержанию, — «Дж.» (за который автор получил Букеровскую премию), «На свадьбу» и «Король». Ряд его критических работ посвящен искусству и фотографии: «Рассказать по-другому», «Успех и неудачи Пикассо», «Тициан: нимфа и пастух» (с Катей Бёрджер) и получившая международное признание серия «Способы видеть». Он живет и работает в альпийской деревне во Франции, где происходит действие его трилогии «В труд их» («Свиная земля», «Однажды в Европе», «Сирень и флаг»). В 2001 году опубликован сборник эссе «Форма кармана».